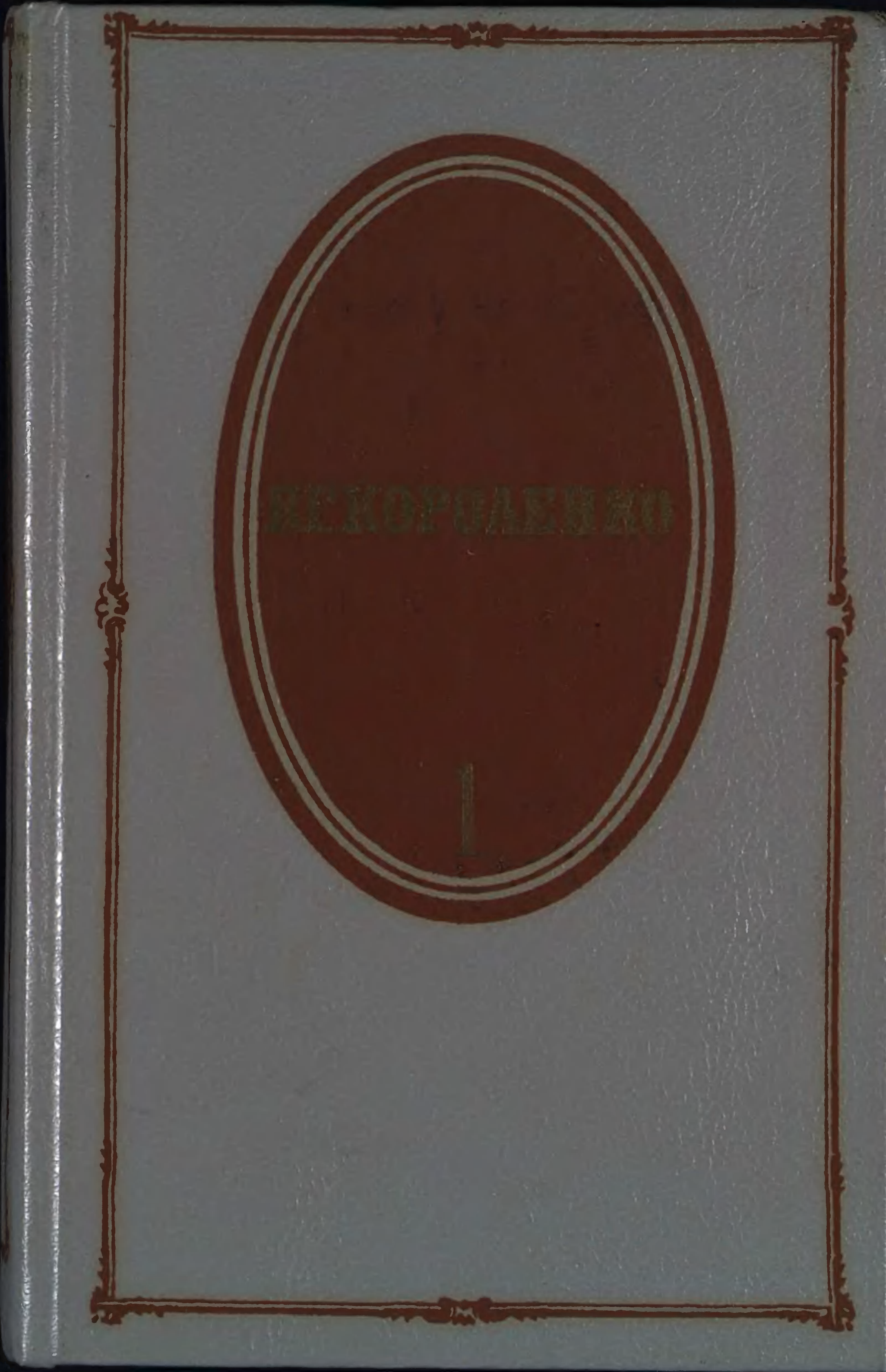

В.Г.КОРОЛЕНКО
1





В. Г. КОРОЛЕНКО

В. Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

| Г. А. БЯЛЫЙ |

Г. В. ИВАНОВ

В. А. ТУНИМАНОВ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1879-1888



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

ББК 84.Р1
К68

Вступительная статья
Б. Аверина

Составление, подготовка текста, примечания
Б. Аверина, Н. Дождиковой

Редакторы
Т. Мельникова, Т. Степашова

Оформление художника
И. Кулика

Иллюстрации художника
А. Слепкова

К $\frac{4702010101-069}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5-280-00851-6(Т.1)
ISBN 5-280-00850-8

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО В. Г. КОРОЛЕНКО

«Совесть эпохи», «светлый духом», «праведник» — так говорили о Владимире Галактионовиче Короленко (1853—1921) современники. Его нравственный авторитет приравнивали к авторитету Л. Толстого. И. Бунин, как правило, сдержанно отзывавшийся о писателях-современниках, говорил в одном из интервью о Короленко: «Радуешься тому, что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богата наша нынешняя литература и жизнь. Когда жил Л. Н. Толстой, мне лично не страшно было за все то, что творилось в русской литературе. Теперь я тоже никого и ничего не боюсь: ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко» [1]. Современники действительно видели в Короленко идеальный образ русского писателя, интеллигента, общественного деятеля. После Февральской революции в беседе с Р. Ролланом А. Луначарский высказал мысль, что если в России надо было бы избрать президента, то он выдвинул бы кандидатуру Короленко [2]. Чувство «непоколебимого доверия» вызывал Короленко и у Горького, считавшего его своим учителем: «Я был дружен со многими литераторами, но ни один из них не мог мне внушить того чувства уважения, которое внушил В⟨ладимир⟩ Г⟨алактионович⟩ с первой моей встречи с ним. Он был моим учителем недолго, но он был им, и это моя гордость по сей день» [3]. «Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только рядом, но даже за этим парнем — весело» [4],— писал Чехов.

Ответить на вопрос, как, из какого «жизненного состава» складывалась личность писателя и общественного деятеля, к каждому слову которого прислушивалась почти вся читающая Россия, во многом помогает автобиографическая книга Короленко «История моего современника». В самом начале ее Короленко пишет о своем отце Галак-

---

[1] Лит. наследство. 1973. Т. 84. Кн. 1. С. 377.

[2] См.: Rolland R. Journal des années de guerre 1914—1919. Paris, 1952. P. 1140.

[3] Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 444.

[4] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1975. Т. 2: Письма. С. 240.

тионе Афанасьевиче, занимавшем должность уездного судьи в заштатных провинциальных городках, для которого поистине донкихотовская честность была привычной и естественной. Короленко приводит такой случай из его судебной практики.

Галактион Афанасьевич вел процесс о наследстве. Судились богатый помещик, граф, человек с большими связями, и бедная вдова. Граф, вероятно, предложил судье взятку. Галактион Афанасьевич вспылил, застучал палкой, грубо его обругал и выгнал. Благодаря честности судьи процесс выиграла бедная вдова, сразу ставшая одной из богатейших помещиц в губернии. Попытка вдовы «отблагодарить» своего благодетеля также закончилась выдворением ее из дома. Тогда, в отсутствие судьи, она завалила всю его гостиную подарками, среди которых была огромная красивая кукла. «Когда отец пришел из суда,— пишет Короленко,— то в нашей квартире разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомню. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно. Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил, хотя и с большим неудовлетворением. «Через вас я стал-таки взяточником»,— сказал он сердито, уходя в свою комнату» [1].

Но, говоря в «Истории моего современника» о Галактионе Афанасьевиче уже не как об отце, а как о представителе своего времени, Короленко отметит и другую сторону его личности. Будучи неизменно лично честным, он никогда не знал, что такое чувство вины за общественную неправду. Короленко вспоминает, как глубоко и искренне переживал его отец суровые обвинительные приговоры. Но «это были слезы сожаления о «жертве закона», а не разъедающее сознание своей вины, как его орудия» (V, 21). Ответственности за плохие законы судья не испытывал, так как создание их не могло от него зависеть: «Царь и закон — также недоступны человеческому суду, а если порой при некоторых применениях закона сердце поворачивается в груди от жалости и сострадания — это — стихийное несчастье, не подлежащее никаким обобщениям. Один гибнет от тифа, другой — от закона. Несчастная судьба» (V, 21).

Вся жизненная практика и все многообразное творчество Короленко — это трудный опыт соединения личной нравственности с «тяжелым», «разъедающим», но творческим сознанием ответственности за «весь порядок вещей».

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1954. Т. 5. С. 19. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (римская цифра означает том, арабская — страницу).

«Устойчивое равновесие совести», когда все в мире и общественных отношениях кажется раз и навсегда данным и неподвижным,— это основное чувство, которое окрашивало раннее детство писателя. Определяющий тон отношений между отцом и матерью — любовь и доброжелательность. Пример социальной гармонии — отношения между его родственницей-помещицей и крестьянами. Крестьяне любят барыню, а она любит своих крепостных и заботится о них. Рано усваивает Короленко и религиозную веру отца, тоже простую, цельную и не разъедаемую сомнением, в соответствии с которой «Бог всемогущ и справедлив, но на земле много торжествующих негодяев и страдающей добродетели. Это входит в неведомые планы Высшей Справедливости — и только» (V, 21).

Кроме того, вера определялась и одной из важнейших особенностей индивидуальности Короленко — его способностью со-чувственного восприятия природы. Одно из самых первых воспоминаний писателя о том, как он остался один в лесу и, «как заколдованный», «слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливающиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию» (V, 12, 13). Вообще определения «осмысленный», «сознательный» — наиболее часто употребляемые в описаниях природы у Короленко.

В. С. Соловьев в статье о Тютчеве противопоставляет два типа художников. Одни «передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают» [1]. Для таких писателей одушевление природы в художественном произведении, когда на нее переносятся мысли и переживания человека,— только лишь художественный прием. Другие же «ощущаемую ими живую красоту природы принимают и понимают не как свою фантазию, но как *истину*» [2]. Короленко относится именно ко второму типу художников.

Одно же из первых впечатлений Короленко стало для него истиной, которую он пронес через всю жизнь. Вероятно, поэтому дети в таких его произведениях, как повести «В дурном обществе», «Слепой музыкант» или рассказе «Ночью», осознают те первоосновы жизни, которые неведомы взрослым или забыты ими.

Однако вскоре детское восприятие мира как законченного, неизменного и гармонического начинает меняться. Прежде всего это относится к сфере социальных отношений. Попав в деревню к дяде, он убеждается, что любовные отношения между помещиками и крестьянами — не более чем красивая иллюзия. События же, связанные с отменой крепостного права, окончательно разрушили эту иллюзию. Кстати, Короленко был одним из немногих русских писателей, бывший свидетелем и писавший в своих произведениях о таких вехах

---

[1] Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., [б. д.]. Т. 7. С. 123.
[2] Там же. С. 118.

русской истории, как отмена крепостного права и революции 1905 и 1917 годов.

Не меньшее влияние оказало на него и польское восстание 1863 года. Именно в это время он впервые посмотрел на себя со стороны и задал недоуменный вопрос: «Кто я?» А ответить на него было очень непросто. С самого детства Короленко был поставлен в ситуацию выбора, причем это касалось даже того, что дается человеку вне его воли, самим фактом рождения. Это относится, например, к национальности, социальному происхождению, вероисповеданию.

По своей социальной принадлежности Короленко дворянин, но, как он пишет в «Истории моего современника», его отец никогда не стремился «восстановить свои потомственно-дворянские права», и дети после смерти отца оказались «без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой» (V, 15).

Далекой от какой-либо определенности была для Короленко и его национальная принадлежность. Его мать — полька, отец — украинец, состоявший на русской государственной службе. Детство свое Короленко провел в Житомире и Ровно — небольших городах Юго-Западной России, где национальные проблемы стояли особенно остро. Как писал Короленко в «Истории моего современника», в это время свились в один клубок три «национализма» (польский, украинский, русский), «из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать» (V, 123). Вероятно, поэтому Короленко станет врагом всякого национализма, видя в нем крайнее проявление узости взглядов и одностороннего мышления, а своей родиной назовет русскую литературу, которая «оставила в стороне национальные споры и примирила их в общем лозунге: свобода» (X, 348).

И уже поистине «междуполярным» было положение юного Короленко, когда вспыхнуло польское восстание. Мать — целиком на стороне польских повстанцев, отец считает восстание «беззаконным» и принимает участие в судебном следствии по делам восставших. Если добавить к этому, что отец писателя — православный, а мать — католичка, то нетрудно представить, сколь разнородным влияниям подвергался писатель с юных лет и как непросто было делать ему тот или иной выбор.

Короленко часто удачно подыскивал заглавия для своих повестей и рассказов, концентрируя в них основной символический смысл произведения. Например: «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Без языка». Своеобразию его жизненной ситуации соответствует заглавие повести «С двух сторон».

Двойственность его социального положения, национальной принадлежности, противоположные политические влияния способствовали формированию у него редкого человеческого таланта, без которого немыслим и талант писателя,— умения встать на точку зрения друго-

го человека и увидеть мир сквозь призму его понятий, принципов, представлений.

Отсюда же происходит и исключительная чуткость Короленко ко всякому проявлению догматизма, односторонности, будь то наивная вера народников в крестьянскую мудрость, идущая, как хорошо знал писатель по собственному жизненному опыту, от искренней, хотя и излишне «головной», «теоретической» любви к народу, или мечты террористов с помощью нескольких героев установить в России социальную справедливость, или надежды на железную историческую необходимость, благодаря которой осуществится гармония в человеческом обществе.

Вообще современников поражало в облике Короленко, человека и писателя, сочетание трудносоединимых черт. Необычайная мягкость, доброта, стремление встать на точку зрения другого человека и одновременно твердость, непримиримость взглядов и мнений, решительность поступков, когда честь и совесть писателя требовали однозначных оценок и конкретных действий.

В первые гимназические годы начинают разрушаться у Короленко и цельные и непосредственные религиозные представления, усвоенные им под влиянием отца. Он знакомится с идеями «шестидесятников», или «мыслящих реалистов» — по терминологии Писарева. На Короленко, как и на героя его повести «С двух сторон», большое впечатление производят ходячие формулы механистического материализма, которые суммарно он излагает в «Истории моего современника» так: «Тэн объясняет сильные страсти шекспировских героев, их пламенные монологи и неистово грубые ругательства тем, что предки Шекспира — англосаксы — набивали животы сырыми ростбифами и пивом... «Мысль,— говорит Фохт,— есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени». «Материя» и «сила», простейший атом и его механические свойства, слагаясь, дают все, что мы чувствуем как душевные процессы. Разложите на составные части вдохновенный порыв — останется такое-то количество атомов с их тяготением, и ничего больше... Человек — машина и химический препарат вместе. Так его и следует изучать» (V, 303). Сознавая логическую силу этой точки зрения и в дальнейшем, Короленко чувствовал, что его собственное мироотношение не может уложиться в очерченные ею рамки.

На протяжении всего своего творчества Короленко будет искать образы и формулировки, чтобы «с двух сторон» посмотреть на природу человека и ответить на вопрос, что же ее определяет. Биологические основы, рефлексы и инстинкты, сформированные в результате долгой эволюции всего живого, или присутствие в человеке высшего сознания, той духовности, которая не выводится непосредственно из биологии и физиологии. Он сумеет встать на точку зрения «шестидесятников», прочтет множество книг по биологии, физиологии, социологии, изучит

Дарвина и Чернышевского, Вундта и Писарева, Спенсера и Михайловского.

Чехов писал, что «между „есть Бог“ и „нет Бога“» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь из этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало знает»[1].

Мудрость, которую имеет здесь в виду Чехов, действительно была присуща Короленко. Притягательные истины философского позитивизма — это одна граница поля. Другая — вера в высокий смысл идеальных человеческих стремлений и живое ощущение гармонии и красоты мира. И чем сильнее воспринимается противоречие между ними, тем напряженнее энергия мысли, требующей найти возможность для их синтеза.

К последнему классу гимназии религиозные вопросы для Короленко утратили свою остроту: «Не то чтобы я решил для себя основные проблемы о существовании Бога и бессмертия ⟨...⟩ Мой умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятиями, вопросами реального мира» (V, 309). Тому немало способствовал глубокий интерес к русской литературе, особенно к Тургеневу и Некрасову, привитый талантливым преподавателем гимназии В. В. Авдиевым. Реальная жизнь не удовлетворяла гимназиста Короленко так же, как и попытки найти замену ей в романтическом прошлом отошедшей казацкой жизни, в рыцарских временах Польши, или блуждания «во мгле призрачных, не подлежащих решению вопросов» бессмертия и вечной жизни. Все это заменили произведения русских писателей, где, с одной стороны, есть «„простые“ слова, которые дают настоящую неприкрашенную „правду“», а с другой — «сразу подымают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали ⟨...⟩ озаренные особенным светом» (V, 265, 266).

Окончив гимназию в городе Ровно в 1871 году, одетый в сшитый местным портным костюм «из какой-то очень прочной и жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю» Короленко приезжает в Петербург и начинает учиться в Технологическом институте. «Розовый туман» вольной студенческой жизни, знакомств с «идеальными студентами», участия в «таинственных сходках», где молодые люди решают судьбы России, быстро рассеивается, и Короленко понимает, что свести концы с концами из-за отсутствия средств ему не удастся, учеба безнадежно запущена, а мнение дяди, что он за год жизни в Петербурге «стал только хуже»,— справедливо. В 1873 году он оставляет столичный Петербург и поступает в Москве в Петровскую сельскохозяйственную академию, где с большим интересом слушает лекции К. А. Тимирязева, знакомится с действительно

---

[1] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3: Письма. С. 111.

интересными, думающими студентами, увлекается статьями П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского. Глубокое понимание социологии Лаврова и Михайловского придет к Короленко позднее, пока же он усваивает представление о потенциальной мудрости народа, которая «ждет только окончательной формулы, чтобы проявить себя и скристаллизовать по своему подобию всю жизнь» (VI, 140). Мечта стать писателем почти полностью забывается, и он ищет путей сближения с народом и воплощения в жизнь народнических идеалов. В этом ему помогло само правительство. К 1876 году относится первое общественное выступление Короленко. Он написал и первый подписался под заявлением студентов академии, где указывалось, что некоторые правила внутреннего распорядка для студентов оскорбляют в них чувство собственного достоинства. Последовало разбирательство, после которого студенты отказались от своих требований. Остались твердыми только двое: Короленко и его друг В. Григорьев. Короленко был исключен из Академии и выслан в Вологодскую губернию, но с пути возвращен и поселен под надзор полиции в Кронштадте. Вернуться в Петровскую академию ему не дозволили, и он поступает в третье учебное заведение — Горный институт в Петербурге. Но в 1879 году по ошибочному подозрению в «сообществе с главными революционными деятелями» Короленко выслан сначала в Глазов, а затем еще дальше — в Березовские Починки.

Первый рассказ Короленко «Эпизоды из жизни „искателя“» был написан в 1879 году, во время второй ссылки, а рассказ «Сон Макара», принесший писателю известность,— в слободе Амга, в якутской ссылке, по-житейски самой трудной, но и самой успешной в творческом смысле, так как именно здесь были им задуманы и частично созданы многие его произведения.

Причина, почему Короленко оказался в якутской ссылке, была далеко не обычна. После убийства Александра II население России должно было принести присягу новому царю, однако от политических ссыльных потребовали, чтобы они принесли присягу каждый в отдельности и в письменной форме. Большинство ссыльных справедливо видело в таком акте пустую выдумку чиновников, гораздых на сочинение новых формальностей, и подписали присягу. Иначе отнесся к этому Короленко. После очень нелегких колебаний, размышлений и сомнений он отказался выполнить это указание и написал заявление, в котором прямо сказал, что совесть не позволяет ему дать обещание верности новому государю. Комментируя свое решение, Короленко писал в «Истории моего современника»: «...оглядываясь на этот эпизод моего прошлого, я должен сказать, что тогда я поступил именно так, как этого требовала моя совесть, то есть моя природа, и спокойствие, наступившее для меня тотчас после принятого решения, доказывало ясно, что в этом отношении я был прав» (VII, 205). Требования

личной нравственности и в этом случае оказались выше логики и практических соображений.

Герой рассказа Короленко «Эпизоды из жизни „искателя“» тоже решает проблему личной нравственности, а «искателем» он назван потому, что не склонен идти по уже проторенным дорогам, хотя общее направление движения ему достаточно ясно — «иди к униженным, иди к обиженным». Ищет герой рассказа и способа целостного восприятия мира.

Важное место в эстетике Короленко занимает попытка определить специфику искусства, сопоставив его с наукой. Разграничивая роль искусства и науки в познании человека и общества, Короленко в одном из критических набросков восьмидесятых годов писал, что движение человечества вперед без «веры в смысл жизни», «без логического разрешения противоречий, в которых мы так страшно запутались», невозможно. Наука же, по природе своей тесно связанная с «определенностью», отвечая на самые общие важнейшие вопросы человеческого бытия, пока «сжигает» одну за другой «свои окончательные формулы». В то же время искусство, «имеющее дело с угадкой, с общими впечатлениями от жизни, не столь точными, но зато скорее уловимыми, хотя туманными, но все же различными»,— «подвижнее», «восприимчивее», «менее связано логическим арсеналом», и потому «среди хаоса и тумана оно способнее различить легкие, неясные еще очертания идеала», «поддержать в человечестве веру» в смысл жизни и «дать направление критической мысли» [1]. Целостное же познание возможно в том случае, если научные истины обогащаются открытиями искусства и, наоборот, художественное постижение мира и человека приобретает прочность и законченность, когда подтверждается научными открытиями.

Именно такой способ целостного познания мира, хотя в наивной и декларативной форме, утверждал герой «Эпизодов из жизни „искателя“»: «Поэзия и статистика, цифры и рифмы, «мечты и звуки» и вивисекция — все это уживалось во мне в удивительном согласии и гармонии. Стихотворения проливали свой мягкий свет на цифры, цифры с дружеской солидарностью подтверждали неуловимые истины стихотворений... Числясь официально на естественном факультете, я изучал политическую экономию и статистику, писал лирические стихотворения, с увлечением возился с микроскопом, поглощал исторические монографии» [2].

Более двенадцати лет отделяет первую редакцию повести Короленко «Слепой музыкант», вышедшую в 1886 году, от последней, которая не только значительно превышает ее по объему, но и во многом

---

[1] Архив В. Г. Короленко// ГБЛ. Ф. 135. 1. Ед. хр. 15. Л. 92—93 об.
[2] Короленко В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. Пг., 1914. Т. 9. С. 376.

иначе трактует поставленные в первоначальной редакции проблемы.

Годы раздумий над этим произведением потребовались Короленко потому, что интересующие его проблемы он хотел решить не только художественными средствами, но и научными, поставив художественное исследование на прочный фундамент философских, биологических, физиологических, социологических открытий. Достоинства и недостатки повести во многом объясняются именно этой задачей, которую ставили перед собой многие писатели XIX и XX веков.

Что заставляет страдать слепого музыканта? «Дразнящая тайна недостижимого светящегося мира»,— отвечал на этот вопрос автор повести в письме 1916 года, или иначе: дразнящая тайна некоего полного знания, недоступного конкретно Петру Попельскому и вообще всем людям.

Действительно, как узнать, что такое свет, цвет, пространство, если для этого совсем нет никаких фактов, ибо человек слеп от рождения? Именно с этих вопросов начинается повесть Короленко «Слепой музыкант», в первой редакции которой одна из глав называлась «Интуиция».

В первые же минуты после рождения ребенка мать испытывает не радость, а острое страдание. Страдает же она потому, что знает: ее ребенок родился слепым, хотя никаких фактов, из которых она могла бы сделать этот вывод, у нее нет.

В осенний вечер слепой мальчик, его мать и Эвелина сидят на площадке перед домом. В это время по небу проносится метеор, оставляя за собой яркий след. «Что это было?» — спрашивает слепой, хотя он ничего не мог знать о происшедшем. «Он многое знает... „так“»,— утверждает Эвелина. «Так», то есть интуитивно, а не в результате логического соотнесения каких-либо конкретных ощущений, восприятий, представлений.

Мгновению внезапного знания, по мнению писателя, предшествует сложный и длительный процесс, который проходит бессознательно, но это не означает, что он не может быть исследован.

Во многих своих произведениях Короленко стремился так или иначе проанализировать процесс мышления. Так, герой «Эпизодов из жизни „искателя“» пытается понять бессвязные речи неграмотного крестьянина Якуба и убеждается, что его бессвязные сентенции были «лишь частью своеобразных, но стройных и закономерных процессов мысли, которым капризная судьба предоставила являться в виде звуков, тогда как остальные части тех же процессов, часто самые существенные в логическом отношении, оставались в уме старика» [1]. В своем последнем произведении «Истории моего современника» — Короленко прямо утверждал: «Мысль, облеченная в точное понятие

---

[1] Короленко В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 311.

и слово, есть только наземная часть растения... Но начало всего этого — под почвой...» (V, 160). То же самое писал Короленко в письме 1889 года, указывая, что «*цель* есть не что иное, как *сознанное стремление,* корень которого — в процессах бессознательных, там, где наша жизнь сливается незаметно с необъятной областью вселенской жизни...» (X, 115).

В основе повести лежит серьезное изучение писателем научных трудов. Авторов некоторых из них Короленко назвал сам. Это английский психолог и физиолог В. Карпентер и русский социолог, критик и публицист Н. К. Михайловский.

В. Карпентер в своем труде «Основания физиологии ума» обосновывает понятие «бессознательной мозговой деятельности». Для этого он приводит пример, известный каждому из повседневной практики. Человек хочет вспомнить имя, фразу или случай и, тщетно перебрав все средства, оставляет эту попытку как бесплодную. Однако проходит некоторое время, и, занятый совсем другими мыслями, вдруг, неожиданно для себя и совершенно без всяких усилий, он вспоминает то, что казалось безнадежно забытым. Здесь Карпентер ценит наглядность следующего факта: «...всякий, наблюдавший собственные умственные процессы, должен согласиться, что поскольку дело идет об его сознательном «я», поиски совершаются без него. Задача эта не доставляет ему ни удовольствия, ни неудовольствия, ни труда... в это время его сознательное «я» трудится, страдает, радуется по совершенно другим поводам» [1].

Анализируя процесс познания или прозрения героя, можно условно выделить в нем три стадии. Первая — становление разума. Сама по себе логика — элемент необходимый, но недостаточный для того, чтобы была открыта дорога к свету, к высшей правде. Вторая — становление художника, музыканта. Язык музыки гораздо более конкретен, чем слово, так как непосредственно обращен к чувствам и одновременно более абстрактен, дает целостный образ. Не зря рационалистически мыслящий дядя Максим вначале не одобряет увлечения своего племянника музыкой. Музыка для него излишне иррациональна, он понимает только слова. И третья стадия — становление нравственности, человечности.

Соединение этих трех стадий дает новое качество, новое синтетическое единство. Оно не равно арифметической сумме каждой из них и возникает неожиданно и бессознательно, как внезапно и без воли «сознающего „я“» всплывает в сознании человека факт или имя, которые он до этого безуспешно старался вспомнить. Хотя внешний толчок был: Петру Попельскому сообщили, что у него родился зрячий ребенок.

«Бессознательное „я“» — это не только процессы, которые не

---

[1] Карпентер В. Физиология ума. СПб., 1868. С. 114.

фиксируются сознанием человека. Оно во многом определяется тем, что Короленко называет «наследственными представлениями». Не только физиологические инстинкты наследует человек от предков, утверждал Н. К. Михайловский, подчеркивая: «Было бы, однако, ошибочно думать, что вся сумма знаний, чувств и желаний каждого человека дана его личным опытом. Опыт предков, без сомнения, производит в целом ряду поколений более или менее глубокие изменения в нервной системе, так что мозг новорожденного ребенка не есть tabula rasa»[1].

«Человек,— утверждает автор-повествователь в четвертой главе «Слепого музыканта»,— одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему», и потому «толчки природы, ее даровые откровения ⟨...⟩ доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого», а его мозг «из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями», «творил в темноте свой собственный мир».

В первой редакции повести Петр Попельский в финале видел некий доисторический пейзаж: «И по всему этому пейзажу было разлито нечто странное, какой-то особенный колорит, как будто говоривший слепому, что это — лишь призрак, что если кто видел это небо и эту землю, то разве его предки, жившие за пределами тысячелетий»[2].

«Наследственные представления» не давали герою примириться навеки со своей слепотой и стали одной из причин его сознательной и бессознательной душевной работы.

В повести Короленко, при всей ее поэтичности, все-таки дает себя знать достаточно жесткий рационалистический каркас. Поэтому она может служить хорошим материалом для уяснения теоретических воззрений писателя. Повесть приобрела широкую популярность, еще при жизни Короленко была переведена на многие языки, хотя сам автор однажды назвал ее «увечной».

Год публикации первой редакции «Слепого музыканта» (1886) — вероятно, один из самых счастливых в жизни Короленко. Один за другим выходят рассказы и очерки писателя в наиболее популярных журналах и газетах: «Лес шумит» — в «Русской мысли», «Сказание о Флоре» — в «Северном вестнике», очерки «Содержающая» — в газете «Русские ведомости». В этом же году в Петербурге выходит первое отдельное издание «Очерков и рассказов». Корреспонденции Короленко в «Волжском вестнике» и в «Русской мысли» становятся широко известными.

---

[1] Михайловский Н. К. Соч.: В 6 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 113.
[2] Короленко В. Г. Слепой музыкант//Рус. ведомости. 1886. 13 апр.

В 1886 году он женится на Авдотье Семеновне Ивановской, с которой познакомился еще в 1875 году, и это был счастливый брак. У них рождается дочь Софья, которая потом стала его верной помощницей, секретарем, а после смерти писателя — редактором, издателем и комментатором его произведений. В этом же году Короленко избирается членом Общества любителей российской словесности и знакомится с Л. Н. Толстым.

В идейной эволюции писателя конец восьмидесятых годов характеризуется достаточно четким осознанием сильных и слабых сторон народничества. Для Короленко народничество имело гораздо более широкое основание, чем только конкретные теории Лаврова, Михайловского, Ткачева. После отмены крепостного права самые различные направления в русской общественной мысли, считает Короленко, обратились к народу. Центральное место народ занимал в учении славянофилов; Катков и консерваторы указывали на мудрость народа, который, по их мнению, сознательно поддерживает самодержавие; для Достоевского народ был «богоносец». Второстепенный писатель Н. Н. Златовратский, чьи произведения о народе оказали на юного Короленко определенное влияние, в повести «Золотые сердца» вывел интеллигента из народа, который «говорит почти нечленораздельно, но все чувствует, что он знает что-то, неизвестное мятущимся интеллигентам, и когда заговорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое, настоящее слово». Короленко проводит параллель между этим весьма слабым произведением Златовратского и «Войной и миром» Толстого. Платон Каратаев «тоже не может связать правильного предложения, но его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь, стараясь истолковать их в каком-то таинственном и почти мистическом смысле» (VI, 141).

В «Слепом музыканте» Короленко доказывает, что большая часть мыслительных процессов происходит бессознательно, интуитивно, инстинктивно, результат их далеко не всегда может быть выражен в слове, а Петр Попельский многое понимает «так». Может быть, конкретный объякутившийся крестьянин Захар Цикунов, знавший не более трех десятков слов и послуживший прототипом героя рассказа «Сон Макара», обладает какой-то глубинной мудростью, но только молчит, так как он «без языка»? Крестьян-мудрецов Короленко не изображал. «Сон Макара» — произведение о справедливости и милосердии в христианском истолковании этих слов. С точки зрения справедливости, олицетворяемой Великим Тойоном, Макар темен и дик, а жизнь его — неправедна. С точки зрения милосердия, которую представляет Сын Великого Тойона, он — человек, его можно понять и простить.

Наивные, неосознанные, рефлективные порывы и поступки простых людей в рассказах Короленко находят свое воплощение в стремлении к «вольной волюшке», в непосредственных, нелогичных по-

ступках, они не дают его героям окончательно смириться («Соколинец»), покориться неправедному закону («Яшка»), заставляют совершать парадоксальные поступки, борясь за справедливость, даже не веруя в возможность ее достижения («Убивец»). Это, по существу, антропологический, естественнонаучный взгляд на человека, близкий к позитивизму.

Если брать все художественные произведения Короленко в совокупности, то в них можно выделить два типа людей из народа. Первый характеризуется четкой социальной определенностью. Взгляды и обычаи этих персонажей тверды, непоколебимы, мнения однозначны и неизменны. Самый яркий пример этого типа — Тимоха из «Марусиной заимки». Он крестьянин, пахарь, и в какие бы условия Тимоха ни был поставлен, он будет реализовывать свой социальный облик. Вот почему он сопоставляется с героем былины Микулой Селяниновичем. С другой стороны, этот почти эпический герой не более как «пахарь-автомат». Его твердость и неколебимость имеют и оборотную сторону: невозможность изменения, развития. Соответственно, если говорить о нем как о личности, то его основное свойство — неспособность к рефлексии. Вопрос, почему он живет именно так, а не иначе, почему следует этим взглядам, а не другим, ему никогда не может прийти в голову. Его жизнь — это нерассуждающая, инстинктивная деятельность. Но что особенно характерно для произведений Короленко, инстинкт здесь не есть выражение биологической сущности, а исключительно следствие глубоко вкорененных социальных норм.

Другой тип человека из народа представлен в таких произведениях, как «Чудна́я», «Федор Бесприютный», «Без языка». Писатель изымает своего героя из привычной для него социальной среды, члены которой характеризуются устойчивой системой представлений, определенными ценностными ориентациями, привычными моральными критериями, и погружает его в среду с иной системой представлений, причем для Короленко в данном случае важно не простое противопоставление тех или иных взглядов, понятий, мнений, а изображение того, как человек, сталкиваясь с иными принципами миропонимания, начинает «задумываться», а иногда даже приходит к пониманию относительности своих собственных взглядов и мнений, ранее казавшихся ему совершенно неоспоримыми. Так герои Короленко попадают в ситуацию, когда они видят себя как бы со стороны, и начинают задумываться над тем, что ранее не могло быть даже предметом их размышлений. Бесспорное становится для них спорным, абсолютная истина — односторонней и неполной. Не от незнания к знанию идут персонажи произведений Короленко, а наоборот: всезнание и всепонимание сменяются вопросами, сомнениями, анализом, что для Короленко всегда означает более высокую ступень понимания «сложности жизни».

Промежуточное положение между этими двумя типами занимает герой одного из лучших рассказов Короленко «Река играет». Обычно идейным центром его считается глава, где рассказывается, как в минуту опасности, когда взыгравшая река грозит унести паром, Тюлин сбрасывает с себя обычную для него лень, апатию, покорность судьбе и обстоятельствам. Он становится решительным, твердым, способным принимать единственно правильные решения. Но вот опасность миновала, и вместе с ней гаснет его волевой порыв и активность. Этот эпизод для Горького, очень высоко ценившего рассказ «Река играет», был символическим выражением русского национального характера. По его мнению, Тюлин «убийственно похож вообще на русского человека — героя на час,— в котором активное отношение к жизни пробуждается только в минуты крайней опасности и на краткий срок» [1].

Замечание Горького надолго определило толкование рассказа, но не исчерпало его. Вопрос в начале и конце рассказа, почему вечно страждущий с похмелья Тюлин и окружающие его крестьяне кажутся автору-повествователю — человеку книжному, как он сам себя определяет,— таким родным и близким, а по-своему образованные книжники-начетчики, с их спорами об истинной вере, произвели на него впечатление безотчетной тоски и разочарования, дает возможность расширить проблематику рассказа.

Важное место в этом произведении занимают размышления одного из героев о том, сколь различны и даже прямо противоположны нравы жителей трех близлежащих деревень. «Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай» (III, 229). Но, несмотря на эту несхожесть и противоположность, герой относится к ним с уважением, пониманием или добродушно-насмешливой улыбкой. «Ну, где еще, думалось мне, найдется такая терпимость к чужим обычаям?» — задает риторический вопрос автор-повествователь. Отношение Тюлина к окружающим отличается тем же добродушием, искренностью и «бессознательным юмором», в основе которых лежит способность признать справедливыми даже взаимоисключающие точки зрения. Отношением человека к чужим или непривычным для него правилам поведения, взглядам, обычаям определяется для Короленко его умственное и нравственное содержание. Именно по этому принципу противопоставлены в рассказе обитатели ветлужских деревень и «уреневские начетчики», с которыми встретился рассказчик на Светлояре. В то время как представители других религиозных толков охотно вступали в полемику, уреневцы держались свысока, пренебрежительно и в споры ни с кем не вступали. Они твердо были уверены в том, что единственно правильно и окончательно решили все вопросы, а «вся святость» сосредоточивалась только в их среде. Полное отрица-

---

[1] Горький М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1973. Т. 16. С. 423.

ние любых других взглядов и обычаев, суровость, пренебрежение и надменность по отношению к людям не из своей среды — вот что отличает их от добродушных и снисходительных ветлужан.

Уреневцев никто не любит, но их все боятся и, главное, подчиняются. Мудрый скептицизм, благотворное сомнение, умение признать справедливыми самые несхожие мнения оказываются слабее прямолинейной, однозначной, но стойкой, нерассуждающей веры, упрощающей реальную сложность жизни, но всегда дающей ощущение силы как исповедующим эту веру, так и тем, кто с ними сталкивается. Их власти подчиняется и Тюлин, и окружающие его крестьяне, и хотя симпатии автора на стороне ветлужан, он отдает должное и позиции уреневцев.

Вопрос о соотношении нерассуждающей веры, дающей силу, и сомнения, двигающего мысль и предостерегающего от окончательных и однозначных решений, остро был поставлен Короленко годом раньше в философской фантазии «Тени». Мудрый Сократ, справедливо полагавший, что его отказ от побега и смерть поселят новые сомнения и заставят задуматься сограждан о справедливости исповедуемых ими правил и взглядов, после смерти в мире теней, встречается с богатым кожевником, которого, подобно уреневцам, никогда не посещали никакие сомнения относительно безусловной истинности своих нравственных норм. Спор Сократа с кожевником представляет собой тонкий социологический анализ того, как нравственность, привитая человеку средой, становится уже не столько системой взглядов и рациональных оценок, сколько инстинктом, перед которым бессильны самые справедливые доводы разума. В споре с ним побеждает, конечно, Сократ, но вопрос, который задает Сократу Кронид, смущает самого философа. Какой смысл в том, что взамен веры, хотя и устаревшей и не отвечающей современности, но дающей людям силу уверенно совершать поступки, он предлагает одни лишь сомнения? Они способствуют продвижению к истине, но разрушают спокойную уверенность в себе, ведут к пониманию относительности любых идеалов и нравственных правил. «Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа веры» — вот к чему, по мнению Кронида, ведет скептицизм Сократа (II, 351).

Парадоксальный ответ, который находит Сократ, звучит не только в его словах, обращенных к Крониду, но и в предшествующем им аллегорическом рассказе о сыне, потерявшем отца и всю жизнь искавшем его. Не раз хотелось вечному скитальцу признать своими родными людей, даривших ему приют и ласку. Но проходило время, он замечал у приютивших его людей черты несовершенства и покидал гостеприимный кров. Так стремление найти родного отца, то есть идеал, побеждало желание окончательно принять удобную и привычную веру. Поэтому неудовлетворенность, непрестанное сомнение в открытой истине, нежелание превращать в веру, тщательно оберегаемую от

разрушительного анализа, и являются твердым основанием того, что истина, часто кажущаяся иллюзорной, все-таки существует.

С другой стороны, во многих своих произведениях Короленко исследовал, как идея превращается в веру, теория — в «строгий устав идейного монастыря» [1], частичное знание — в абсолютную истину, объясняющую весь мир. Причем в равной степени это относится и к правдоискателям из народа, и к правдоискателям-интеллигентам.

Короленко, в отличие, например, от Толстого, был писателем, которому не свойственны резкие идеологические сдвиги. Поэтому его ранний рассказ «Чудна́я» можно соотнести с одним из последних его произведений — «Письмами к Луначарскому». Элементы революционного сектантства он отмечал и у народников, и у иных деятелей революции 1917 года. В «Письмах к Луначарскому» он подчеркивал, что отсутствие гласности не может оправдываться никакими, даже революционными обстоятельствами, резко выступал против идеи классовой морали, против максимализма большевиков, с которыми он встречался, ожидающих наступления в самом ближайшем будущем коммунизма и потому не желающих считаться с реальностью.

Красота и сила духа отстаивающих свою идею героев Короленко парадоксально контрастирует с узостью и догматизмом их мышления. Так, революционерка Морозова из рассказа «Чудная» похожа на боярыню Морозову из статьи «Две картины», смело идущую на муки, отстаивая двуперстное крестное знамение, тяжелые страдания перенесет несгибаемый Яков-стукальщик из рассказа «Яшка» за измышленный им совершенно фантастический «прав-закон», погубит себя «убивец» из одноименного рассказа, поверив в изуверскую теорию Безрукого, чуть не погибнет симпатичный Пурана из философской притчи «Необходимость», подчиняясь абсолютизированному им закону необходимости. «Ты знаешь немногое, а думаешь, что знаешь все...» — эти простые слова могли бы стать эпиграфом ко многим произведениям писателя. Но наиболее глубоко проблема «человек и идея» исследуется в итоговой книге писателя — «Истории моего современника».

Автобиографическая проза, к которой и ранее тяготел Короленко, оказалась именно тем жанром, в котором писателю удалось соединить интерес к малоисследованным областям человеческой психики, интуиции, подсознанию, с социологическим анализом личности и общества, изучению самих законов мышления. В «Истории моего современника», над которой писатель работал с 1905 года и до последних дней жизни, Короленко показал, как со сменой усвоенной его героем системы представлений меняется и открывающаяся ему действительность, как идеологическая призма, через которую его герой смотрит на мир, определяет восприятие этого мира.

---

[1] Бялый Г. А. В. Г. Короленко. Л., 1983. С. 71.

Готовя полное собрание своих сочинений в 1914 году, Короленко все свои произведения разделил на четыре большие группы: сибирские рассказы, южно-русские рассказы, аллегорические произведения, публицистика и воспоминания о писателях. И каждый том включал в себя произведения из всех четырех групп. При всей странности такого состава томов (против которого, например, резко восстал К. Чуковский[1]) в этом была своя логика. Короленко считал, что его художественные произведения по-настоящему не могут быть осмыслены вне его публицистики, а воспоминания о писателях так же насыщены философским содержанием, как и его «аллегорические» произведения. Действительно, способность к рефлексии — одно из определяющих качеств наиболее близких автору героев, будь то крестьянин или интеллигент. В публицистике, исследуя общественное сознание, Короленко формулирует понятие «социальной рефлексии». В «страшных» по используемому материалу (дневники людей, приговоренных к смерти) очерках с контрастирующим их содержанию названием «Бытовое явление» (аналогично рассказ с трагической фабулой называется «Не страшное») писатель так раскрывает этот термин: «Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы — составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент *социальной рефлексии,* которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений» (IX, 502).

Короленко был художником, мыслящим социально, и социологом, умеющим отвлекаться от излишне рационалистических, сухих схем. Как художник он был способен доверять своему непосредственному чувству, а социологическое мышление позволило ему избежать обычной пристрастности участника событий, выявляя их внутреннюю историческую закономерность. Публицистические статьи Короленко нередко становились крупными явлениями общественной жизни и одновременно яркими вехами его биографии. Именно Короленко и Л. Толстой привлекли внимание всей читающей России к голоду 1891—1892 годов и многим способствовали борьбе с ним. Короленко спас целый народ (вотяков) от огульного и ложного обвинения в совершении убийства с ритуальной целью, опубликовав серию статей о Мултанском деле. В статьях «Несколько мыслей о национализме», «Декларация В. С. Соловьева» он четко сформулировал разницу между патриотизмом и национализмом. Он первым в русской печати выступил с правдивыми и яркими картинами того, как усмиряются крестьянские волнения. На события 9 января 1905 года большой статьей удалось откликнуться только Короленко, прозорливо сказавшему, что события «кровавого воскресенья» — «первый крутой

---

[1] См. с. 610 наст. изд.

излом нашего горизонта, за которым, быть может, в загадочном тумане уже рисуются другие — и выше, и обрывистее, и круче»[1].

Человек редкой доброты и мягкости, Короленко с решительностью и непоколебимостью борца и гражданина отстаивал мысль, что в обществе должна быть такая нравственная «температура», которая способствовала бы «затвердеванию» добродетели.

Близкий Короленко человек, сотрудничавший с ним в журнале «Русское богатство», критик А. Г. Горнфельд проницательно заметил, что личность и творчество Короленко составляют редкое художественное единство: «О лучшем произведении Короленко едва ли возможны споры. Лучшее его произведение не «Сон Макара», не «Мороз», не «Без языка»: лучшее его произведение — он сам, его жизнь, его существо. Лучшее — не потому, что моральное, привлекательное, поучительное, но потому, что самое художественное»[2].

Личность и творчество Короленко являли собою новый тип человека и художника. Его произведения опережали свою эпоху. Вероятно, именно сейчас наступает тот период, когда творчество Короленко может быть осмыслено во всем его многообразии и глубине.

Б. Аверин

---

[1] Короленко В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 327.

[2] Горнфельд А. Г. В. Г. Короленко// Жизнь и литературное творчество В. Г. Короленко. Пг., 1918. С. 13.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1879-1888

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ «ИСКАТЕЛЯ» [1]

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую —
Каким идти.

Некрасов

I

Это было в 186* году. В то время ***ская железная дорога только что была окончена. Недавно еще промчался по ней пробный поезд, и вслед за ним, оглашая могучим свистом окрестности, гремя и сверкая, мчались новые вагоны, и клубы дыма и пара стлались далеко сзади, охватывая кусты и деревья и теряясь в молодой зелени листьев. Весна еще только разгоралась. Яркое южное солнце давно уже согнало последние остатки снега, но в воздухе все еще веяло молодой неустановившейся теплынью, в которой нет-нет да и пробьется острая свежая струйка.

Земля вздыхала полной грудью. Леса, которых так много в этой местности, стояли на горизонте, закутанные в мягкую сизоватую синеву, а вблизи с здоровой чернотой стволов уже смешивалась молодая зелень и в воздухе носился запах распустившихся почек. Меж раздав-

---

[1] Этот первый мой рассказ, появившийся в 1879 году и даже не подписанный моим полным именем, я не имел в виду помещать в собрание своих сочинений. Но мне говорят компетентные люди, что он упоминается в биографиях и, кроме того, с ним связан небольшой эпизод из воспоминаний о Щедрине (см. мою статью о Н. К. Михайловском, т. 2-й). Ввиду этого читатели вправе искать его в полном собрании и отсутствие его сочтут, быть может, пробелом. Для избежания этого помещаю в конце издания это слишком еще незрелое первое мое произведение без всяких редакционных изменений. В. К.

шихся в обе стороны деревьев блестела прозрачная речка и, точно резвясь, извивалась между размытыми далеко глинистыми берегами, на которых виднелись еще поймы наносного ила, торчали по обрывам обнаженные корни, валялись черные корчаги — следы весеннего разгула речки.

И железная дорога, с ее шумом и свистом, не портила этого впечатления. Эта молодая жизнь была так свежа и бодра, что могла примениться к чему угодно. Все она охватывала своими могучими волнами. Свежие насыпи, не успевшие сгнить новые шпалы, полотно, заново посыпанное щебнем с красноватым песком,— все гармонировало с общей картиной.

Несколько раз в день гудит в лесу звонкий свисток, прокатится над речкой, отдастся в далеких погружающихся уже в вечернюю дремоту чащах... И вот выныряет из лесу чудовище-локомотив и все растет, вырастает... Вырвутся белые клубы пара и, прохваченные свежестью наступающего вечера, опадают, ползут, ныряют между деревьями, и зеленеющие ветви, точно играя с ними, ловят их, прячут, закутывают своими объятиями, и они тают, скрываются между листвой, исчезают...

А поезд въехал на новенький мостик, сверкнул в прозрачной реке над светлым отражением живых еще свай, громыхнул, загудел и опять понесся с пыхтением и свистом по извивающейся дороге... И вот он уменьшается, тает... Только рельсы, точно живые, говорят и рокочут все тише и тише, постепенно смолкая... Вот еще раз слабо сверкнули окна вагонов и рычаги локомотива, еще свисток — уже издали, и темная змея, извиваясь, вползает в темную чащу... Лес раздается — еще мгновение, и над ним носится только белый дымок, в котором играют лучи весеннего заката.

А вокруг все опять тихо. Опять невозмутимо бежит речка и сдержанно плещут ее струйки... Туман носится в легком сумраке над полями, между пятнами леса, закутывая все от наступающей ночной прохлады, и только поближе видна еще яркая зелень молодой травки, да рой мошек звенит, точно вечерняя молитва... Вокруг торжественная тишь. Ночь опускается на землю, на небе проглядывают звезды, на западе реет еще отсвет заката, а на потемневшем, закутанном в сумрак востоке зарисовывается луна...

II

Я жил в этой благословенной местности. Я был молод и свободен, как ветер. Правда, я носил звание студента к-ского университета, но узы студента, если их вообще можно было назвать тогда узами, меня не особенно тяготили. Для экзаменов труда надо было немного, и я справлялся с ними отлично. Профессора, знавшие меня поближе, были мною очень недовольны, но я, признаться, смеялся над этим недовольством. Нельзя сказать, чтобы я не работал вовсе. Напротив, случалось работать, и работать сильно, упорно; но это не было систематическое факультетское учение. Я занимался всем, что меня интересовало, а интересовало меня очень многое, «слишком многое», говаривали ученые мужи... Поэзия и статистика, цифры и рифмы, «мечты и звуки» и вивисекция — все это уживалось во мне в удивительном согласии и гармонии. Стихотворения проливали свой мягкий свет на цифры; цифры, с дружеской солидностью, подтверждали неуловимые истины стихотворений. Да, мною были недовольны ученые мужи, но я был доволен собою, своей работой. Числясь официально на естественном факультете, я изучал политическую экономию и статистику, писал лирические стихотворения, с увлечением возился с микроскопом, поглощал исторические монографии. Однако если меня и считали идеалистом-теоретиком, неспособным к практическому труду, то это была ошибка. Мне случалось брать на себя исполнение чисто практических работ, и я отлично справлялся с ними. Чем труднее была работа, чем более в ней было спутанных частностей, требовавших сноровки, умения приспособиться, тем с бóльшим увлечением я брался за нее. Я изучал, обобщал, подводил к одному знаменателю, приводил в систему, реформировал, творил, овладевал предметом. Я влагал в труд всю свою душу. Но когда путаница разъяснялась, все приходило в порядок, из хаоса получалась форма, колея, рутина, когда дело, в свою очередь, стремилось овладеть мною, я сторонился от него, как и от факультета. Что хотите, я был по-своему прав. У меня были планы, стремления, хотя и не вполне еще определившиеся, но искренние, сильные, и они шли вразрез с *этой* практикой...

III

Я гостил на хуторе, в семействе товарища, если только словом «гостить» можно охарактеризовать пребывание в пустом доме, из которого выехали хозяева, оставив его в полное мое распоряжение. Меня просили только не сжечь его, да по возможности оставить в целости оконные стекла, которые вставлять в деревне очень неудобно,— в остальном я был полный хозяин. У меня был компаньон и товарищ, старый слуга хозяев — Якуб, с которым мы были большие приятели. Старинная винтовка Якуба да небольшая сумма денег, полученная мною за два месяца кропотливой бухгалтерской работы, служили единственным источником удовлетворения наших незатейливых потребностей, и с этими средствами мы с Якубом жили в оставленном хуторе полными дикарями. Днем я бродил по полям, рисуя, собирая коллекции; Якуб, как Агасфер, неутомимо шатался по лесам и болотам, и гулкое эхо разносило по окрестностям отголоски метких выстрелов старой винтовки. Вечером мы сходились к нашему домишку; кто приходил ранее, тот раскладывал невдалеке, под деревьями, над речкой, костер, на котором мы готовили незатейливый ужин. Спали мы тут же, у костра, на открытом воздухе...

Личность моего компаньона была довольно замечательна. Мое знакомство с ним началось давно: еще мальчишкой я приезжал по временам из гимназии в хутор к товарищу на целые недели, и в это время мы познакомились с Якубом. Я часто сопровождал его в бесконечных экскурсиях, и он, обыкновенно нелюдимый, не имел ничего против моей навязчивости. Напротив, часто он разыскивал меня где-нибудь под деревом, в саду, или на сеновале, приносил с собою мои ботфорты и шапку и лаконически приговаривал:

— Пойдешь, что ли?

И я с удовольствием соглашался. Он указывал мне хорошие охотничьи стоянки, порой водил в места, которые ему казались почему-либо интересными, говорил вообще мало, но, по-видимому, слушал очень охотно все, что я болтал ему в дороге. По временам он смеялся коротким утробным смехом, причем концы его опущенных вниз седых усов как-то очень характерно сближались,— но никогда он не мотивировал этих припадков веселости, и, признаться, они часто приводили меня в недоумение. Я не мог понять, почему он смеется в данное время, чем



вызывался этот смех. Казалось, его настроение управлялось какими-то внутренними законами и нисколько не зависело от того, что́ другие считали смешным, веселым или грустным.

Кажется, я был единственным, сколько запомню, человеком, общества которого Якуб как бы искал. К остальным он относился индифферентно. Правда, его, собственно, нельзя было назвать угрюмым мизантропом; если вглядеться в его лицо, оно никогда не было мрачно или желчно. В людской, куда он являлся по временам, точно на бивак, над ним иногда посмеивались, шутили; нередко, при более или менее удачной шутке, его усы сдвигались, и из-под их густой щетины просвечивало нечто среднее между гримасой и улыбкой, в общем довольно добродушное; но он никогда не огрызался, не отвечал, даже просто не вступал в разговоры, продолжая, как ни в чем не бывало, чистить ружье, зашивать принадлежности костюма, вообще справлять свои нужды.

С годами он становился все молчаливее. Мой товарищ и его домашние, оставляя меня с Якубом, предупреждали, что Якуб совсем разучился говорить и что мне не добиться от него ни слова. Когда, возвратясь с охоты, Якуб застал меня в первый раз после моего приезда, он только взглянул на меня из-под седых бровей как-то внимательно и с любопытством; но этот взгляд, брошенный из людской в отворенную дверь комнаты, в которой я беседовал с моими знакомыми, был единственным признаком внимания, которым он меня удостоил. Он даже не вошел в комнату, и я сам вышел к нему, чтобы поздороваться.

Впрочем, наша жизнь вдвоем быстро наладилась и вошла в колею. Оказалось, что предупреждения Рожанских (фамилия моих хозяев) были совершенно напрасны. Нам обоим вовсе не было скучно вдвоем. Правда, по целым дням мы бывали врозь и вели жизнь молчаливых созерцателей; зато по вечерам, у костра, мы пользовались всеми преимуществами общественности.

Собственно, и тут мы говорили немного, и постороннему зрителю наши беседы показались бы в высшей степени странными и просто непонятными. В самом деле, в них самих, как и в их обстановке, было много своеобразного. Представьте весеннюю ночь среди благодатной ***ской природы. Синее глубокое небо... широко раскинутые поля утопают в сизом тумане, пронизанном

насквозь лучами лунного света. В этом фантастическом золотистом полусвете тонут луга и леса; где-то из-под него пробивается тихое журчание речки; стены усадьбы, поближе, сверкают золотистым, ярким, режущим отсветом, на фоне старого сада, и тут же, несколько в стороне, под кучей деревьев — наш бивак. Костер пылает красноватым пламенем, трещит сухой валежник, языки огня перебираются все выше, освещая низко нависшие ветви деревьев, верхушки которых тонут в дыму. Мы с Якубом лежим тут же, на сене, в ожидании ужина, который варится у костра, в котелке. У Якуба вспыхивает между усами короткая люлька.

Что касается до самых разговоров, то они были очень немногосложны и, на первый взгляд, очень несистематичны; это были, собственно, какие-то обрывки мнений, вскользь брошенные короткие вопросы, часто остававшиеся без ответа, или такие же короткие ответы. Тем не менее для меня эти беспорядочные беседы были полны живого интереса. Дело в том, что теперь я не мог уже, как некогда, удовлетворяться только ролью единственного активного собеседника; то, что прежде удивляло меня в Якубе и казалось неразрешимым,— я старался теперь разрешить, мне хотелось разгадать этого человека, так равнодушно относившегося ко всему миру; мне хотелось знать, что значат его непонятные, короткие замечания, чему он смеется, отыскать закон, управлявший своеобразными процессами этих странных речей, прочитать мысль, вечно светившуюся в этом невозмутимом взгляде. Вначале это было трудно. Процессы, совершавшиеся в этой седой голове, казалось, подчинялись каким-то совершенно особым законам, и не было никакой возможности направить их на торную дорогу логического мышления, правильных построений. Он никогда не говорил хоть сколько-нибудь округленными периодами, никогда не применялся к слушателю, и если вы начинали закидывать его округленными фразами, если вы обнаруживали попытку свернуть его на вашу дорогу, навязать ему вашу систему,— он как-то вдруг съеживался, кидал на вас испытующие, точно подозрительные взгляды, исполненные вместе с тем какого-то странного философского превосходства, а те процессы, которые вы рассчитывали направить, шли тем же роковым, стихийным путем.

Заметив это, я старался действовать крайне осторожно; я, по возможности, ограничивался коротким

заявлением своего мнения и осторожными вопросами; затем, довольствуясь полученными полуответами, я старался дополнить их наблюдением. Оказалось, что я попал на настоящий путь. Мало-помалу, я все более убеждался, что бессвязные, по-видимому, сентенции Якуба были, в сущности, лишь частью своеобразных, но стройных и закономерных процессов мысли, которым капризная судьба предоставила являться в виде звуков, тогда как остальные части тех же процессов, часто самые существенные в логическом отношении, оставались в уме старика. Приучаясь все более и более к этой манере, я привык дополнять недосказанное осторожным высматриванием выражения лица, порой коротким, точно вскользь кинутым вопросом. На этой почве у нас начался живой обмен мыслей, и я убедился даже, что то, что вначале казалось мне непобедимою умственною косностью, было лишь своеобразною живою силой. Мне приходилось указывать Якубу новые для него факты — особенно интересовал его микроскоп,— и я видел, что он очень восприимчив к этим фактам и способен к их переработке. При этом я воздерживался от всяких объяснений и выводов; в крайнем случае, когда данных для группировки было недостаточно, я приводил другие, известные мне по книгам, и только изредка частью высказывал мое собственное мнение.

Как видите, мне было нескучно с Якубом. В свою очередь, он тоже всматривался и как бы изучал меня. Он был чрезвычайно наблюдателен, и часто я чувствовал на себе его пристальный взгляд. В то время я жил очень полною жизнью. В деревню я приехал, собственно, чтобы разобраться на свободе с массой впечатлений, стремлений и порывов, чтобы углубиться в себя и решить один личный вопрос. И вот разбираться-то мне пришлось на глазах у этого странного философа-наблюдателя.

В один из описанных выше вечеров мы, по обыкновению, расположились с Якубом у костра. Старик на этот раз был, очевидно, чем-то сильно занят. Его неразлучная люлька медленно вспыхивала, шипя, и опять погасала, густые клубы махорочного дыма взвивались в воздухе, а он все молчал, не вмешиваясь даже в мои хлопоты по ужину. По временам он что-то невнятно ворчал; из этого ворчания, прерываемого ожесточенными плевками в сторону, мне удалось только раза два расслышать: «От бисова баба!..», «От то!..» и тому подобные совершенно для меня непонятные восклицания.

Однако, как и всегда, я не торопился с разъяснением. Размешав в котелке, я вынул свой кисет и стал свертывать папиросу. Из двух-трех взглядов, которые, как я заметил, были направлены на меня из-под седых бровей Якуба, с выражением не то любопытства, не то недовольства, точно он подозревал и меня в соучастии с «бисовой бабой», я угадал, что дело касалось, между прочим, меня; стало быть, Якуб выскажется, только раньше ему надо было, очевидно, что-то обдумать.

Наконец старик вытряхнул свою трубку о ноготь большого пальца и, засовывая ее в карман, кинул в мою сторону:

— Вам можно жениться?

Я был озадачен, однако не выразил своего удивления и равнодушно ответил:

— Да, уже более года я имею право жениться...

Якуб вскинул на меня глазами и продолжал так же равнодушно:

— Что ж, женитесь; грóшей много — своя будет воля...

Мое удивление росло. Что это ему взбрело в голову сватать, да и кого же?

— На ком? — спросил я.

Этот короткий вопрос сильно не понравился Якубу. Он желчно плюнул и опять полез в карман за только что оставленной трубкой.

— На ком, на ком!.. Эх, спрашивают тоже! Ну, на бабе... Не все ли равно?.. Там разобрал бы после... На ком!

Я с удивлением посмотрел на старика. Его лицо выражало сильное неудовольствие. Неужели он мог серьезно выражать мнение, что, мол, «не все ли равно»? Нет, мне показалось, что за этим скрывается нечто другое.

— Ну, на Сорокáихе. Знаете ведь вы — вдова есть такая... Говорит — он меня видал. Грóшей, говорит, у меня не мало. Песню тоже пела: «Чи в мене не биле личко, чи не чорни брови?..» Тьфу!..

Я чуть не расхохотался. Якуб, сильно раздосадованный, наклонился к огню, чтобы закурить свою трубку.

— Ну? — спросил он затем, точно торопясь развязаться с этим вопросом.

— Что «ну»? — спросил я, в свою очередь, желая подразнить старика.

Мне было немного досадно, что он мог обратиться ко мне с этим предложением. За кого же он меня принимает? Сорокаеву я действительно видел раза два; это была вдова, обладательница хутора, молодая, богатая, полная, бойкая и неглупая. Она держала себя независимо, и это предложение, сделанное через Якуба, это циничное указание на «гро́ши» и «биле личко» были для нее очень характерны.

Люлька Якуба заскрипела и вспыхнула, и на его освещенном лице я, к величайшему удивлению, заметил вдруг одну из его добродушнейших гримас. Концы седых усов заметно шевелились.

— Эге! — сказал он.— Не хочешь, ба́чу — не хочешь!.. От!..— Он вдруг поперхнулся, точно от подступа внутреннего смеха.— От глупая баба! Говорил я: не женится... Куда!..

Я тоже засмеялся.

— С чего вы взяли сватать меня?.. А Сорокаевой скажите — пусть «перед батька не лизе в пекло», пусть дожидается, пока за ней с ее грошами будут свататься сами.

— Эге, эге! — подтвердил Якуб.— Говорил!.. От-то баба! «Семена» [1], говорит, знаешь? Ну, так завтра скажешь, а то... От и скажу завтра. Н-ну, баба!

Якуб, очевидно, повеселел от перспективы завтрашнего объяснения. Он привстал, заглянул в котелок и, помешав в нем, снял его с огня. Мы поужинали.

Затем, после ужина, Якуб, расположившись лицом к синему небу, долго бормотал что-то и ухмылялся. Я тоже благодушествовал, пуская клубы дыма к звездному своду. Наконец, когда я стал уже погружаться в дремоту, мне вдруг послышался голос Якуба:

— Значит, вам грошей не надо?

— Не надо,— ответил я сквозь дремоту.

— Гм, так...— лукаво произнес старик, и из его люльки послышалось долгое сосредоточенное хрипение перегоревшего «тютюна».

IV

Каково было объяснение Якуба с предприимчивой вдовой — мне неизвестно. На следующий же вечер нас

---

[1] Малороссийская песня, изображающая могущество денег в деле «сватания».

с Якубом заняла другая тема. Когда я подошел к нашему биваку, костер давно уже был разведен, несмотря на сравнительно раннее время, и Якуб, без свитки, вообще по-домашнему, как видно, давно уже возился с ужином. Когда я подошел, он посмотрел на меня исподлобья и опять обратился к костру. Я переменил свои охотничьи сапоги на легкие и прилег тоже близ костра на сено.

— Письмо к вам,— сказал Якуб.

— Письмо? — живо спросил я.— От кого?

— Не знаю...

Он равнодушно протянул руку к костру, вынул оттуда пальцами горячий уголек и положил его к себе в люльку.

— Кто же привез?

— Варехинский человек привез...

— Значит, от старого Варехи...

Якуб вскинул глазами и опять многозначительно произнес:

— Не знаю...

Я покраснел.

— Дайте письмо.

Якуб полез в карман и, вынув оттуда порядочно измятый небольшой изящный конвертец, подал его мне.

Подавая, он повертел его в своих грубых руках. Я следил взглядом за этой маленькой вещицей в его заскорузлых пальцах, и он, по-видимому, подметил мои тревожные взгляды. Концы его усов стали шевелиться.

На конверте кругленьким изящным женским почерком было написано: «Борису Гавриловичу Дубраве».

Я хотел уже было сломать печать, когда из костра послышалось шипение висевшего над ним котелка, извещавшее, что ужин готов.

— А ужинать-то раньше не будете? — спросил Якуб с невозмутимейшим равнодушием, вынимая котелок из огня.

Старый варвар! Он догадывался, что мне не до ужина... Тем не менее я отложил письмо и по возможности равнодушно принялся за трапезу. Старик ел с аппетитом, кидая по временам в мою сторону совершенно равнодушные взгляды. Я нес мой крест, хотя нельзя сказать, чтобы особенно терпеливо. Проглотив несколько горячих, как пламя, картофелин, я счел свою задачу оконченной и вновь обратился к письму.

Мне было ужасно досадно и неловко распечатывать и читать его под внимательными взглядами Якуба. А он,

растянувшись тут же в весьма непринужденной позе, неторопливо продолжал свой ужин и так же неуклонно наблюдал каждое мое движение.

Я вооружился стоицизмом. Сделав по возможности равнодушную физиономию, я сломал печать и, несколько отвернувшись от Якуба, будто для того, чтобы поудобнее расположиться в отношении света, принялся наконец читать цидулку.

Письмо было недлинно. Пишущая обращалась ко мне от имени «папаши». «Папаша» удивлялся, что я, так долго уже находясь по соседству с С*** (соседний уездный город) и даже бывая несколько раз, как он узнал, в самом городе, не заглянул к нему. Конечно, у меня могли быть для этого более или менее основательные причины; однако «папаша» полагал, что никакие причины не могут быть достаточно основательны, чтобы не посещать так долго старого друга моего отца, да и лично моего друга также. Теперь «папаша» обращается к моему великодушию. Он сообщает, что ему необходима моя помощь, как и в прошлом году, и полагает, что хоть это соображение вызовет меня из моего отшельничества. Пишущая в конце добавляла от себя, что, конечно, она не считает особенно вескими свои собственные доводы, однако она вполне разделяет взгляд «папаши» на несправедливость моих действий, и если уж, кроме дел, ничто не в состоянии заманить меня в С***, то «будем благодарны хотя бы делам». Этим упреком кончалось письмо. Под ним стояла короткая подпись: «Соня».

...Отсвет от неровно игравшего пламени перебегал по беленькому листочку все слабее и слабее. Костер потрескивал и потухал, а я все смотрел, хотя и не читая, на эту маленькую страничку, на это словечко в конце. Я забыл о пристальных взглядах Якуба, забыл обо всем окружающем и погрузился в свои мысли.

Милая девушка! Какая кроткая укоризна звучала для меня в этих немногих заключительных строчках, как ясно я видел ее милое личико, омраченное грустью... И как я груб, жесток, несправедлив! Что́ она думает? Чему она может приписать мой дикий поистине образ действий?.. Вправе ли я поступать подобным образом?..

Вареха, отец Сони, был помещик, из тех немногих, которые отлично сумели примениться к новым условиям, ворвавшимся в жизнь вместе с реформой. Умный, практический, сметливый, он не роптал, не делал оппо-

зиции, но и не произносил жалких слов. Он просто принял дело, как оно есть, и стал «применяться». И дело пошло отлично. Его хозяйство удачно выдержало кризис и помаленьку, но твердо пошло на новый лад. В то время, когда другие бросились хищнически реализировать остатки и большею частью безнадежно пускали их прахом или тратили их на самые юмористические затеи на тему рационального хозяйства, он тоже взялся за нововведения — твердо, осторожно. Вскоре, рассчитав предварительно все шансы, он завел небольшой заводец, который оправдал его ожидания. Сам он, по коммерческим соображениям, поселился в городе, в нескольких верстах от имения, завел тут свой магазин, и вообще стал вполне «промышленным» человеком.

Он был товарищем и другом моего давно умершего отца. Я бывал еще в детстве в имении старого Варехи, и мы были большие приятели с Соней. Потом, в одну из своих побывок у Рожанских, я, между прочим, заехал и к Варехе. Старик принял меня очень радушно, как сына своего старого приятеля, но вскоре между нами завязались и непосредственно близкие отношения. В это время он только еще прилаживал свой заводец, хлопотал, суетился. Главное его затруднение, величайший источник неприятностей, сопряженных с новым делом, заключался в том, что он совершенно не доверял нанятым техникам, а сам плохо смыслил сущность производства. Он окружил себя книгами, по целым дням читал, волновался противоречиями, сомневался, надеялся, вновь впадал в отчаяние и вновь оживал. Вот тут-то я мог оказать ему кое-какую помощь. Я порядочно знал химию. У старика была заведена небольшая лаборатория, и мы пустили ее в ход. Я делал анализы, сверял получаемые результаты с специальными техническими сочинениями; правда, нам приходилось встречать множество затруднений, усложнений, противоречий, особенно сначала, но в конце концов мы сделали несколько практических выводов. Это обстоятельство в значительной мере способствовало скреплению уз, соединявших меня с стариком. Вместе с тем химические процессы, совершавшиеся в моих ретортах и мыслях, имели некоторое совершенно особое влияние и на другую сторону моих отношений к варехинскому семейству. Соня очень интересовалась нашими «производствами»; я разъяснял ей сущность химических явлений и хотя, правду сказать, не очень был доволен как учитель успехами

ученицы в этой области знания, зато внимание, с каким смотрели на меня ее голубые ласковые глазки, не оставляло желать ничего лучшего.

Вскоре отношения наши установились как-то так, что мы стали отлично понимать друг друга без объяснений (я говорю, конечно, не о химии). Я научился читать в этих ласковых глазках, я вслушивался в ее тихую мелодичную речь; она с большим вниманием выслушивала мои мечты и восторги, и нам обоим было недурно. Это было нечто вроде тихого, здорового, юного сна, в знойный летний день, на зеленой прохладной траве, пóд густым пологом леса. Синее, бесконечно глубокое небо, светлые, бегущие, как призраки, облака, этот зной вокруг, кроме зеленого шатра, это сознание здоровой и молодой дремлющей силы... Нужно — чувствуешь возможность сразу подняться с бодрой, нерасслабленной энергией. А покамест листья шепчут так сладко, так завлекающе таинственно, и по небу плывут эти тучки, одна за другой, причудливые, красивые, легкие...

Старик Вареха по временам взглядывал на нас с лукавой, чуть-чуть заметной улыбкой. Добряк знал, что у меня за душой ничего, кроме молодости и силы, но он, хотя и был очень практичен, понимал практичность по-своему.

Итак, все, казалось, шло хорошо, так хорошо, что... я испугался. Хороши были глазки, тихие речи, хороша тень и прохлада и небо и тучки, однако там, за этим раем, где и беспокойно, и жарко, было нечто, манившее меня очень сильно... Я стал побаиваться улыбок старого Варехи. Подошла осень, и я уехал из С*** и окунулся с головой в беспокойную, богатую впечатлениями жизнь к-ского студента. Правда, воспоминания об укромном уголке часто вставали во всей своей прелести, и я ждал лета. Между тем я все более и более определялся.

Теперь, когда я вновь поселился в окрестностях С***, я уже начал понимать довольно ясно, что в жизни бывают странные противоречия. Мои личные стремления раздвоились, и я, как сказочный герой, стоял на распутьи... Две дороги расстилались передо мною... Одна... вела в уездный город С***, ***ской губернии, прямо к воротам беленького домика, с приветливо глядевшими светлыми окнами, уставленными геранью и розами. Из-за цветов мелькало молодое, приветливое личико. Другая... другая была длинна, очень длинна,— конца я не видел... Но как неудержимо тянула она своей

неведомой далью, заманчивой неизвестностью, с ее борьбой и опасностями, с запросами энергии, чуткости, силы...

Несколько раз я заказывал через Якуба в деревне возок или верховую крестьянскую лошадь. Я наряжался тогда в самый блистательный костюм, добывал из чемодана самый щегольской галстук, вообще приводил Якуба в совершенное недоумение необычным сиянием и блеском. Все готово. Лошадь приведена. Якуб пытливо посматривает с философски наблюдательным видом на мои сборы. Но я всякий раз отсылал лошадь обратно, быстро переодевался, надевал свои смазные сапожищи, брал ружье и удалялся в лес или в поле и бродил там по болотам до устали, до изнеможения. Таким образом я прожил на хуторе около шести недель и еще не был ни разу у Варехи...

V

Костер потух. На небе стоял полный месяц, звезды мерцали ярким, как будто все разгоравшимся светом. Лес тихо и ровно шумел на фоне этой чудной весенней ночи.

В голове у меня шумело, сердце стучало напряженно и сильно. Определенной мысли не было. Я боялся думать в эту страстную весеннюю ночь, боялся поставить для решения вопрос, так как шансы двух боровшихся во мне решений в эту ночь, я это чувствовал — были неравны. Я смотрел вверх на золотом сиявшие звезды, на тихо плывшие тучки... Мало-помалу я стал забываться...

Вдруг сзади меня прозвучал как-то резко голос Якуба:

— А на варехинской панночке не женитесь?

Я вздрогнул. Проклятый старик сразу вспугнул наступавшую дремоту, и я понял, что мне не уснуть уже в эту ночь. Я обернулся. Угли костра слегка тлели, по ним пробегали огненные змейки. Якуб полулежал, опершись подбородком на руки, по-видимому, давно уже в этом положении, и смотрел на меня.

— С чего вы это? — спросил я неохотно.— Да и не отдаст старый Вареха,— добавил я затем совершенно некстати...

— От-даст,— сказал Якуб с расстановкой.— Вот что,— продолжал он серьезно,— ты не мудруй... говорю, не мудруй. Пожалеть не пришлось бы.

— Эх, старик, и тут пожалеть можно.

— Можно...— задумчиво проговорил он.— А есть и которые хорошо живут, умеют любить. Вот Голуби...

— Голуби?..— спросил я с удивлением.

— Да,— сказал Якуб,— помещики есть такие — Голубевы, да их Голубями зовут. Очень уж любятся, так вот и прозвали... И усадьбу их Голубятней зовут. Хорошо живут... Только...

— Что же? — спросил я машинально, хотя, признаться, мне было не до расспросов о Голубях.

— Эх! Мудрит она тоже... хорошая она... а трудно... Эх, не мудруй, право, не мудруй,— смотри, трудно!..

В голосе его слышалась какая-то задушевная, непривычно мягкая нота. Я вскочил на ноги. Нет, мне не уснуть больше!..

— Куда? За лошадью? — спросил Якуб.— Обожди, рано.

Он взглянул вверх на луну.

— Два часа, куда в такую пору людей подымать, успеешь.

Но я шел не за лошадью.

— На Чертово болото пойду, на тягу,— проговорил я с усилием.

Затем я надел сапоги, взял ружье и пошел через мостик в поле.

Движение мало доставило мне облегчения. Луна стояла высоко. Весенняя ночь разгоралась, и ее страстное дыхание захватывало меня чудным, опьяняющим потоком. Кровь бушевала. В воздухе носилось что-то чарующее. Я почти бессознательно прошел через рощу и вышел на большую почтовую дорогу. Она подымалась несколько вверх, прорезая холмы. С одного из них далеко видна была вся окрестность. Я взошел на его вершину.

Синяя, с золотыми просветами, глубокая, чарующая южная ночь лежала, широко раскинувшись, над полями, над дорогой, над лесом. Все вокруг было тихо, но в этой тишине слышалось неспокойствие сна. Нет... какой-то сосредоточенной страстью дышала эта ночь и точно сдерживала дыхание. Шоссе, слегка сверкая и искрясь отсветом лунного сияния в мелком щебне, тонуло в золотистом тумане, теряясь в подернутой сизою пеленою далекой роще. За рощей чуть-чуть вырисовывались очертания высокой колокольни, и только крест ее сверкал переливами золотого сияния. Это была коло-

кольня с-ского собора, и там же, за этой рощей, погруженный в синеватую мглу, виднелся мне маленький спящий городок — белеющие стены скромных домиков. И вот один из них, милый, приветливый домик, окна с цветами, и за одним из этих окон, в угловой комнатке, в эту самую минуту, она, моя Соня, грезит во сне.

И отказаться от нее!.. Добровольно отказаться от счастья, от этой улыбки, от этой приветливой, родной, милой души!.. Отказаться, лишиться, отдать, быть может, другому... Безумие!..

Я стоял на холме, смотрел на колокольню, и яркие картины и образы проносились в эту чудную ночь в моем разгоряченном мозгу. Долго ли это продолжалось, не знаю...

Я снял шляпу и отер рукою горячий лоб. Прохладный ветерок пахнýл мне в лицо. Я оглянулся вокруг.

Звезды начинали бледнеть. На востоке, влево от колокольни, прокрадывались уже лучи еще далекого солнца. Очертания леса, закрывавшего С***, выделялись все резче, свежее.

Внизу, в долине, в скученных темных домишках деревеньки зажигались огни. Залаяли собаки. Скрипнули где-то не видимые глазу ворота, и донеслось понукание выводимых из конюшни лошадок.

Огоньки в окнах деревни замелькали чаще и чаще. Возбужденная мысль изменила направление. Я смотрел в долину, на ютившиеся в предутреннем мраке темные хаты. Казалось, я вижу ясно все, что творится внутри этих бедных, хорошо мне знакомых лачуг. Вот зажигает лучину старуха, приходившая вчера к Якубу за лекарством. Там, у нее, в темном углу мечется больная девушка-внучка. Вот мелькнул огонек и в подпертой со всех сторон полуразвалившейся избенке солдатки, а вот осветил он и оконце моего приятеля Босого, захудалого горемыки. Вот выезжает из ворот деревенского кулака работник Микита, а там в конце деревни, у выезда скрипят ворота клуни. Там бедняга прыймак [1] отправляется на постылую работу, в постылой, зажиточной, но гордой семье...

Спасибо трезвому, светлому утру. Я еще раз взглянул в сторону колокольни. Влево от нее, с востока, свет разливался дальше и дальше. Острая крыша резко чернела на посветлевшем небе; роща рисовалась также резкою,

[1] Прыймаками называют в Малороссии бобылей, которые, женясь, не берут жену к себе, а сами идут жить в семью жены.

свежею тенью. Большая дорога уже не сверкала. Роса села на камни, длинная вереница телеграфных столбов выступала довольно ясно. Утренняя свежесть прохватила насквозь еще недавно дышавшую негой и страстью природу. Перед зарей подымался ветер. Телеграфные проволоки затянули свою протяжную монотонную песню. Конец шоссе ясно обрывался у начала рощи.

Нет, не это моя дорога. Утро принесло с собою решение.

Я сошел с холма и пошел по шоссе, в направлении к речке. Там я сошел вниз и умылся в холодной воде. Затем я бодро зашагал к Чертову болоту, на тягу...

VI

«На ловца и зверь бежит»,— говорит пословица, но я был ловец плохой, и на меня набежала дичь, которой я вовсе и не искал. Часов в девять утра, порядочно усталый после ночи, проведенной без сна, я забрался в густую чащу, где, по моим расчетам, никто не мог меня потревожить, и там, положив сумку под голову, заснул под шепот свесившейся листвы густого орешника. Не знаю, как долго я спал, но, должно быть, порядочно долго,— когда был разбужен близким разговором. Раскрыв глаза, я увидел следующую картину. Невдалеке от меня, на небольшой лесной поляне, у ее края, сквозь листья и ветви орешника мелькало синее платье. Молоденькая дама взбиралась на старый, сгнивший пень, торчавший наклонно, и, опираясь одной рукой на руку стоявшего за нею мужчины, другою тянулась за кучкой молодых орехов. Лица ее спутника не было видно за ее стройной фигуркой; из-за мохнатого пнища виднелись только его ноги в щегольских лакированных сапогах («Охота бродить по лесу, точно по паркету»,— мелькнуло у меня в голове).

— Говорят тебе, еще зелены,— произнес мужской голос.

Дама хотела что-то ответить, но в это время белка, притаившаяся на ближней ветке и вспугнутая приближением маленькой ручки, прыгнула через голову дамы на противоположное дерево. Дама вскрикнула и засмеялась почти в одно время, потеряла равновесие и упала на руки своего спутника.

Молодой и красивый мужчина, очевидно, нисколько

не растерялся от неожиданности. Напротив, он очень ловко подхватил ее и, пользуясь случаем, стал осыпать поцелуями прекрасное, смеющееся личико с видом человека, которому хорошо знакомо это приятное времяпровождение.

«Голубки»,— мгновенно мелькнула у меня догадка. «Умеют любиться»,— вспомнились слова Якуба.

— Пусти, что ты делаешь? — говорила дама.— Пусти, Серега, как ты смеешь? Пусти, закричу!..

Но Серега, очевидно, вышел из повиновения и, что называется, закусил удила...

— Кричи...— сказал он, неохотно отрываясь от своего занятия, чтобы произнести несколько слов,— что ж, кричи, место глухое, никто не услышит...

Мне показалось, что я не имею права скрываться долее. Мое положение и то уж стало довольно глупо, но я не очень затруднялся, когда приходилось выпутываться из неловких положений. К тому же я зашел сюда раньше и считал себя некоторым образом хозяином этого места.

Я поднялся, раздвинул кусты и вышел из чащи.

Дама вскрикнула и, вырвавшись из объятий своего спутника, тотчас же опять прильнула к нему. Он обернулся ко мне гневный, почти свирепый. Я спокойно распутывал ремень от ружья, зацепившийся за сухую ветку. Это было очень кстати, чтобы дать пройти первой, самой неловкой минуте. Когда я кончил и повернулся к ним, он смотрел все так же свирепо, но дама уже оправилась и с каким-то детски лукавым любопытством посматривала то на меня, то на своего сердитого спутника.

— Извините,— сказал я, невольно улыбаясь при взгляде на ее почти детское личико,— я, право, заснул здесь гораздо раньше вашего прихода, и не я виною, если вы разбудили меня...

— Милостивый государь! — вспыхнул Голубь.

— Тише, тише, Серега,— вмешалась дама.— Ты с твоей горячностью бываешь иногда совершенный дурак. Подумай: ведь он пришел сюда раньше, и мы разбудили его... Имеем ли право прогонять его? Скажи: имеем? Да и вы тоже, слышите — в вашем удалении никто не нуждается,— сказала она сердито.— Ступайте, ложитесь себе под ваше дерево и спите!..

Я удивленно взглянул на нее и чуть не расхохотался при виде супруга, который вдруг потерял свой свирепый

вид и только чинно, солидно смотрел на меня, точно ожидая, что я вот-вот сейчас сниму сумку и ружье и, повинуясь ее приказу, смиренно полезу в кусты.

— Благодарю вас,— сказал я,— я выспался.

— Да?..— проговорила она в раздумьи.— В самом деле, чего это я, ведь это глупо!

Вдруг она взглянула на разочарованную мину супруга и опять залилась своим звонким серебристым хохотом.

— Посмотрите, посмотрите на него, ведь он подумал, что вы послушаетесь, ей-богу, думал, что вы послушаетесь... И ведь он бы послушался непременно, не правда ли?..

Последнюю фразу она произнесла уже как-то гневно, и в голосе ее дрогнула нотка раздражения, слегка смягчаемого, впрочем, тоном сомнения и полувопроса.

«Ну, Голубок, держись,— подумал я при этом.— Сумеешь ли ты, полно, любить ее? Кажется, умения, обнаруженного сегодня, тут недостаточно. Потребуются, пожалуй, и другие ресурсы».

— Ну, так как вы уже выспались, то дайте руку, да дайте же руку!.. Мы пойдем вместе, и Серега во всю дорогу не скажет вам ни одной грубости. Постойте, да, может, вам не по пути?

Мне было по пути. Я взял ее под руку, и мы стали выбираться из чащи.

VII

Некоторое время мы шли молча. Я помогал ей перебираться через валежник или чрез ручейки. Серега бережно раздвигал перед нами ветви, кидая на меня при этом мрачные взгляды. Наконец мы выбрались из чащи и пошли по широкой просеке. Тут она вдруг кинула мою руку, отстранилась и внимательно оглядела меня с ног до головы.

— Постойте,— сказала она,— да это вы живете с Якубом на хуторе у Рожанских?

— Да, это я.

Она опять взяла меня под руку, и мы пошли дальше. Супруг, видимо, стал еще мрачнее.

— У вас есть микроскоп?.. Вы собираете коллекции?.. Вы занимаетесь ботаникой? — закидала она меня вопросами.

Я отвечал утвердительно.

— Вы занимаетесь естественными науками?.. Вы, верно, студент?..

— Да...

— Может быть, медик?..— живо спросила она.

— Нет, не медик, но я действительно занимаюсь естественными науками,— я на естественном факультете.

Она взглянула на меня как-то робко и точно присмирела.

— Послушайте,—начала она после некоторого молчания,— у меня есть к вам просьба... Вы ее исполните?

— Думаю, что исполню.

— Вы очень добры... Видите ли, мне, право, совестно, да ведь вам, может, нетрудно... Мне нужно выучиться ботанике, и вообще — естественной истории и...

— Нужно? — скептически мрачно проворчал супруг.— Ужасно нужно!..

От этого слова по ней вдруг пробежала точно электрическая искра. Она вздрогнула и обернулась к нему с выражением какого-то испуга, даже отчаяния на лице.

— Ты опять, Серега? Ведь я говорила тебе, говорила! Неужели ты не понимаешь, боже мой, боже!

Серега смолк, а она тяжело облокотилась мне на руку. Опять сотню шагов мы прошли молча.

— Послушайте,— заговорила она еще смиреннее, и в голосе ее звучали ноты какой-то мольбы, так что мне стало совестно: что мог я сделать для нее такого, что стоило бы такой просьбы,— послушайте, вы, может, подумали, что это я так... что я забавляюсь. Нет, в самом деле, мне нужно, очень нужно, необходимо. Это очень серьезно, и я буду учиться...

Я изъявил полнейшую готовность. Конечно, я не могу обещать многого, так как я и сам только учусь, но кое в чем, без сомнения, принесу ей пользу.

— Да, вы согласны?..— весело сказала она и вся опять оживилась.— Как я вам благодарна, вы не поверите, как благодарна! Вы придете к нам?.. Когда же мы начнем?.. Завтра?.. Нет, завтра нельзя. Да, нельзя — мы уедем... Ах, боже, нельзя ранее как через две недели. Вы здесь будете долго? Месяц, два? Два месяца! Прекрасно! Времени еще много. Впрочем, я ничего еще не знаю.

— Слишком достаточно, чтобы возиться с больными бабами,— опять желчно вмешался супруг, и опять все

оживление ее исчезло, опять я почувствовал, как она вздрогнула, и на лице ее испуг виднелся еще глубже.

«Экая дубина!» — подумал я и, в свою очередь, посмотрел на супруга, кажется, очень недружелюбно. Наши взгляды встретились.

Мы вышли из опушки, и за речкой показался беленький домик, окруженный высокими тополями. Это была усадьба Голубков. Когда мы подошли к мостику, я стал прощаться.

— Через две недели? — спросила она меня как-то грустно.

— Да, через две недели, в понедельник,— ответил я ей твердо, сжимая ее руку и посмотрев ей в глаза.— Непременно.

Она опять оживилась и искренно ответила на мое пожатие. Я холодно поклонился супругу и пошел своею дорогой.

Дойдя до опушки, я обернулся. Голуби шли по аллее из тополей. Он вел ее под руку, наклонялся к ней и говорил ей что-то любовно и ласково, а она по временам подымала голову и точно всматривалась в лицо своего спутника. Я был далеко, но мне казалось — я вижу при этом выражение ее детски прекрасного личика.

VIII

Мне пришлось встретиться с Голубкой ранее назначенного срока. В пятницу, т. е. дня через три после первой встречи, я собрался в город, находившийся верстах в десяти от хутора,— за новыми журналами. Кроме этой цели, у меня была и другая: Якуб принес откуда-то небольшой клочок бумаги, на котором выписаны были кой-какие лекарства, и подал мне его, когда я уже садился в нанятую у крестьянина двуколку,— с просьбой закупить в городской аптеке поименованные в бумажке лекарства. В окрестностях явилась сильная лихорадка, и было несколько детей, больных оспой.

В городе я несколько запоздал, и, когда я выехал на пыльную дорогу за городской заставой, солнце уже садилось. С юга надвигалась темная туча, и по временам подымался свежий вечерний ветер, резкой струей разгонявший остатки духоты довольно жаркого дня. Я гнал свою лошаденку, чтобы доехать, по возможности, засветло и до начала грозы. Однако маленькая мужицкая

рабочая лошадь помахивала только обдерганным хвостом на мои удары и понукания, а двуколка по-прежнему тихо подвигалась по пыльной дороге. Туча надвигалась. Вечерело заметно.

Я потерял надежду избегнуть грозы и вытащил из сидения захваченный из дому про всякий случай плед. Завернувшись в него, я философски отдался на волю отлично знавшей дорогу к стойлу клячонки и даже не правил вожжами. Тихие, темневшие помалу поля, леса, застланные дымкою начавшегося невдалеке дождя, закат, надвигавшаяся туча и тихое, монотонное шуршание колес да постукивание копыт лошаденки — все это навевало на меня какую-то сонную мечтательность, и я не заметил, как моя двуколка очутилась в лесу, переехала мостик и поплелась далее по узкой лесной дорожке с нависшими мохнатыми ветвями. Становилось порядочно темно; дождь закапал крупными каплями, все чаще и чаще, наконец разразился ливнем. Я еще плотнее закутался в плед. Сырость и холод проникали под одежду.

Вдруг, на повороте лесной дороги, мне показалось, что кто-то зовет меня. Я оглянулся, но никого не заметил. Дождь шумел по листьям, по бокам дороги было совершенно темно. Однако я остановил своего буцефала и стал прислушиваться. Да, меня звали.

— Послушайте!.. Как ваше имя, ну, вы, студент!.. Подите сюда, сюда, направо... Здесь!..

Я оглянулся на голос и, вглядевшись пристальнее, увидел вправо от дороги, под большим деревом, на невысоком холмике какую-то белевшую фигуру. Мне показалось, что я узнал этот голос. Оставив лошадь на дороге, я перескочил через наполнившуюся водой придорожную канавку и подбежал к дереву. Это была Голубка.

— Боже мой! Что вы здесь делаете в такую погоду? Вдобавок вы одеты так легко.

Она вся промокла. На ней не было пальто, на голове была накинута легкая косыночка; она была без калош, и легкие ботинки тонули во влажной мшистой почве. Она озябла, и ее прекрасное лицо носило следы какого-то испуга.

— Ну, слава богу,— сказала она, засмеявшись,— попался хоть студент на выручку... Я думала, придется ночевать под этим противным деревом. Свезите меня домой.

Я снял с себя плед и накинул на нее. Затем, не

спрашивая позволения, я поднял ее на руки, перенес через канаву и усадил в двуколку.

— Что это значит? — спросил я ее опять.— Что вы делали в такую погоду, вечером... Впрочем, извините мне этот невольный вопрос — главное, доставить вас домой...

Я хлестнул лошаденку, и она зашлепала по лужам.

— Что же... Я вам скажу, пожалуй...— сказала она, кутаясь плотнее в мой плед.— Ах, как хорошо, тепло... Мокро только, я вся промокла... Как вы думаете, я заболею?..— спросила она вдруг как-то тревожно и грустно прибавила:— Да, мне кажется, я заболею... Смотрите, пожалуйста, не говорите ему ничего о нашей встрече... Лучше не знать ему...

— Как не знать? Ведь я думаю, он нас увидит.

— Ах, нет... Его нет дома, да, на всякий случай, мы приедем со стороны леса, к садовой калитке... Видите,— прибавила она живо,— я вовсе не думала, что гроза будет так сильна; при том же я права, я совершенно права, а он не прав... Как вы посмотрите на это: он не хотел пускать меня в деревню... тут есть больная, я к ней хожу часто, и он ничего не говорил ранее. А теперь там девочка заболела оспой... Так он боится... Боже мой!.. Да, он не боялся других болезней, а оспа безобразит... Понимаете?.. Что же это такое?..

Она была в ужасном волнении. Я плотнее закрыл ее пледом и погнал ленивую клячу.

— Имел ли он право запрещать мне, скажите, как вы думаете, ведь он не имел права?.. Да нет, я и сама знаю, что нет! И меня это возмущает... Ну вот, я и сказала, что пойду, а он спрятал пальто и калоши... Слышите? Что же это, насилие! Он и не подозревал, что это насилие, и поехал в город, как ни в чем не бывало; а я вот и пошла без пальто и без калош... Ведь я права, не правда ли?..

— Ну да, я права,— ответила она сама себе,— но мне жаль, очень жаль его... если я заболею... Слушайте, ведь вы понимаете, что ему не следует говорить ничего... Понимаете, да?..

— Да, я понимаю это,— сказал я ей,— но зачем непременно ожидать болезни. Будьте бодрее — все пройдет. Вон видны уже тополи вашего хутора. Приедете — сейчас ложитесь в постель, да закройтесь хорошенько. Надеюсь, в понедельник застану вас здоровой...

— В понедельник?.. Да, да! Вы не забыли... А мы ведь не уехали, может, послезавтра уедем, но все равно — к тому воскресенью воротимся...

Я остановил тележку у узкой садовой калитки, высадил Голубку и проводил ее до дверей ее дома. Заглянув в окно, она обернулась ко мне с довольной улыбкой и сказала: «Нет его, не приехал!» Затем она пожала мне руку, улыбнулась на прощанье и вошла в домик. Я тоже отправился домой.

IX

Природа шутит иногда очень скверные шутки.

Через несколько дней, в воскресенье, утром, выходя с ружьем из лесу, я увидел издали на дороге, пересекавшей чугунку, процессию. Поп в парчовой ризе, сверкавшей на солнце, шел, помахивая кадилом, густой бас дьякона раскатывался в жарком воздухе, ветер играл старыми хоругвями, кадильный дым синими струйками таял в солнечном свете, смешивая запах ладана с ароматом полевых цветов. Конец процессии терялся за пригорком, сквозь который прорезалась чугунка, а на вершине этого пригорка я увидел мрачную, неподвижную фигуру Якуба. Я подошел к нему, чтобы взглянуть сверху, кого хоронят. Когда я приблизился, старик повернулся ко мне. По лицу его катилась слеза.

— Кого хоронят? — спросил я тихо.

Он живо схватил мою руку и указал мне вниз. Прямо против меня, слегка покачиваясь на плечах носильщиков, усыпанный живыми цветами, подвигался белый гроб, и в нем, все залитое лучами яркого солнца — молодое прекрасное женское лицо...

— Голубка,— прошептал Якуб.

Я зашатался. В глазах у меня потемнело... Я хотел броситься, разогнать эту процессию, прогнать попа, разбить гроб.

Мужа за гробом не было.

— И муж-то пропал со вчерашнего дня — неизвестно, где находится,— донесся ко мне жалостный старушечий голос, сквозь жгучее чувство, сжавшее мне сердце, давившее мозг.

X

На леса и поля спустился вечер, и опять летняя ночь укутала землю; звезды блестят и мерцают, плещется речка, лес шумит и колышется, и бежит по полю ветер, волнуя высокие травы... А там, за низкой оградой, под тенью ив и березок, могилка...

В тот вечер мы с Якубом молча сидели у костра, и на душе у нас была, кажется, одна тяжелая дума. Я ничего не сознавал, ни одна определенная мысль не выделялась ясно из темного хаоса каких-то смутных обрывков мыслей, представлений. Эта молодая погибшая жизнь все во мне спутала, перемешала, сбила. Старик был также мрачен и молча смотрел на огонь.

Вдруг из этого хаоса, точно молния, прорезалась мысль: «А муж?» Я вздрогнул и вскочил на ноги. Якуб вскинул на меня глазами.

— Муж, где муж? — вскричал я, точно он мог мне ответить.

— Где? Ведь ты слышал — пропал...

— Надо искать, найти его, во что бы то ни стало!..

— Когда вспомнил,— сказал Якуб сумрачно,— где теперь найдешь его... Ищут,— добавил он,— да вряд ли найдут. Смотри вон...

Я оглянулся. Между деревьями замелькали огни. Несколько человек с фонарями приближались к нам.

— Здравствуйте,— сказали они, приблизившись и разглядев нас.

— Здравствуйте и вы,— лаконически ответил Якуб.

— Нет нашего барина, слыхали? — сказал один.

— Слыхали,— был ответ.

— Мы было увидели свет — обрадовались; не он ли, думаем... Да нет... Не знаем уж, где и искать...

— Где? — сказал Якуб мрачно.— Известно где: где барыня, там и барин...

— На могиле? Нет, были уж.

— На могиле?.. Зачем? В могиле не она,— серьезно сказал Якуб,— а ее тело...

— Так,— подтвердили пришедшие.

Они сняли шапки и перекрестились.

— Нет, видно, нечего искать,— сказал старший из них,— не найти... Такая, видно, уж им, горемычным, судьба вышла...

— Эх, жалко,— сказал голос помоложе.

— Жалко,— подтвердил Якуб...— Ничего не поделаешь...

— Видно, вправду нет его живого, да и пистолет пропал с ним вместе из комнаты.

— Пистолет? — спросил я, встрепенувшись.

— Да, револьвер.

— Нигде не слышно было выстрела — он жив!..

Мысль поразила всех, только Якуб пожал плечами.

— Вот речка,— мотнул он головой в ее сторону,— а в лесу деревьев много.

Все опять смолкли. Речка тихо плескалась невдалеке, под густым покровом ночи, а лес шумел таинственно и глухо...

— Прощайте,— сказал старший из искавших.

— Прощайте и вы.

— Нет, постойте,— сказал я.— Нельзя же так, неужели бросить? Может, он жив еще... Послушайте, пойдемте, поищем еще!..

— Поищем, может, жив,— сказал голос помоложе.

— Не верю я,— сказал Якуб.

— Не верю,— подтвердил старик-слуга.

— Жив, может...— сказал тот же молодой голос.

Я схватил говорившего за руку.

— Пойдемте, пойдем мы с вами.

— Пойдем.

Я наскоро накинул пальто, и мы двинулись. Якуб и старик молча смотрели на нас, но не сказали ни слова.

Перейдя мостик, кое-как перекинутый через речку, мы углубились в чащу. Высокие сосны таинственно шумели вершинами; кой-где сквозь листву прорезывались бледные лучи месяца, выхватывая из мрака куски стволов, мохнатые ветви, точно протянутые руки, качавшиеся над темной бездной. По временам ветер подымался сильнее, и тогда по всему лесу, по терявшимся во мраке вершинам, пробегал вздох — глубокий, протяжный вздох леса...

Свет фонарей освещал предметы на близком расстоянии довольно ясно. Мы смотрели под кусты, заглядывали в лощины, со страхом посматривали на ветви... Но никого не было видно в сумрачно-молчаливых чащах. Мне пришла в голову мысль.

— Послушайте,— сказал я своему спутнику.— Свет не много помогает нам, а между тем, завидев огонь, он может скрыться нарочно. Надо задуть фонари.

Малому, очевидно, было не по себе, но он согласился со мною. Мы погасили огни и остались во мраке...

Часа три уже искали мы, и все напрасно. Луна зашла, лес погрузился в беспросветную тьму. Было несколько жутко, но я напал на новую мысль.

— Послушайте,— обратился я опять к товарищу моих поисков.— Мы напрасно ходим вдвоем в одних и тех же местах. Что увидят двое, то легко разглядеть и одному... Разойдемся, мы тогда больше исходим.

Он колебался. Я взял его за руку.

— Послушайте, ведь он жив — неужели же мы не найдем его?

— Хорошо,— сказал он,— правда! Прощайте же...

Мы расстались.

Я пошел направо, он — налево.

Долго еще бродил я по лесу, со страхом прислушиваясь, не услышу ли где голоса, шагов. По временам мне казалось, что я слышу их. Порою до напряженного слуха доносились из таинственной чащи точно рыдания, стоны. Но я шел на эти звуки, и все опять было пусто и тихо, только по вершинам сосен шел все тот же таинственный шорох, да где-то в далекой деревне вскрикивал чуткий петух. Была полночь.

Солнце давно уже стояло на небе, когда я, усталый, без надежды, вернулся к нашей хатке. Якуб не спал уже, но, встретив меня, не сказал ни слова, только посмотрел на меня мягче, чем обыкновенно; на крыльце, под навесом, я увидел заботливо приготовленную постель из свежего сена, с чистым бельем и одеялом. Я бросился туда, не раздеваясь. Сквозь полудремоту слышал я, как Якуб крестил меня и заботливо укрывал одеялом...

Я погрузился в глубокий, тяжелый сон...

XI

Спал я, должно быть, долго.

Во сне мы часто бываем умнее, чем наяву. Подавленный впечатлениями мозг, теряясь среди мелких фактов, спутанный часто неверным чисто логическим выводом, во сне отдыхает, освобождается от этих давлений; его отправления очищаются, представление все более господствует над логическим мышлением, непосредственное ощущение — образ вырисовывается на тусклой поверхности взбаламученной мысли.

То же случилось теперь со мною. Я вскочил на ноги, как ошпаренный. Мне приснилась лужайка, где я встретил в первый раз Голубков, и на этой лужайке я видел во сне его вместе с нею.

Боже, как я не догадался ранее! Да, он там «с нею»! Он не шел за гробом, не мог быть на могиле. Он там! Это была их последняя прогулка.

— Якуб! — вскрикнул я.— Якуб!

Но Якуба не было. Его винтовка висела в комнате, на стене, значит, он ушел не на охоту. Я еще позвал его, но он не откликнулся.

А спал я, очевидно, очень долго. В котором часу я заснул — не знаю, но вот уже солнце опять садится за синеющие леса, и вечерняя прохлада ясно ощущается в воздухе.

Я наскоро умылся и, еще раз громко кликнув Якуба, который опять не явился, побежал в лес, по направлению к лужайке. Туда надо было пройти верст пять, и я торопился, чтобы добежать туда до ночи.

На юге сумерки падают быстро. Тьма точно льется сверху целыми массами, и кажется, видишь, как вдруг, на глазах, она приливает, сгущается...

Мне оставалось еще версты три, когда на вершинах деревьев потухали последние лучи заходившего солнца...

В лесу мрак совсем уже сгустился, когда я добежал до места, где кончалась лесная тропинка и где приходилось сворачивать в чащу орешника. Тут я остановился немного, чтобы перевести дух. Сердце у меня сильно билось, в висках стучало — давешний сон не особенно подкрепил меня, и я чувствовал еще сильную усталость после прошедшей ночи.

Я был уверен, что найду его там, но жив ли он? Я ясно представил себе, что должен он был перечувствовать на этом месте. Впрочем, выстрела не было...

Когда изнеможение несколько прошло и сердце перестало так порывисто биться, я опять рванулся в чащу; сухой валежник затрещал у меня под ногами, и этот резкий, сухой треск образумил меня. Я вспомнил, что надо действовать осторожно. Почему — я себе ясно не отдавал в этом отчета; я мог испугать его или... Во мне бродило какое-то неясное представление...

Как бы то ни было, я пошел тихо, осторожно раздвигая ветви и почти не производя шума.

Вот болотце, мимо которого мы шли с Голубкой —

я и он рядом, а она под руку со мною. Над болотом стояли сизые столбы пара, они выделялись из затененного места своими верхушками, и в них играл уже синеватый свет подымавшегося месяца. Ночь будет лунная, светлая...

Вот темная, полузаросшая тропинка между нависшими ветвями густого орешника, вот небольшая лужайка, а там, за нею, еще ряд кустов и другая лужайка, та самая...

У меня сжалось сердце. Еще две недели назад она была здесь, живая и веселая, а теперь я ищу его одного, быть может тоже мертвого...

Сумерки сгущались все более и более. Чащи чернели, мрачные и таинственные, и только на лужайках было светлее от луны.

Я остановился... Мне почудились какие-то звуки... Я стал прислушиваться, но сердце у меня билось так сильно, что вначале я не мог ничего разобрать. Но вот, вот... яснее и яснее сквозь журчание лесного источника и шепот деревьев доносятся какие-то звуки, чуждые голосу леса,— звуки, похожие на голос человека. Я тихонько наклонился к ручью и, зачерпнув ладонью воды, смочил горячий лоб. Сделав это, я опять прислушался.

Нет, я не ошибся. Да, это человеческий голос... Человеческие шаги по временам раздавались тоже... Походка была порывистая и неровная.

Я призвал все мое самообладание. Наклонившись к ручью и еще раз омочив голову, я выпрямился и почувствовал себя бодрее. Силою воли я успокоил расходившиеся нервы — я чувствовал, что мне нужны вся моя сила и самообладание... И они у меня явились.

Осторожно, едва раздвигая кусты, двинулся я сквозь последнюю преграду. Вот дерево, под которым я спал в памятный день. Я хотел здесь остановиться, но лунные лучи ударяли прямо сюда, и на полянку мне пришлось бы смотреть против света. Удобнее было поместиться на затененной стороне лужайки.

С прежними предосторожностями обогнул я опушку и подошел очень близко к старому пню, на котором стояла тогда Голубка. Я рассчитал, что он должен быть именно здесь, и не ошибся.

Да, он был тут. У подножья старого ствола я увидел темную склоненную фигуру... Он точно стоял на коленях, положив голову на руки, лежавшие на мохнатом пнище. Он, казалось, молился, плакал или спал...

XII

Итак, цель достигнута... Вот он, которого я искал так долго и так безуспешно; вот он — в нескольких шагах от меня. Что же дальше?

Он шевельнулся; одна рука его свесилась и вышла из тени. В этой бледной руке, освещенной лучами яркого месяца, что-то сверкнуло синеватым матовым блеском... Револьвер...

Положение усложнялось. Я облокотился о ближайший ореховый ствол и стал обдумывать, как вдруг, в стороне большого дерева, под которым я тогда спал, послышался шум. Какая-то большая птица взмахнула крыльями и шарахнулась вон из кустов. Я взглянул туда и тотчас же перевел глаза на него. Он стоял на поляне, оборотившись в ту сторону...

Его одежда была в беспорядке, волосы растрепаны; в правой руке, которая была судорожно сжата, он держал револьвер. Сознавал ли он, что было у него в этой руке?..

Я старался разглядеть выражение его лица, но оно было в тени... Вот он повернулся; яркие лучи месяца осветили его черты: они были бледны, выражение лица было совершенно то же, с каким он повернулся в тот день ко мне, когда я вышел из чащи.

Я ясно расслышал слова:

— Милостивый государь...

Тот же голос, то же сердитое выражение. Я понял, и дрожь пробежала у меня по телу. Он или в горячке, или помешан. Он, очевидно, находился под влиянием того эпизода — соответствующая обстановка внушила ему эти воспоминания. Только теперь в интонации голоса вражда слышалась глубже, непримиримее, точно вся горечь пережитых двух суток вылилась в этом чувстве.

Я сознавал, что если он заметит меня, мне грозит страшная опасность; но все мои чувства сосредоточились в наблюдении, и за себя мне не было страшно.

Он ждал... Все было тихо. Я слышал, как билось мое сердце...

— Никого,— послышался его голос, и он опять подошел к старому стволу.—Его нет, никого нет... Глушь... никто не услышит...

Странное, тоскливое чувство сжало мне сердце. Я увидел, как этот безумец, говоря что-то, вероятно

повторяя те же слова, крепко сжимал объятия, точно лаская в них... призрак.

Был ли он счастлив? Не знаю — голос его был глух и звучал как-то неестественно, дико, точно голос автомата...

Я заметил, что в руке у него ничего уже не было.

Осмотревшись внимательно, я увидел невдалеке от него в густой траве револьвер... Если мне удастся взять его незаметно, он будет спасен.

Трудно. Но вот он вздрогнул, оглянулся как-то испуганно, дико и через мгновение опять опустился, как прежде, свесив голову на руки. Я заметил, что левая рука его автоматически сжималась и разжималась, точно искала. Он инстинктивно чувствовал отсутствие чего-то, к чему привыкло его осязание.

Через несколько минут он стих совершенно, только рука все еще по временам шевелилась, сжимаясь и разжимаясь...

Я решился. Тихонько, без шума, вышел я из засады, подошел к нему, поднял револьвер и так же тихо возвратился на прежнее место. Затем я сунул револьвер в кусты. Он спасен...

В руках у него не было оружия, и теперь он был в моей власти. Правда, и теперь у меня не было определенного плана, но я мог выжидать. Я силен и могу помешать всякой попытке с его стороны, а там нас могут найти. Наконец, он ослабеет ранее меня.

Итак, оставалось лишь ждать. Я выбрал место поудобнее и присел под дерево, облокотившись на мшистом мягком стволе.

Таким образом потянулись часы, долгие, бесконечные. Я не сводил глаз с темной фигуры и, казалось, не спал ни на одну минуту. По крайней мере я не помню ни малейшего перерыва в моих наблюдениях. Тот же клочок синего неба с несколькими яркими звездочками, темные силуэты качавшихся веток, листья с золотыми от лунного света краями, тихий шепот деревьев и темная фигура у старого пнища... Вдруг я почувствовал неприятное ощущение, какое приходилось испытывать в детстве, просыпаясь под впечатлением невыученного урока. Впрочем, повторяю, я не сознавал пробуждения — я только напрягал свое зрение, вглядецся...

У старого пня никого уже не было.

XIII

Итак, я упустил его. Опять бродит один, в таинственной чаще, где он может встретиться только со смертью. И, быть может, он уже встретил ее. Он был тут, в руках у меня, и я проспал... проспал жизнь человека!..

Где теперь искать? Вокруг стояла опять та же чаща, в которой мы бродили вчера, без путеводной нити, без надежды... Опять тот же мрак и тот же грустно-таинственный шорох деревьев... Где он?..

Я стал прислушиваться. Вот они, голоса ночи и леса!.. На фоне общего шума великанов ближнего соснового бора выделяется журчание лесного ручья; вот свист крыльев поднявшихся с лесного озера птиц; вот осина, дрожа от предутреннего холода, шепчет что-то тревожно, и печально, и быстро, а высокий могучий дуб, поднявшийся над мелкими деревцами навстречу близкому рассвету, издает низкие важные звуки, точно посылая успокоение в темные, объятые ужасом чащи.

И затем — все тихо. Темно в лесу, холод прохватывает сумрачные дубравы, неясно обозначаются кой-где столбы болотных туманов...

А над лесом мигают, бледнея, звезды. Легкие тучки поднялись и заходили. Да, рассвет близко...

Вдруг издалека чуть слышно донесся протяжный оклик. То Якуб бродил по лесу и звал меня по имени.

Дальше, дальше. Чуткое ухо ловит звуки яснее, определеннее, далее. Я охватывал слухом все больший и больший район. Вот издалека несется лай собаки. Это за лесом, за речкой, в деревне. Крик петуха... Вот в другой стороне тяжелый, неопределенный шум... Утренний поезд.

Что это? В том же направлении, но ближе, еще звуки. Это шаги... раздвигаются ветви. Или это обман?.. Нет, вот хрустнула ветка под наступившей ногой, другая...

Это он!..

Издали опять донесся оклик Якуба, но я уже бежал в противоположную сторону.

XIV

Я пустился вдогонку. Ветви хлестали меня по лицу, валежник путался под ногами. В иных местах приходилось переходить через болотца и ручьи, но я не обращал

на это внимания. К тому же охотничьи сапоги меня выручали. По временам я останавливался, чтобы прислушаться. Шаги то стихали, то слышались яснее. Он был близок к выходу из леса, и тут полянки перемежались с густым кустарником. В том направлении была дорога, пролегавшая широкою просекой, но он шел прямо, ломая и раздвигая кусты.

Между тем в лесу совершенно стемнело. Луна, которая золотила незадолго верхушки деревьев, закатилась, и перед наступлением утра мрак еще раз закутал спящую землю...

Я бежал быстро. Он был довольно далеко, и к тому же теперь не приходилось принимать прежних предосторожностей. Вне этой поляны — я не думал, чтобы он мог ждать моего появления или даже слышать мои шаги. Здесь ничто не напоминало ему обо мне, и для него, вероятно, не существовало никого и ничего. Здесь он был один с подавляющим горем.

Конец леса. Шаги его давно уже стихли, и я сейчас, вероятно, увижу его в поле. Темно. Звезды мерцают, но не светят. На горизонте вырисовывается темный силуэт другого леса, и на нем выделяются, точно два глаза, два фонаря бегущего поезда. Тяжелый шум нарушает тишину отходящей ночи...

Вся природа спала глубоким предутренним сном. Не было слышно ни лая собаки, ни крика петуха. Над лощинами волновалась легкая дымка туманов, точно пологом одевшая землю. И только это двуглазое чудовище, не знавшее ни сна, ни утомления, мерно, безостановочно, ровно, громыхая по рельсам, неслось вперед и вперед...

Быть может, это результат событий той ночи, но я и до сих пор не могу избавиться от какого-то смутного, но очень сильного чувства, при виде ночного и особенно утреннего поезда. Этот ровный, бесстрастный бег, это движение среди сна всей природы и эти два угрожающие глаза наводят на меня чувство почти суеверного страха.

Но вот шум стал вдруг как-то ровнее и тише. Поезд вышел из просеки, где его грохот, отражаясь от стен густого леса, гулко разносился среди спокойного воздуха ночи. Теперь он почти бесшумно катится по рельсам, все вырастает темная громада. Длинная, темная лента, изгибаясь на поворотах, тянется за локомотивом.

Где же он? Вот вдали высокая фигура. Он идет прямо в направлении к железной дороге, которая в этом месте прорезывает холмик. На этом-то холмике стоял я с Якубом, когда хоронили Голубку. Несколько влево был мостик, по которому пролегала конная дорога. Через этот же мостик приходилось идти в усадьбу Голубей. Туда ли идет он?

Я остановился с целью выждать, куда он направится. Если он поворотит влево, к мостику через реку, значит, он идет к себе; тогда я перейду вброд неглубокую речку и пойду ему наперерез. Я разбужу его людей раньше, чем он будет дома. Тогда он спасен.

Вот он уже близко от холмика. Темная фигура двигалась ровно и быстро. Справа еще быстрее и так же ровно двигался поезд.

У меня вдруг мелькнула мысль, от которой я вздрогнул. Этот безумный человек и это бездушное чудовище так близко друг от друга.

Но нет, поезд шел быстрее человека. Вот он уже у мостика, вот он врезался в холмик. Черная полоса все короче и короче, все исчезает, а чудовищная голова пялит огненные глаза уже с другой стороны холма. Человек только еще у подножия.

Он стоял на гребне возвышения, и его темный силуэт рисовался на синеве ночного неба, а поезд мчался далее.

Я помню, что он повернулся к поезду и, точно инстинктивно, двинулся несколько шагов вслед за ним. Но поезд по-прежнему неудержимо мчался по рельсам. Только теперь он глядел уже одним глазом... Другой глаз чудовища был точно прищурен...

Человек остановился. В это мгновение на близком возвышенном горизонте, с востока, на втором пути, быстро и неожиданно, без шума, без свистка, даже без пара в трубе локомотива, вдруг вынырнул новый поезд. Чудовище, казалось, остановилось на секунду на возвышении и оглянуло оттуда огненными глазами расстилавшуюся под ним широкую потемневшую равнину. И вот они движутся друг против друга, один все уменьшаясь, другой — вырастая. Вот они близко... Встреча... В ночном воздухе пронеслось громыхание, лязг цепей и свистки. Звуки отражались от стенок, и эхо отчетливо, ясно и грозно кинуло их в безмолвную тишь притаившейся ночи. Несколько мгновений, и шум опять стал ровнее и тише. Казалось, это был короткий разговор двух чудовищ на их своеобразном железном наречии.

Теперь один исчезает, и пылающий глаз его тускнеет и меркнет... Вот он сверкнул на горизонте и скрылся... Другой вырастает, и оба глаза его разгораются ярче...

Я понял, да, именно *понял* это безмолвное *трио* и тотчас же взглянул на вершину холма.

Человека там не было.

Я кинулся со всех ног по направлению к железной дороге. Поезд с бешеной быстротой мчался по рельсам, но я был ближе. Я не чувствовал усталости, даже усилия. Казалось, земля сама кидалась под ноги, а в ушах между тем раздавался, заполняя воздух, покрывая все остальные ощущения, резкий свист набегавшего локомотива.

Вот я на возвышении. Слева, невдалеке, набегал поезд. На полотне дороги, лицом к поезду, стоял человек. Человек и поезд глядели друг на друга. Оглушающий свист все шире и шире разливался необъятными волнами среди притаившей дыхание ночи. Для меня все окружающее исчезло. Ночь замерла. Звезды померкли и потонули... Были только неудержимо мчавшаяся громада, человек на рельсах и я...

Нет, так нельзя. Необходимо раздвинуть эту тесную рамку, сжавшую мозг, надо думать... и вот, страшным усилием воли, мне удалось освободиться из этих тисков.

Теперь я опять вижу, сознаю, могу взвешивать, думать. *Он* стоял шагах в десяти от меня; поезд был саженях в тридцати, и это расстояние исчезало неимоверно быстро. Свет фонаря ложился красной полоской вдоль полотна дороги; он становился все ярче, и тень человека выступала все определеннее, резче. Сквозь раскаты свистка проступал все слышнее тяжелый грохот и гул. Машина точно торопилась; ее клокотание слышалось ближе и ближе, рычаги стучали все быстрее и чаще. Земля начала вздрагивать толчками глубже и глубже.

В две-три секунды я был внизу. Быстро обежав кучи наложенного вдоль дороги щебня, я взбежал на полотно дороги и бросился вперед, к *нему*, а сзади за мною гналась машина...

В то мгновение, как я прикоснулся к нему, по мне точно пробежала электрическая искра. Поезд сзади набегал все так же неудержимо быстро... Спереди на меня был устремлен в упор недоумевающий взгляд автомата-безумца... Удивление, точно мгновенное сознание, испуг и затем проблеск сознательной глубокой вражды...

— А, это вы!..

— Скорее, скорее!..

Земля колыхалась и вздрагивала под ногами испуганно, точно страдала. Беспокойное рокотание рельсов слилось в один отчаянный гул... Пар вырывался из железной груди локомотива гневными и точно стонущими металлическими ударами. Казалось, он уже тут, надо мною... Пора.

Я схватил его за плечи, сжал их так, что у него хрястнули кости, затем повернул его вправо, отдавил назад и тотчас сам соскочил за ним и стал вне рельсов...

В то же мгновение сильная холодная струя разбитого быстрым ударом воздуха опахнула меня всего... Свисток, слышавшийся ранее сзади, потом справа, раздался вдруг слева и смолк... Мгновение тишины, грозное клокотание пара, гром рычагов, удары поршня, тяжелый грохот. Локомотив промчался мимо... Теперь за моей спиной бежали вагоны...

Мягкие белые клубы пара, смешанного с дымом, опустились на меня угарной влажной пеленой... Я слабел... Я забывал опасность, борьбу, машину и безумца, и если все так крепко сжимал его плечи, то это было скорее по инерции. Мне казалось, я тону, опускаюсь куда-то, окутанный мягкими белыми волнами пара...

Но вот сквозь эту белую пелену прорезалась сверкающая искра, другая... Она прорвалась, расступилась. Опять тот же ужасающий грохот, громыхание, удары... Вдобавок *он* напрягался у меня в руках. В его глазах, смотревших в мои, я читал какое-то назревавшее решение. Я приготовился.

Он кинулся безумно вперед. Я встретил этот порыв и отдавил его назад, на прежнее место. Однако это было очень трудно. Мое положение было неустойчиво. Я не мог отодвинуть ногу назад из опасения попасть под колеса.

Нога у меня скользнула вдоль шпалы... кожаный сапог звякнул по железу болта, далее... опора — сучок... треск. Нога продолжает скользить...

О, неужели!.. Нет, еще три-четыре секунды, и поезд промчится. Я замер в ожидании, нога скользила, казалось, в какую-то пропасть, и оттуда, все вырастая, подымалась волна клокотавшей и быстро мчавшейся смерти...

Вдруг неприятное, острое ощущение прорезало все мои фибры. Это был звук... звук заводимого тормоза.

Жизнь и смерть зависели от секунды, а поезд замедлял ход.

Итак... Торжественное, грозное мгновение — да, это было, конечно, мгновение, но оно выделилось для меня часом, неделей — неопределенностью.

Я взглянул вверх, на небо. Оно было темно. Прямо надо мной плыло облако. Синева, точно прорываясь оттуда, лилась вниз и, не достигая земли, редела — на горизонте играл отсвет востока.

Смерть... Неужели смерть среди пробуждающейся природы!..

Еще треск, еще раз лязгнуло железо. Я окончательно потерял равновесие. В первую секунду я как-то судорожно схватился за него, но вслед за тем, под влиянием мелькнувшего сознания: один, пусть лучше один! — я толкнул его от себя...

Яркое сияние дня исчезло, замолкла песня. Глубокая тоска охватила меня, сжала сердце. Если бы было время, я бы заплакал.

Холодный удар острой струи разбитого воздуха опахнул меня, пронизал насквозь.

Затем я грохнулся на рельсы вслед за последним вагоном...

Это было странное состояние полусознания. Туча попрежнему стояла в зените. Рельсы подо мною рокотали все тише... тут же, подле меня, на земле бился кто-то, слышались чьи-то рыдания. Я посмотрел влево. Прищуренный огненный глаз пылал красным пламенем, поезд, хотя замедливший ход, все еще мчался вперед. Вагон уменьшался и таял в предутренней мгле. Казалось, чудовище рвалось ко мне, но какая-то роковая сила увлекала его все дальше и дальше.

Вдруг надо мной, точно из-под земли, выросла и наклонилась громадная фигура Якуба. Я подался к нему, но острая, режущая боль в левой руке заглушила во мне все ощущения.

Точно в тумане, мелькнуло испуганное лицо старика. Рельсы пели свою стихавшую, убаюкивающую песню. Фонарь мерцал потухавшею красноватою искоркой. Затем все подернулось какой-то дымкой, в глазах потемнело...

Я лишился чувств...

XV

. . . .
. . . .
. . . . Поезд мчится на всех парах. Лязгают цепи, свист, все тот же режущий, безумный и бешеный свист звенящими раскатами хлещет воздух. Грузный, тяжелый, быстрый и страшный локомотив гудит, и искры сыплются от него в обе стороны и тонут во мраке окружающей ночи. А там, впереди опять *он*... что-то темное виднеется на пути. Человек. Опять?..

...Кто-то рвется вперед. Бледные слабые руки протягиваются туда; бледное, искаженное ужасом личико. Голубка страдающая, чувствующая, живая.

«Брось!» — раздается вдруг чей-то голос. А, это он! Вот он, здоровый и бодрый, тут, рядом с нею... он держит ее, обнимает. О, дубина! нашел время для поцелуев! Как он ее мучит. Да ведь он не понимает.

Я чувствую, что на мою руку налег кто-то тяжело. Я чувствую, как неровно, тревожно, страдающе бьется около чье-то бедное сердце.

«Не понимает! Господи! Не понимает!.. Неужели, о, неужели не понимает?..»

И чьи-то глубоко грустные глаза смотрят в мои со страхом и с тенью улетающей надежды.

«Что же это?..»

Что это? Что же сказать ей?.. Сама, да, сама пусть поймет. Удар... да, удар тяжелый. Впрочем... да ведь она умерла. Судьба... слепая... Однако ведь она умеет иногда решать мудреные задачи. Но все-таки... глупо. Ведь вот он тут, здоровый и бодрый, а она...

...Гул растет, разливается. А?.. Что такое?.. Да, ведь он там, все там, а я теряю время!..

И опять стонущий голос и рвущаяся вперед, точно в отчаянии, фигурка.

«Брось,— строго говорит он ей,— брось! Это не наше дело. Вот видишь — он пойдет». И надменная улыбка освещает его довольное лицо, и сквозь равнодушие просвечивает на нем вражда, глубокая, сильная.

«Посмотри, он пойдет, ему терять нечего... ведь он отказался. А мы!.. Смотри, как хорошо. Тень и прохлада и жизнь и любовь, вдвоем, только вдвоем. Нет никого, никого и не надо».

И он опять обнимает ее, и над ними склоняются и шепчут ветви орешника... И я опять чувствую на руке

милую тяжесть, и опять вижу это лицо, искаженное ужасом сознания. Да!.. Ведь она умерла.

...А я пойду, да, я пойду. И опять будет то же — и грохот, и свист, и шипение, и тормоз. Ах, зачем этот тормоз?

...Да, и острая боль, и бессилие, и этот фонарь, мелькающий искрой во мраке, застилающем глаза, когда вся природа одевается светом... И беспамятство, смерть.

Острая, жгучая боль, значит... правда?.. Все правда. Там, за этим пределом — день и сияние. Струится речка, лес колышется так же, и те же слышатся песни... Дальше, тише, бледнее... Значит, этот туман, эта тьма только на моих глазах, только в мозгу или в сердце?.. О, как больно, как страшно больно!..

. . . .

...Глубокий вздох, который я сознавал, которым я наслаждался,— вздох облегчения вылетел из груди... Что это со мною?.. Где я?.. Открою глаза и увижу... Нет, глаза тяжело сомкнуты, их не раскрыть... Да разве надо их раскрывать? Нет... не надо... зачем?..

Грудь дышит глубоко, с наслаждением... Голова, правда, пылает, точно залитая вся чьим-то жарким дыханием. Жар то спадает, то опять подымается и льется по всему телу, по всем жилам, по нервам. Какая-то истома тоже растет, охватывает меня всего до боли, порой до беспамятства... А навстречу, словно от руки, на которую опиралась Голубка, расходится такое же жгучее ощущение... Какие-то пробелы, перерывы в сознании...

Чу! Что это? Точно звон струны, колеблющийся, долгий, волнистые переливы... Или это песня?.. Да, кажется, песня, знакомый голос... Сердце бьется сильнее, голова пылает... Истома растет, напрягается. И как хорошо, но... как больно!.. Голова горит, точно в огне. И опять сознание улетает... все тихо...

А, это старик Якуб. Да, это он!.. «Не мудруй, говорю, не мудруй, тяжело!»

...Тихая, сладкая тень... Тяжесть спадает... В глазах светлее, точно в закрытые веки прорываются лучи яркого солнца... Они льются сверху, в эту лесную прогалину, сквозь которую виднеется синее, синее небо. Как будто шепчут листья, склоняясь надо мной к самому лицу, близко, близко к глазам... Что они шепчут?.. Какой

смысл этих речей, где в них чувство, где правда? Кто это дышит тут же, рядом, надо мною? Чья это рука?..

...Ветви сплетаются, спускаются ниже. Синий клочок неба уменьшается, исчезает, зелень сдвигается сплошною стеной... Вот она, синяя небесная ширь, разостлалась над зелеными верхушками леса. А вот конец убегающей тучи... Вот она летит, там, вверху, и край ее сейчас же исчезнет у меня из глаз... Но ведь она не пропадет?.. Нет, она понесется дальше... Вот большой город, вот деревушки виднеются с высоты этой тучи... Да, она не пропадет, она полетит далее, свободная, светлая... только я ее не увижу... Эта зелень, яркая, широкая, прохладная, все закроет.

А, чье-то дыхание опять!.. Горячая слеза жжет мне щеку... Чье-то сердце бьется опять тут же... Я слабею, зеленый полог сдвигается плотнее. Это тюрьма, прохладная, зеленая, славная...

Кто-то наклоняется ближе... чьи-то волосы, мягкие, легкие, душистые, касаются моего лба...

Это невеликодушно... я не могу бороться, меня удержит слабая женская рука... О, как тяжело, как больно бороться...

. . . .

Я сделал страшное усилие и поднялся. Резкая струя яркого света резнула меня по глазам... Я в комнате у Рожанских. В окна врываются лучи яркого утреннего солнца... Против меня, на стуле, в угрюмой задумчивости сидел Якуб, сложив руки на коленях и низко наклонив голову. Рядом со мной, у моего изголовья, сидела Соня. Я заметил ее испуганный, недоумевающий взгляд, ее лицо мелькнуло передо мной, и затем я вновь откинулся на подушку и вновь впал в бессознательное состояние.

XVI

Глаза у меня открыты. Я сижу на постели, опираясь на высоко поднятую подушку. Мне хорошо, спокойно.

На стене мелькают перед моими глазами, суживаясь, расширяясь, светлые кружки; это лучи заходящего солнца прорываются сквозь зелень листвы у окошка... В комнате тихо, мерно постукивает маятник, да оса бьется в стекло...

Давно ли я сижу таким образом, давно ли я слушаю это мерное постукивание и тревожное жужжание осы? Не знаю, но мне хорошо.

Чьи-то шаги... Ко мне входят в дверь, которая находится сзади меня. Кто-то ступает на цыпочках, точно боясь разбудить или потревожить меня. Мне лень обернуться. Чья-то жесткая рука опускается мне на лоб... А, это Якуб.

— Здравствуйте, Якуб.

Якуб заглядывает мне в лицо...

— Очнулся... ну, полежи смирно... будешь здоров...

Мне смешно — он говорит, точно с ребенком.

— Она здесь?..

— Ну, ну! Полно,— говорит Якуб и отворачивается,— не надо.

— Что не надо? Здесь она?

— Вы это про Варехинскую панночку? Так оставьте, после...

— Зачем же после?.. Странно! Ведь она здесь?..

— Тут, а я тебе вот что скажу: ты не смейся, рано еще смеяться-то тебе... болен ты, вот что... Ну, и сожмись, потерпи, будет когда и подумать... а то разлютуется она у тебя опять, горячка-то...

Мне досадно.

— Нет, вот что, Якуб... Я здоров, понимаешь, здоров я... Ну, встать я не могу — правда, а только здоров, хорошо мне. А вот знать надо: тут ли она?

Якуб посмотрел на меня пристально и потом, точно убедившись в чем-то, ответил:

— Тут... давно уже. Долго ты болен был, крепко, страх — крепко... Помрешь — думали... только это пустое. Я знал: не помрет, выдержит, а трудно было...

— Ну, а панночка,— добавил он, взглянув на меня серьезным, пристальным взглядом,— давно тут, на другой день приехала и все около тебя сидела, ходила...

Старик был необычайно разговорчив — я это заметил и удивился. Впрочем, я понял тотчас же его настроение — это он облегчался после долгого беспокойства и тревоги... Старый чудак, видно, меня таки любит...

— Значит...— сказал я и остановился...

— Было...— ответил Якуб серьезно...— Ишь ты какой...— добавил он,— надумчивый... крепко, видно, надумал.

— Слышала? — живо переспросил я опять.
— Было...
— Поняла?
— Гм... плакала... Руки заломит и сидит... Что это, спросит у меня, горячка?.. Эх, панночка, горячка-то горячка, а видно, на сердце-то глубоко дума запала...
— Что, много я говорил, ясно?..
— Кому ясно, а кому — бог знает... Вареха приезжал тоже... домой звал. Не поехала, осталась.
— А, осталась... Что это?..
— Что! — сказал Якуб, не глядя на меня...— Ждет...
— Значит, не поняла, а впрочем... может, не потому: думает — нужно...
— Может,— сказал Якуб, но в тоне его слышалось что-то скептическое.
Я задумался.
— Да, а что же тот... Голубев?..
На лице старика мелькнуло выражение какого-то неудовольствия, точно пренебрежения...
— Что с ним делается?..
— Как это вы так говорите — что с ним? Ведь он сумасшедший, чуть не убился.
— То было, да прошло. Как это он в первое-то время не убился, это точно, что странно... Ну, а теперь...
— Что теперь? Он ее очень любил!..
— Эх, себя любил, вот что!
Я с удивлением взглянул на него... На лице его выражалось сильное неудовольствие. Он смотрел в окно, и это выражение усилилось.
Под окном раздались шаги; две тени промелькнули в светлом четырехугольнике, на стене. Одна — мужская, высокая, сильная; из-за нее виднелась склоненная маленькая головка...
Сначала эта картина не произвела на меня никакого впечатления, но я взглянул на Якуба, и глаза наши встретились. Я понял, что выражал этот взгляд, и что-то точно кольнуло меня...
Что ж, пожалуй, и верно... Это в порядке вещей, и это мое ощущение — глупо... Впрочем, кажется, мне скорее неприятно за Голубку. Да, кажется, так...
В смежной комнате послышались шаги. Они вошли в нее через двери, выходившие на балкон, и, по-видимому, направлялись ко мне. Подойдя к дверям моей комнаты, они остановились.

— Вы туда, к своему больному?..

— Да,— послышался тихий ответ.

— Он поправляется очень тихо. Все еще без сознания?..

— Да.

— Болезнь мешает ему видеть... Иначе он бы поправился в два дня.

Легкий вздох послышался в ответ.

— До свидания,— сказал опять мужчина,— вы еще не уезжаете?..

— Н-не знаю... До свидания...

Легкий скрип двери. Я был очень заинтересован этим разговором. Я смотрел на лицо Якуба и на этом лице читал смысл слышанных слов. Несмотря на видимую несложность и обыденность, разговор этот казался мне многозначащим. Старик мрачно смотрел в землю...

Я не заметил, как вошла Соня, вернее, я и заметил, но моя мысль была занята предыдущим.

Когда она подошла к постели, я повернулся к ней и тут только сознал, что это, собственно, наша первая встреча. Я протянул ей руку.

— Здравствуйте, Софья Григорьевна...

Она застенчиво подняла на меня глаза, взглянула как-то вопросительно, робко и покраснела.

— Вы очнулись!..

Она еще раз вскинула на меня глаза и еще сильнее покраснела. Очевидно, этот момент, момент встречи — застиг ее врасплох. Она, вероятно, иначе представляла его себе. Я был спокоен; я знал, что тон, в котором пойдет разговор, будет решающим, знал — и каков будет этот тон. Я владел собою свободно и не видел причины для насилия над собою.

— Да, я очнулся. Я вам очень благодарен, Софья Григорьевна, за ваши заботы... Вам было много хлопот... Кажется, вам приходилось в первое время возиться с двумя...

Я говорил искренно, как хорошей и доброй знакомой.

Она опустила глаза. Минуту ее опущенное лицо, очевидно, горело. Может быть, на глазах были слезы, но глаз я не видел.

— Мне не было... тяжело...— начала она после минутного молчания,— кроме того, Сергей Григорьевич оправился быстро. Доктор сказал, что там... опасности нет... Все это... вышло потому, что за ним не доглядели.

Больше суток в лесу... бессонница... Ну и при этом сильное горе... произвело временное... Как это?.. Ну да, временное помрачение. Доктор говорит, что у него счастливая организация и что у таких натур... он употребил какое-то особенное слово... Да, психоз... ну вот, психоз у таких натур не страшен...

Она говорила это с некоторым напряжением — очевидно, это был для нее разговор о посторонних вещах, служащий только предлогом, который позволяет ходить вокруг да около главного, существенного, но щекотливого предмета.

— Как же он теперь?

— Грустит очень сильно, но... спокойно.

На минуту водворилось молчание.

Якуб поднял голову, взглянул на нас обоих — особенно пытливо остановились его глаза на мне — и затем вышел из комнаты. Мы остались вдвоем.

Я взглянул на нее. Ее головка была низко опущена; мне виднелись только ее роскошные русые волосы, собранные в косу и обернутые вокруг головы. Руками она перебирала оборку моей подушки.

— Завтра,— заговорила она тихим, тихим голосом,— за мной приедет папа... и мы с тетей уедем.

Она подняла голову и опять остановила на мне тот же робкий, спрашивающий взгляд. Я чувствовал к ней в эту минуту какую-то нежность, точно к ребенку...

Я взял ее маленькую ручку в свои руки и заставил ее таким образом прямо взглянуть мне в лицо. Я готовился нанести ей последний удар... и... в эту минуту мне хотелось, страстно хотелось видеть ее взгляд в самое мгновение удара. В уме мелькало кое-что, какое-то неопределенное представление о том, как она должна встретить его.

— Софья Григорьевна, я знаю, что я много болтал в бреду... Вам приходилось, быть может, тяжелее, чем мне... Правда? — сказал я, сжимая ее маленькую руку своими руками и не спуская глаз с ее лица...

— Нет, не то...

Я видел ее лицо, но глаза ее смотрели в сторону, она точно уклонялась...

— Да... я... не все поняла... Это был... только бред?..

Последняя фраза была полувопросом.

Для меня все было кончено. Что ж?.. Надежда была и без того слишком слаба...

— Да, бред, конечно, и я не знаю, насколько он был

бессвязен. Однако... Видите ли, Софья Григорьевна, я много думал ранее о вас... да, о вас и о себе... В бреду я, вероятно, продолжал эту же мысль...

— Боже мой...— сказала она, вынимая свою руку из моих. Я не удерживал.— Боже мой, но эта мысль... совсем... непонятна... Я поняла только, что вы...

Она замолчала.

— Что я... воздвигаю преграды, которых для вас не существует. Вы это хотели сказать, Софья Григорьевна?..

— Боже мой!..— В ее голосе звучали сдержанные слезы.— Да!

Я вздохнул. Разъяснять — напрасно. Что разъяснять?.. Слов было много и раньше, а чувства... чувства теперь стали разнородны. Мы когда-то без слов понимали друг друга; теперь мы друг друга не понимали. Это стало фактом...

Я задумался и ничего не ответил. Она сидела, и опять ее рука бессознательно перебирала оборку подушки. Я был сильно утомлен всей этой сценой. Мне казалось, я слышу какую-то грустную, все удалявшуюся, тихую песню.

Вдруг среди этой чуткой тишины мне послышался звук, короткий, тихий, едва уловимый... Я скорее сознал, чем услышал упавшую ей на руку слезу. Я встрепенулся и заговорил, но заговорил уже совершенно другим голосом.

— Полноте, Софья Григорьевна, не плачьте. Это необходимо. Хорошо, что мы вовремя заметили... ошибку... Ну да, это верно: это была бы ошибка, ужасная ошибка, в таком деле, вы ведь это знаете, ошибка — вопрос жизни и смерти. Что, разве вы не видите, что это так, что это действительно была бы ошибка? Разве вы не сознаете, что есть целая область чувств, в которой мы друг для друга — чужие?..

Она наконец не выдержала, и ее головка припала к подушке.

— Чужие!..— послышалось мне.

— Да, Софья Григорьевна, чужие, и нам надо взглянуть в глаза факту. Будьте же счастливы... по-своему...

— А вы? — послышалось мне глухо...

Это меня тронуло — она думала в эту минуту и обо мне.

— А я? Вы очень добры, Софья Григорьевна,— вы подумали и обо мне... Ну, а я,— добавил я шутливо,—

я большой эгоист, ведь это я для своего счастья и делаю... Ну полно, не плачьте же... Вы еще молоды, ведь вы еще очень молоды, и жизнь приберегла для вас много подарков...

«Пустое место, вот еще одно пустое место, которое можно заткнуть...» — мелькнула горькая мысль...

XVII

187 * год.

«...Наш деревенский человек, что был у тебя о весне, сказывал, что ты надумал. Что ж? Должно быть, надумано у тебя это крепко. Приезжай к нам, покажется — так и совсем оставайся, и с товарищем... Я теперь на своем хозяйстве, да стар, жены, детей нет, а жили мы с тобой душевно...»

Так кончалось письмо Якуба. Я задумался, однако думал недолго. Да, это, кажется, дело подходящее, и если мне раньше не приходило в голову, то лишь потому, что я не знал, как изменились с тех пор обстоятельства. Рожанских уже нет, Якуб «на своем хозяйстве». Посмотрим.

Станция ***ской железной дороги. У кассы давка. К платформе подходит пассажирский поезд. Мы с товарищем стоим у кассы, ожидаем очереди.

— Эй! Посторонись, любезный...

Мимо нас, грубо проталкиваясь, проходит высокий господин, под руку с красивой дамой, впереди бежит девочка лет восьми.

Молодое лицо моего спутника искажается гневом. Я беру его за руку. Господин прямо подходит к кассе. Жандарм, наблюдающий за очередью, почтительно сторонится. Публика ропщет.

Второй звонок. Мы выходим на платформу. Вагоны полны, народ стоит, теснота, давка.

Мы проходим к задним вагонам. А вот один, почти совершенно пустой.

— Вперед, вперед проходи! — покрикивает кондуктор, но мой спутник отстраняет его, и мы входим в вагон.

Господин, которого мы уже видели, выходит из вагона к кондуктору. Тот пожимает плечами и извиняется.

Свисток обер-кондуктора, звонкий гул машины. Тор-

моз скрипит, визжит железо рельсов, поезд трогается. Я открываю окно.

Итак, читатель опять встречает меня на ***ской железной дороге. Если я несколько изменился с тех пор, как мы встретились впервые, если в волосах у меня кой-где пробивается ранняя проседь, то виноваты в этом не столько пролетевшие годы, сколько некоторое отсутствие того, что принято называть «благополучием». Жизнь интеллигентного бродяги, «искателя», которому так уж на роду написано обретать слишком часто то, чего совсем не искал...

...А там длинная дорога... Снежные широкие равнины, дремучие спокойные леса, бедные деревни с разметанными непогодою крышами... Бедный городишко нашего севера, спящего тихим сном, сквозь который так и чуется близкое пробуждение к жизни. Каково будет это пробуждение? Ждать ли, желать ли его?..

. . . .

«И вот они опять, знакомые места!»

Поезд бежит быстро. Мимо мелькают и скрываются окрестности уездного города С***, давно знакомые окрестности! Вот они близко, места, где я встречал грудью первый набегавший на меня житейский вал, где я решал практически первый житейский вопрос!..

Вот они — те же поля, та же дорога, те же леса, то придвигающиеся к линии дороги, то опять убегающие далеко, на край горизонта... Только теперь над полями лежит осень. Только дорога постарела, осунулась, опустилась; шпалы сгнили, живые сваи мостиков давно уже заменил ржавый чугун... Только леса поредели, отодвинулись от дороги, оставив вместо себя печально торчащие пни да широкие кладки рубленых дров... Только помещичьи усадьбы еще более насупились, и стало в них еще больше выбитых окон, повалившихся заборов... Что же? Везде время берет свое, все стареет... Благо, что ничего я здесь не оставил, что нечего мне жалеть позади, благо, что я могу считать объективно морщины на лице этой природы, которая была юна вместе со мною!..

Я оглянулся на своего товарища. Он, по-видимому, начинал дремать. Я с удовольствием смотрел на это лицо, молодое, энергичное, умное.

Когда я вновь высунулся в окно вагона, начал накрапывать дождик; туманная пелена, которую осень

широко раскинула над молчаливыми полями, сгущалась; по временам из нее точно выплывали очертания деревушки, неясные силуэты лесов, но вскоре они опять тонули в мокрой, слякотной мгле. Капли становились чаще и чаще... и вот все исчезает — остается только ровная беспросветная мгла, и быстро летящая машина со стоном, лязганьем, свистом врезывается в нее все дальше и дальше...

Свисток протянулся, раздался сильнее и смолк. Спереди послышался такой же ответный свисток, и в тумане, на запасном пути, стал вырисовываться встречный поезд. По-видимому, он только тронулся со станции, к которой мы подъезжали. Он еще не разошелся, наш же замедлил ход. При встрече я разглядел товарный поезд, обращенный на этот раз в санитарный. Вагоны не были закрыты, и в них на соломе лежали раненые и больные, по нескольку человек в каждом...

Мы двигались все тише и тише. Санитарный поезд скрылся в тумане, сзади, а впереди все яснее вырисовывалась платформа. Она стояла среди поля, а мимо пролегала большая дорога; недалеко был уездный город.

На платформе виднелись какие-то фигуры. Тут же стояла тройка лошадей, запряженных в просторный тарантас. Порой коренная позвякивала бубенцами и порывалась вперед...

Поезд со стоном и скрипом остановился у платформы. С переднего вагона высаживалось помещичье семейство, с целою кучею вещей, с нянькой, с детьми. Пока из багажного вагона вынимали вещи, я успел разглядеть группу, которую заметил еще издали, на платформе.

Два солдата, один с перевязанной рукой и с костылем, другой с повязанной головой и, по-видимому, очень слабый, сидели под небольшим навесом, на скамейке. Раненый был очень угрюм; он смотрел вниз, протянув здоровую руку вдоль колена. Лица его товарища не было видно, так как он был закутан широким пледом, но вся его фигура как-то болезненно, уныло опустилась. Тут же, рядом, под дождем, стояла девушка, по-видимому студентка, «стриженая»; она всматривалась в туманную даль, точно поджидая кого-то. На ней был надет легкий бурнус; стриженые волосы промокли; через плечо была перекинута дорожная сумка. По-видимому, ее пледом был закутан больной.

В это время из соседнего вагона выскочил молодой

человек, тоже в пледе и дорожных высоких сапогах, и проворно взбежал на платформу.

— Зиновьева! — окликнул он студентку.

Та обернулась. Бледное исхудалое лицо носило следы какой-то грусти, даже тоски и раздражения. Казалось, это выражение давно уже не сходило с лица, стало привычным. В голосе ее, когда она заговорила, послышалась какая-то скорбная нота, и пробивалось тоже раздражение.

— А, Иванов! Вот счастье-то! Есть у вас деньги?

— Немного; впрочем, мне всех не надо. Куда вы это?

— В Питер. Да вот заодно больных дали провожать... Вот высадили, надо их в N.— телеграмму дали, да никто не встретил...

Студент вынул из кошелька деньги и передал ей.

— Будет?

— Будет, доеду как-нибудь... Свои истратила. Больна была тифом; теперь не знаю еще, как в академии с экзаменом... Ну да черт с ним...— сказала она со злобой.— Вот сдать больных — поверите, дальше и смотреть не хочется... А хороша тоже встреча!.. Ну а вы-то куда же?

Студент наклонился к ней и сказал что-то, чего я не расслышал.

— Да? — спросила она.— Куда же?

— Не знаю, хочу узнать, вот и еду. Слушайте,— добавил он с участием,— ведь вы очень нехороши; вы еще не совсем, видно, оправились.

— Да, нехороша? Будешь хороша — на всяком шагу гадости... Да вот, полюбуйтесь.

Она указала на больных, в голосе ее звучали слезы... Студент смотрел на нее с участием и сжимал ей руки. Мне хотелось, чтобы она припала к нему и заплакала,— было бы легче.

— Ну, спасибо за деньги,— сказала она, встрепенувшись,— выручили, не знала уж, как и доехать. Садитесь, однако, вам пора.

Молодой человек еще раз крепко сжал ее руки и тихо сказал что-то. Потом он направился к вагону.

Опять свисток, и машина опять тронулась. Между мною и платформой мгла все сгущалась, очертания ее тонули в тумане; фигуры под навесом исчезли, только одинокая фигура студентки виднелась у края платформы. Она все всматривалась в туманную даль. Наконец и она исчезла...

Поезд был далеко, когда на дороге, пролегающей параллельно чугунке, я увидел две крестьянские телеги. Мокрые лошаденки шлепали по грязи; на одной из телег сидел мужчина, вроде фельдшера, с лицом, плотно закрытым от непогоды.

Я отошел от окна и сел на свое место.

...Платформа осталась уже далеко, далеко позади. Поезд мчался на всех парах. Мой товарищ спал безмятежным сном, а я все сидел, и думы, одна за другой, страстные, жгучие, неслись в голове под тысячеголосый грохот машины.

И виделась мне все та же платформа, и на ней одинокая фигура студентки. Она все так же смотрела в туманную даль... Я ясно видел выражение ее лица, грустное, озлобленное, страдающее. Зачем?..— поднимались в голове вопрос за вопросом.

Случайно взгляд мой упал опять на лицо моего спутника. Здоровье, энергия, сила... ни тени раздвоенности, раздражения, сомнений... А там?..

И опять вставал, точно родной, оставленный сзади образ... И не один — целые вереницы так хорошо знакомых, таких дорогих, симпатичных мне лиц... И опять тот же вопрос: зачем это, зачем?..

И я проходил его, этот искус, но он уже сзади. Теперь цель намечена ясно, симпатии сознаны, путь виден далеко... Вперед!..

Да, вперед!.. Шаги будут тверды. Но там, сзади, я не все покидал равнодушно...

И неужели нельзя облегчить этот тяжелый искус, нельзя найти слова, магического слова, которое было бы ясно сразу для всех, кто жаждет слышать, без возможности сомнений, рефлексов!

Нет, нельзя... Эту работу не возьмешь за другого, эти моменты надо пережить, перечувствовать, перестрадать самому. И вот они — молодые, способные, честные, ищут и бьются...

И вот это страдающее, грустное, озлобленное лицо студентки, на распутьи всматривающейся в туманную даль... Чего она ждет?.. Она знает сама, что в лучшем случае ей дождаться лишь того самого фельдшера, который ехал в телеге, с лицом, закрытым от непогоды. Что же затем?..

XVIII

...Дверь вагона отворилась; в нее, вместе с струей сырого воздуха, ворвался шум грохотавшего поезда — вошел кондуктор и за ним господин довольно высокого роста, худощавый, с добродушным, но как будто умышленно и как-то привычно сдержанным лицом. На таком лице не узнаешь, когда его обладатель шутит, когда говорит серьезно. Он подошел к сидевшим в другом углу вагона пассажирам.

— А, вот и вы! Мне сказали, что вы едете с этим поездом. Э, да и она тут, моя ученица! — сказал он, заметив девочку.— Здравствуй, подрастающее поколение, здравствуй!

Девочка приветливо потянулась к нему. Она вышла из-за скамейки и серьезно протянула ему руку.

— Ты все смеешься надо мной,— сказала она солидно.— А ты вот что скажи мне: видел... там... на платформе?..

— Кого?

— Раненых.

— Видел, видел... Что ж, раненые — как есть, как быть надо, такие они всегда бывают. А что на дожде-то их заставили ждать, это тоже часто бывает; только уж это бы, пожалуй, и не надо...

Девочка слушала внимательно и, когда он кончил, сказала:

— А барышня, которая с ними... кто это... зачем?

— Вот это вопрос!.. Как вы находите, а? — обратился он к даме.— Как прикажете разрешить его? Впрочем, у меня, как у учителя, правило: не оставлять без ответа никаких вопросов. Итак, изволь, подрастающее поколение, изволь... Кто это? Студентка. Зачем?.. Кто ее знает? Люди такие бывают: своего счастья у них точно нет: все чужого горя ищут... Так ли объяснил я, мамаша?

— Непонятно,— сказала дама.

— И неверно! — резко и как-то раздраженно добавил мужчина.— Да, неверно-с!

— Гм, пожалуй, не совсем точно,— сказал учитель,— только вы-то в чем же видите эту неверность?

— В идеализации, да-с! Вы идеализируете, что у такого скептика и остроумца, как вы, даже странно. Не нашли счастья!.. Чужое горе!.. Эх, просто, с позволения сказать, свинство! Как не найти счастья? Оно в самом

себе, оно материал, способность... как это говорится?.. ну да,— жизнедеятельность, сила!.. А уж случаи быть счастливым, практику, так сказать, доставляет жизнь. Жизнь — великий врач: она залечивает всякое горе, она доставит все, что хотите, было бы чем заплатить ей. А вот когда платить нечем — ну тогда на себя приходится пенять: это неспособность, бессилие, а не ваша идеализация. Отказываются!.. Пустяки! А если и отказываются, значит, легко, значит, позыв не силен, потребности слабы, аппетит испорчен... «Мучные черви» — помните? Вот настоящее слово!

Я слушал с интересом. Я давно уже узнал говорившего... да, это он — Сергей Григорьевич Голубев, такой же рослый, здоровый, румяный, как и некогда; только вот говорит он что-то уж слишком горячо и плавно... Видно, что и он думал на эту тему, думал часто и со злобой.

А эта дама?.. Да, это тоже она. Что ж! Во мне не дрогнула ни одна жилка, сердце не забилось быстрее. Да, они — пара. Она, моя Соня, идет по житейской дороге под руку с этим щеголем и... так оно и надо. Они оба представляют олицетворение довольства, буржуазного, добродетельно-сытого... Она была одета со вкусом, но в меру. Бархат плотно охватывал стройные формы. Ее черты — спокойные черты красавицы матроны — носили отпечаток сознания правильно устроенной, исполненной добродетели, но и приятной жизни. Да, именно с таким выражением следует идти по дороге жизни, опираясь на руку Сергея Григорьевича Голубева!..

Учитель слушал внимательно. Выражение сдержанности, которое я заметил на его лице ранее, теперь виднелось особенно ясно.

— Было б чем заплатить? — повторил он.— Пожалуй... Но ведь иногда не хватает разменной монеты...

Потом, обратившись к девочке, он спросил:

— Ты была в Швейцарии?.. Кажется, ведь вы были этим летом за границей?

— Были.

— Видели там... река есть такая. Плывет это, плывет широко, красиво, ровно, да вдруг в одном месте куда-то девается, нет ее. Так, нет реки, да и только...

— Нет, я этого не видела.

— Ну все равно, ты уж мне поверь — есть такая река... под землю она уходит. Кажется: ее нет, а только она есть, и смотришь: после выходит она в другом месте, такая светлая, чистая, хорошая, лучше прежнего...

— Что ж из этого? — спросил Сергей Григорьевич с неудовольствием.

— А ничего — для вас... А вот она, когда станет понимать вас, может, и про реку вспомнит,— сказал учитель.— Да, вот вы — цельный, на диво цельный человек... Такие уж ныне редки, пожалуй, не менее редки, чем другие, тоже цельные, только... на том берегу. Но как вы ни цельны, как ни обставили вы свой путь, но все же... вот она, видите (он повернул к ним девочку, ласково гладя рукой ее головку) — ведь в вашей жизни она еще тоже скажет свое слово...

Дама со страхом взглянула на говорившего; на ее красивом лице ясно пробился испуг, точно отблеск далекой грозы. Сергей Григорьевич скептически улыбнулся. Для него, очевидно, не было сомнения.

И вот мне вспомнилось прошлое... «О, Серега, ты бываешь иногда удивительно глуп!..» — послышался голос Голубки. Что было бы теперь, если бы... если бы не роковая случайность?

Быть может, она стояла бы теперь там, на платформе, всматриваясь в серую, туманную даль?.. Или об ней шептал бы студент: «Куда — не знаю, вот и еду»... А каково было бы тогда выражение этого довольного, надменного лица?..

А что, если бы тогда, в ту ночь, когда я смотрел с кургана на колокольню города С***,— что было бы, если бы я тогда не отказался? На чью руку опиралась бы теперь эта красивая дама?..

Но... все пошло по-иному!.. Как хорошо, Сергей Григорьевич, что судьба убрала с вашего пути Голубку! Ведь она бы тоже отказалась...

. . . .

Протяжный долгий свисток возвещает приближение полустанции С***. Надо разбудить товарища. Прощайте же, случайные спутники, прощай, мое прошлое!

Поезд остановился; мы с товарищем вышли на платформу. Вечерело. Солнце садилось за лес, который теперь, как и тогда, кольцом охватывал далекий горизонт. Дождь перестал. А вот на сером небе — широкий просвет, яркая, свежая синева... Туман, прохваченный вечерним холодком, оседает... Очертания предметов становятся резче, определеннее... Поднимается вечерний ветер, который клочками выхватывает белый пар, пы-

шущий из трубы локомотива... В долине, в окнах деревни вспыхивают кое-где огоньки.

Мой спутник стоит рядом со мною. Он с любопытством осматривает местность...

Поезд начинает помаленьку трогаться дальше. Быстрее, быстрее... А вот по дороге крестьянская телега. Она приближается к нам ближе и ближе... А! Я узнаю старика.

— Вот и вы,— говорит Якуб, слезая. Мы крепко с ним обнимаемся.— А это товарищ твой? Здорово, здорово... Ну что же! В час добрый, где ваши вещи?

Мы уложили свой необильный багаж. Вечер свежий, прохладный, опускался все ниже; мой спутник возился с телегой, прилаживая наши пожитки. Мы с стариком стояли на платформе. Я смотрел на знакомые окрестности. Впереди огоньки загорались в синеве вечера один за другим. Издали, слева, со стороны дальнего леса доносился замиравший свисток машины... Казалось, это были последние отголоски прошедшего. Дымок ходил еще над чернеющей дальнею рощей... меньше, слабее... исчез.

Хорошее, трезвое чувство спокойствия, уверенности охватило меня всего. Впереди было ясно.

Товарищ, склоненный над телегой, поднял голову и улыбнулся. Ладно!

Мы уселись. Якуб взобрался последний.

— Ну, с богом, в час добрый. В дорогу, хлопче, в дорогу!..

1879

ЧУДНА́Я

Очерк из 80-х годов

I

— Скоро ли станция, ямщик?

— Не скоро еще, до метели вряд ли доехать — вишь, заку́ржавело как, сивера́ идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер — сивера — гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастию, вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

— Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

— Ничего нет-то у нас...

— А рыбы? Река тут у вас недалече.

— Была рыба, да выдра всю позо́бала.

— Ну картошки...

— И-й, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

— Нельзя вам ехать-то будет — ночуйте! — говорит старуха.

— Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите — тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже — верьте слову,— говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

— Не спится, видно, господин,— произносит тот же провожатый — «старшой», человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

— Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит — чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожа-

тый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

— Удивляюсь я вам,— слышится опять ровный грудной голос унтера,— народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать,— а как свою жизнь проводите...

— Как?

— Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому с измалетства-то привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вам? — произносит он тоном сомнения.

— А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

— Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает — просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю; только иной раз так подступит — нож острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжелая?

— Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

— Так отчего же?

— Кто знает?..

Опять молчание.

— Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро. Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем...»

— Останетесь?

— Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

— Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

— Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

— Расскажите...

II

— Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру,—сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю... Ты в командировках бывал ли?» — «Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие».— «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься — дело нехитрое».— «Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться».

А в командировках я точно что не бывал ни разу — вот с вашим братом, значит. Оно, хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе,— говорит унтер-офицеру,— подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами,— барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай — и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мной ехал, а я в подручных — вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счеты эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, от начальника вышли, гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, не подходящий — разжалован теперь... На глазах у начальства — как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом — выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали — ждем, стоим. Любопытно мне — какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали; а и вещей-то с ней узелок маленький — юбчонка там, ну, то, другое, сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее — смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я — бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну а все-таки... жалко, так жалко — просто ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали — правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» Рубль двадцать копеек денег оказалось — старшой к себе взял. «Вас, барышня, говорит ей, я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас — верите: оробел я и подступиться не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!..»

Как тут она крикнет — даже Иванов, и тот от нее попятился. Гляжу я на нее — лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь,— просит ее,— пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!» Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы, говорит, холопы!» И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые все. А Иванов — известно, море по колена — смотрит да все свое бормочет: «Не по закону; у меня, говорит, инструкция!..» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали — все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть

хочет. А Иванов взял да занавески опустил — окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу,— и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела — в уголку сердитая сидит, губы закусила... В кровь, так я себе думал, искусает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла — осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: «Барышня, говорю, закройте окно».— Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю:

«Простудитесь, барышня, холодно ведь».

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела на меня да и говорит: «Оставьте!» И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся,— после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

— Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно́ мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: «Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит...»

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом — неловко.

Посмотрела на него — ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь,— вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали — ветер сиверный,— я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. «Эх, говорю, барышня,— как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали,— осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!»

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало.

«Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще с жалостью суется!»

«Вы бы, говорю, начальству заявили — в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!»

«А куда?» — спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. «Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте».

Не утерпел я: «Вот, говорю, куда вам ехать. Неблизко!» — Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой... «Вот, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!»

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

«Напрасно, говорит, вы так думате. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!» — «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет.

«Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи».— Подивился я: как это она чужих людей своими называет — неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?.. Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала.

Хлебнет горя, узнает небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный,— а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло — просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастие, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян — храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль-город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее — экономию загнать можно,— да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляузу подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья — сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

«Слышали, говорит, что я сказала: не еду».

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись — мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго — уйдет она или над собой что сделает — в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» — спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним не ладно заговорила. Ей бы попросить смирненько: так и так, мол, сделайте божескую милость,— а она тут по-своему: «По какому праву»,— говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами

понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего — вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза — точно угли. «Закон!» — говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. «Так точно,— полковник ей,— закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» — спрашивает. «А вам, барышня, говорит, если больны вы,— в больницу тюремную не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь пережидать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйте, говорим, барышня,— лошади поданы». А она на диван прилегла — только согреваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами,— выпрямилась вся,— прямо на нас смотрит в упор, даже скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы»,— говорит, и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете,— что хотите делайте. Еду!» А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

«Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить!» Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли — штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег — рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

— Вы не спите? — спросил у меня Гаврилов.

— Нет, продолжайте, пожалуйста,— я слушаю.

— ...Много я от нее,— продолжал рассказчик, помолчав,— много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью все дождик, погода злая... Лесом поедешь — лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите, так она у меня перед глазами и стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то,— всё, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп,— вы и надевайте». Тулуп, точно, что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел ослушаться, тем более — хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» — не иначе как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу — лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь, говорит, не прикасайтесь!» А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, подня-



лась... Погода-то прошла, солнце выглянуло,— повеселела. ...Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось — тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам — гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа, студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?» — «Здесь»,— отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?» — «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

— Так вы ее больше и не видели?

— Видал, да лучше бы уж не видать было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про житье ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» Тут, говорят, только чудна́я она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал — у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у *своих* хочется». И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сем схожу...

Пошел — добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него,

комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я — она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала,— шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках — человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидала, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула — он испугался, к ней кинулся: «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, с постели встать хочет. «Прощайте,— говорит ему,— видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидал меня — как вскочит на ноги. Думал я — кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он — стою я и сам ни жив ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит.— А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?.. Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходительный. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней: «Ну вот видите, говорит, я же вам говорил». Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

«Извините, говорю, ежели напугал вас... Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете».

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

«Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет,— заходите, пожалуй». А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

«Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете?» А он ей: «Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!»

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко — как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загряжского на место, едем назад. Призывает исправник старшого и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду — хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы,— потому, собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит: «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» — «Нет, говорит, не звал я,— сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей:

«Что это, говорю, барышня,— за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?»

«Враг и есть, говорит,— а вы разве не знаете? Конечно, враг!» Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагляделся бы. Эх, думаю, не жилица она на свете — стал прощения просить: как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

— Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомнил. Слова-то запали и посейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

«Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю, как звать вас...»

«Степан»,— говорю.

«А по батюшке как?»

«Петровичем звали».

«Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?»

«Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает — не похвалит».

«Ну, вот видите»,— он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

«Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимонии разводить. Ихнее дело — смотри, наше дело — не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...»

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него вострые, а добрые: «Слышите? — мне говорит.— Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

«Погоди, говорит, Степан Петрович,— не уходи еще». А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте, и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!»

«Пусть,— она ему,— а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...»

Как она ему это слово сказала, он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

«Равнодушный? — он говорит.— Ну, вы сами знаете, что неправду сказали».

«Пожалуй,— она ему отвечает...— А вы мне — правду?..»

«А я, говорит, правду: настоящая вы боярыня Морозова...»

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да вы, пожалуй, и правы!» А я стою, как дурак,

смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю,— желаю вам когда-нибудь человеком стать — вполне, не по инструкции... Устала я»,— говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

«Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?»

«Не знаю, говорю, может и еще дня три, до почты».

«Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...»

«Извините, говорю, напугал...»

«То-то, говорит, уже вы лучше хозяйке сначала скажите».

«А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского ро̀ду?»

«Боярского, говорит, или не боярского, а уж поро́да такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть — сам, чай, видел: не гнутся этакие».

На том и попрощались.

V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал — у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему — гляжу: на нем лица нет...

Росту был он высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня засосало — просто пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось — не

конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится,— а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» — спрашиваю у девки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?»

«Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла».

Тут она, девка эта,— и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала,— как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел,— слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

...Вот какое дело!... А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался,— одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер — баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего!

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880

ЯШКА

Жестокие, сударь, нравы...
Островский

...Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов «загнали» в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери «одиночек». Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой, грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями: «За кражу», «За убийство», «За грабеж», «За бродяжничество», а в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянною заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных.

Мы повернули раз и другой. Над первой дверью третьего коридора я прочел надпись: «Умалишенный», над следующею — то же. Над третьей надписи не было, а над четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой каморки,— из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие, за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, взад и вперед за своею дверью, выкрикивая что-то похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, и из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила: «За убийство».

Это был коридор подследственного отделения, куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных, только справа от одной

из них отделялась лестницей, над которой висела доска: «Вход в малый верх».

Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону — третий умалишенный — не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле.

— Яшка-то молчит ноне,—тихо сказал старший надзиратель младшему.

— Не видит... Ну его! — ответил тот так же тихо.

Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногою в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. Старший — седой, низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей,— весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.

— Полно, Яшка, что задурил-то? — отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик, с длинными опущенными вниз усами, в большой папахе.— Чего не видал? Видишь, арестантов привели!

Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И, как бы убедившись, несмотря на наши «вольные» костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своею дверью. Слов мы не могли расслышать — одиночка уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь подследственного отделения вошла опять в свою обычную колею.

Пять шагов в длину, три с половиной в ширину — вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, и в него видна на расстоянии двух сажен серая тюремная стена. Углы камеры тонут в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурною каймой многолетней пыли, стены серы, и при внимательном взгляде видны на них особые пятна — следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами, борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения

особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь... Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь одиночки, которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось...

За стеной послышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, заморенная клячонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая «кеньгами» по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и так же вяло принялись за работу... Отвратительною вонью пахну́ло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру...

Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату.

— Од-на-ко! — сказал он протяжно.

— Д-да! — подтвердил я.

Больше говорить не хотелось, да и не было надобности — мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканные паутиной, крепко запертая дверь... В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь: неделю, две?.. Нехорошо, скверно! А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может, и годы...

А арестантики продолжали свою работу — это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда с своим неблаговонным ящиком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая,— все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон.

Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы притерпелись, но только тоскливое чувство, внушенное нашею беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острого стало переходить в тупое, хроническое... Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери.

Внешняя жизнь для нас была жизнь двора и коридора тюрьмы. В дверное оконце, когда его забывали закрыть наружною заслонкой, виднелись гуляющие

арестанты. Они толклись по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности.

В известные часы по двору проносилась команда: «Пошел за кипятком!», «Пошел за хлебом!», «Обедать пошел!», «По-шо-ол, расходись по камерам!» Выпускали на время подследственных из строгого одиночного заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору: цепи уже, несомненно, налагали это обязательство. Под вечер где-то на третьем дворе раздавался звонок: приближалась поверка. Ежедневно в семь часов смотритель или его помощник обходили с караульным офицером и конвоем солдат все камеры, считая заключенных.

Так проходил день в подследственном отделении.

«...Раз, два, три, четыре!..» — гулко раздавался по временам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной, подавленной жизни, его удары, резкие, бешено-отчетливые, непокорные, составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький старший съежился, заслышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорбной обители, казавшееся даже мне, постороннему, диссонансом, должно было особенно резать ухо начальства.

Не знаю, зачем, собственно, понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три... около шести стук усиливался; семь, восемь, девять... стоял сплошной гул, затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в правой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов, и затем в коридоре наступала напряженная тишь, или же угрюмое ворчание Якова смешивалось со скорбными выкрикиваниями еврея.

Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику надзирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным миросозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, никогда не возвышал голоса, не бранил арестантов, не стеснял их без нужды.

Он был надзиратель — это было его общественное положение, налагавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты — это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности, что значит: «Веди себя с толком, поступай благородно, то есть не попадай на замечание начальства». Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь подведомого ему отделения. Главное нравственное правило: «не попадай на замечание» — проникало во все детали этой жизни. Сам старик Михеич двигался и действовал не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видал, чтоб он препирался с арестантом из одиночки, когда тот просился «до ветру», как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит, у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, причем из-под его папахи, вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы длинных усов и ястребиного носа, тихо и благосклонно клевавшего в спокойной дремоте, в коридоре подследственных воцарялась непринужденность и даже некоторая развязность, конечно, в возможных для этого места пределах. Арестанты франтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника с очевидным знанием невозможности явиться в эдаком виде в другие часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в эдаком виде кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ротозействе не заключается ни толку, ни благородства. Даже умалишенные чувствовали импонирующее влияние Михеичевой философии. Когда рулады сумасшедшего еврея, одержимого какою-то музыкальной манией, достигали чрезмерной напряженности и экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея и, стукнув связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом:

— Эй, ты, свиное ухо! По какой причине раскричался?

Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо причины, и даже название «свиное ухо» казалось просто необидным собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тон и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу.

— Нарукавники желаешь? — спрашивал Михеич так же спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания.

— Покричи еще,— что ж, я и принесу нарукавники тебе... Это, брат, можно во всяко время...— соглашался Михеич, и рулады еврея спускались до обычного диапазона.

— Стекло-то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь вот, вчера вставили, а ты опять слопал, свиное ухо! — говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей действительно имел обыкновение разбивать и грызть зубами.

Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина его скоро прилипала к натертому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов.

Другой умалишенный, остяк Тимошка, помещавшийся в первой камере у входа в коридор подследственных, пользовался некоторым благорасположением Михеича. Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки:

— Тимошка тут, Тимофей, остяк... Набожный... Всякую молитву знает. Поди, и теперь молится...

Я заглянул в оконце. Длинная узкая камера была еще мрачнее нашей, так как угловая стена примыкавшего здания закрывала в нее доступ свету. Вначале я не мог никого разглядеть среди этих темных стен, но вскоре увидел в углу, под самым окном, какую-то коленопреклоненную фигуру. Тимошка мерно покачивался, стоя на коленях перед какими-то болванчиками, неопределенно черневшими в углу. На окне лежало что-то вроде шапки. Мебели, как и в других одиночках, не было, только

рядом с болванчиками стояла парашка. Остяк молился ровным, своеобразно диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно остяцком языке, а иногда, нисколько не изменяя молитвенной интонации, произносил скверные ругательства, как будто и они составляли часть его культа.

— Трех человек задушил руками,— отрекомендовал мне его Михеич.— Из себя невидный, а сила в ём ба-а-аль-шая!

— А что это в углу у него расставлено? — спросил я.

— Идолы это... бога́... Ка-ак же! Сам делает. Сколько раз отымали, сейчас опять смастерит.

— Чем же?

— На выдумки ловок, беда! Нож из жести оконной у него, об камень выточен. А шапку видели... на окне у него лежит? Тоже сам сшил. Окно-то у него разбито, черт ему кошку шальную и занеси. Он ее сцапал, содрал шкуру зубами — вот и шапка! Иголка тоже у него имеется, нитки из тюфяка дергает... Ну, зато набожен: молитвы получше иного попа знает. Бога́ у него свои, а молитвы наши... Молится, да!.. И послушен тоже... Тимошка, спой песенку!

Тимошка прервал молитву, взял в руку палку и повернулся к Михеичу.

— С барабаном? — спросил он.

В его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден.

— Неуж без барабана, чудак! — ответил Михеич.

Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне, с довольно быстрым темпом, слышалось что-то своеобразное, заунывно дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но он не давался нашей памяти.

— Без конца у него песня эта,— заметил Михеич.— Теперь все будет петь, пока не скажу: довольно! Раз этак я забыл остановить его — он и поет себе. Проверка пришла, смотритель и спрашивает: «Ты что делаешь?» — «Песню, говорит, Михеич приказал петь». Право, послушный он!.. А тре-ёх человек задавил руками. Ноги ему в сумасшедшем доме отшибли — ходить не может. Зачинает мало-мало подыматься, да плохо. Видно, отстукали ловко!

— Неужто в больнице у вас ноги отшибают? Ведь это...

— Да уж это не так, чтобы превосходно, что и говорить. Опять же и зря: послушный он, остяк-то. Ему толком скажи — он слушает. Только там это у них живо, в сумасшедшем-то доме: чуть что, пожалуй, недолго им, и совсем устукают. Этому стукальщику скоро вот то же будет,— как-то недружелюбно мотнул Михеич головой в сторону Яшкиной двери.

В его голосе исчезли мягкие, благосклонные ноты, с какими он обращался к послушному Тимошке, давившему людей руками и сдиравшему шкуру с живых кошек. Очевидно, в глазах Михеича Яшка был хуже остяка.

Вообще, этот странный субъект находился на каком-то особом, исключительном положении, и он интересовал меня все более и более. В его стуке я наконец начал различать некоторую систему. Так, однажды, когда он вдруг загремел очень сильно, я увидел, что Михеич стал беспокойно озираться, как будто ожидая чьего-нибудь появления. Потом старик деловито обратился к Якову:

— Что ты? Зачем? Никого ведь нету.

Яшка тотчас же смолк. Очевидно, он не просто стучал в пространство, а адресовал эти гремящие звуки чьему-нибудь слуху. Вскоре я убедился, что стуком этим он салютовал всякому начальству, начиная со старшего надзирателя. Чем выше было начальство, тем, вообще говоря, громче были салюты. Ночью они раздавались значительно тише, точно Яшка стучал спросонок. Проснется он, так думалось мне, стукнет раза три-четыре и опять, исполнив эту обязанность, уляжется спать. Однажды только среди ночной тишины удары Яшки раздались точно гром канонады: на следующее утро оказалось, что ночью «на малом верху кержаки произвели не малую драку»,— стало быть, являлось высшее тюремное начальство.

Удары эти доставались Яшке недешево. «Ноги вовсе у него попухли,— говорил мне Михеич,— а все ведь неймется».

На третий день нашего заключения мы потребовали у начальства, чтобы нас отпускали гулять, и нас приказано было отпускать после поверки, когда остальные заключенные запираются в камеры на ночь. Это-то время я решил употребить для приобретения ближайшего знакомства с Яшкой...

II

Звонок. «Становись на поверку!»

В подследственном отделении все стихло. Где-то далеко, в третьем или четвертом коридоре, лязгнула дверь, послышались раскаты, точно рокот далекого наводнения. Поверка толпой ввалилась в наше отделение. Яшка принялся за свое дело.

Когда поверка обошла наши камеры и поднялась на «малый верх», Михеич отворил нашу дверь. Коридорный арестант подследственного отделения, Меркурий, исполняющий обязанности парашечника, убирающий камеры и бегающий на посылках у привилегированных арестантов, явился в нашу камеру с самоваром. Пока поверка не ушла совсем, Михеич просил нас для порядку не выходить в коридор.

Вот поверка сходит по лестнице. Наша дверь не затворена, и нам ясно слышны не только удары Яшки, но и его возгласы:

— Беззаконники! — кричал Яшка, когда поверка проходила мимо его двери.—Пошто держите́, пошто морите́ меня? Сказывайте, слуги антихристовы!

Я вспомнил надпись над Яшкиной дверью. Неужто, мелькнуло у меня в уме, это недоразумение? Неужто этот человек, запертый, наглухо заколоченный в эту ужасную дыру, в этот гроб, вовсе не умалишенный и способен сознавать весь ужас своего положения?..

— За что это Яшку держат в одиночке, да еще так строго? — спросил я Меркурия.

— Человека убил, каторжник беглый,— вмешался Михеич тоном убежденного человека.

— Не-ет,— протянул Меркурий,— что ты, Михеич! Что по-пустому говорить! Неизвестно это,— обратился он ко мне.— Звания своего, фамилии, например, он не открывает. Сказывают так, что за непризнание властей был сослан. Убёг ли, што ли, этого доподлинно не могу знать...

— Над его дверью написано, что он сумасшедший?

— Приставляется,— сказал Михеич, по-своему, кратко и утвердительно.

— Не-ет... опять же и это... кто знает! Может, и не сумасшедший,— сказал опять Меркурий как-то уклончиво.— Собственно, держат его в одиночке за непризнание властей, за грубость. Полицместер ли, кто ли придет, хоть тут сам губернатор приходи — он и ему грубость

окажет. Все свое: «Беззаконники да слуги антихристовы!» Вот через это самое... А то раньше свободно он ходил по всей даже тюрьме без препятствий...

— А зачем он стучит?

— И опять же, как сказать... Собственно, для обличения!..

Меркурий ушел. Мы заварили чай и вышли на прогулку в коридор. Вдали, где-то в третьем коридоре, слышались еще шаги удалявшейся поверки. У Яшкина оконца виднелись усы, часть бороды, конец носа. Яшка стоял неподвижно и будто чего-то ждал.

Вдруг дверь опять заколебалась от неистовых ударов.

— Зачем ты это, Яков, стучишь? Кто тебя слышит? Ведь никого нет! — сказал я.

— Эвона! — отвечал Яшка серьезно, мотнув головой по направлению к окну коридора, через которое виднелся противоположный фасад расположенного четырехугольником здания и в нем сквозной просвет высокой двери, ведущей на другой двор.

В этом просвете маячила в сумерках фигура последнего солдата поверки. Фигура вскоре исчезла. Яшка счел возможным прекратить стук и обратился ко мне.

Он нагнулся, чтобы окинуть меня внимательным взглядом из своего оконца. Мне все не удавалось увидеть его лицо в целом. Теперь на меня глядели серые выразительные глаза, слегка лишь подернутые какою-то мутью, как у сильно утомленного человека. Лоб был высокий и по временам собирался в резкие — не то гневные, не то скорбные — складки. По-видимому, Яшка был высок ростом и очень крепко сложен. Лет, вероятно, было ему около пятидесяти.

— Што будешь за человек? — спросил он.— Куда тебя гонят?

Я назвал себя и сообщил, куда меня гонят.

— А тебя как зовут? — спросил я.

— Был Яков... Яковом звали.

— А величают как? Родом откуда?

Яков взглянул на меня с каким-то подозрительным вниманием и, помолчав, ответил кратко:

— Забыл [1].

Понемногу мы разговорились.

Как арестант, содержимый на особых правах, в «воль-

---

[1] После я узнал, что родом он из Пермской губернии.

ной одежде», и т. п., я представлял для Яшки явление не совсем обычное. Передо мною же был обыкновенный заключенный, говоривший сдержанно, ровно, вообще в будничном настроении.

— Беспокойно тебе — стучу я эт-то. Ничего, привыкнешь,— говорил он, усмехаясь.— Ночью тише же стучу я, не громко. На расписку сюда слуга-то антихристов является, так ему я это постукиваю.

— Скажи мне, Яков, зачем ты стучишь? — спросил я.

Яков вскинул на меня своими большими глазами, и в голосе его, когда он отвечал, послышалась какая-то обрядная важность:

— Стою за Бога, за великого Государя, за Христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей.

Я несколько удивился, что, по-видимому, не ускользнуло от внимания Якова.

— Обличаю начальников,— пояснил он,— начальников неправедных обличаю. Стучу.

— Какая же от этого польза?

— Польза? Есть польза...

— Да какая же? В чем?

— Есть польза,— повторил он упрямо.— Ты слушай ухом: стою зá Бога, за великого Государя...— И он целиком повторил свою формулу.

Я понял теперь: Яков не искал реальных, осязательных последствий от своего стучания для того дела, за которое он стоял столь неуклонно среди глухих стен и не менее глухих к его обличениям людей; он видел пользу уже в самом факте стояния за Бога и за великого Государя, стало быть, поступал так для души.

— А за что тебя держат? — спросил я далее.

— За что? Без-законники! — заговорил Яшка и возбужденно завозился за своею дверью.— За что держат? Скажи вот: безо всякого преступления... Нет моего преступления ни в чем. А и было бы преступление, так разве им судить?.. Бог суди!

— Человека ты убил,— сказал Михеич, внимательно слушавший наш разговор.— Пошто приставляешься?

— Неправда, неправда,— заговорил Яшка каким-то страдальчески-возбужденным голосом.— Ишь, чего выдумали, беззаконники! Неправда, не верь им, Володимер, не верь слугам антихристовым! Нет моего никакого

преступления. Отрекись, вишь, от Бога, от великого Государя, тогда отпустим. Где же отречься?.. Невозможно мне. Сам знаешь: кто от Бога, от истинного правзакону отступит — мертв есть. Плотью-то он живет, а души в нем живой нету...

В это время из темного коридора, под прямым углом примыкавшего к нашему, показалась маленькая фигурка в сером пальто с медными пуговицами. Я узнал старшего. Седая тюремная крыса точно выползала из норы за добычей. Старик крался, прижимаясь вдоль стены, чтобы Яшка не мог его увидеть из своей конурки. В руках у него была тетрадь и карандаш. Каждый вечер он клал эту тетрадь на окно коридора и ночью обязан был несколько раз написать в ней: «Был в таком-то часу». В эти-то часы и раздавалось тихое постукивание Яшки.

— Отопри малый верх,— шепнул Михеичу старший, быстро шмыгнув мимо Яшкиной двери.

Михеич стал тихо снимать засов с дверей, которые вели на лестницу с надписью: «Вход на малый верх». На этом «верху» находилась особая воровская колония. О ней так и говорили: «Ноньче в воровской драка приключилась».— «Воры-то ночью за картами развозились». Этот верх недаром носил название «малого». Дело в том, что тюрьма была рассчитана на число жителей чуть не на половину менее того, какое в ней находилось в действительности. Пришлось поэтому пуститься на хитрости, и вот губернская архитектура кое-как приляпала к высоким камерам новые потолки, значительно их понизившие и послужившие полом для малого верха. Часть высоких окон, отхваченная этими антресолями, пришлась, таким образом, в малом верху и получила назначение снабжать его светом. Нечего говорить, что назначение это исполнялось далеко не удовлетворительно, и воровской малый верх представлял помещение, совершенно невозможное в гигиеническом отношении.

— Тут у вас ничего еще,— говорил мне Меркурий о наших помещениях.— Тут и хорошему, образованному человеку прожить мало-мало можно... А вот в воровской — не приведи господи! Вонько, темно, сыро... Чистая смерть!...

Чтобы несколько вознаградить за отсутствие воздуха и света, начальство тюрьмы дало ворам некоторые льготы. Они, например, не запирались по камерам и ночью,

так как даже при сибирских взглядах на правила гигиены оказалось невозможным ставить у воров на ночь зловонные парашки. Таким образом, начав задыхаться в одной камере, жилец воровского малого верха мог для разнообразия отправиться задыхаться в другую. Как бы то ни было, малый верх вознаграждал за некоторые неудобства жилища широким развитием общественности. По ночам оттуда слышался шумный говор, по временам неслись отчаянные крики. Тогда призывалось начальство, иногда даже военный конвой, и расшумевшиеся воры накрывались за картежом или пьянством, подобно разодравшимся воробьям, которых берут руками мальчишки.

Итак, Михеич стал тихо снимать засов, и старший, расписавшись в тетради, опять было прошмыгнул мимо Яшкиной двери, направляясь на лестницу. «За водкой...— шепнул мне Михеич,— воры в карты дуются, водку пьют... накроет».

Но в этот критический момент, когда старый тюремный хищник стал подыматься на лестницу, Яшка, каким-то чутьем угадавший присутствие одного из «беззаконников», внезапно загремел своею дверью. Старик вздрогнул, точно ошпаренный. Я ясно представил себе, как болезненно задело его напряженные нервы это неожиданное громовое вмешательство. Он подпрыгнул на месте, точно его захлопнуло западней, заерзал, попытался было броситься наверх, но, сообразив, что дело потеряно и воры успели все припрятать, возвратился назад.

— Запри! — изнеможенно обратился он к Михеичу.— О Яшка, Яшка! — прошипел он, обращаясь к дверям.— Кажется, ежели мог бы, вот как бы тебя растер, проклятого, вот как!..

Он сжал свои кулачонки и стал их тереть друг о друга, как бы воображая, что Яшка находится между ними и испытывает процесс растирания.

Яшка появился у своей двери, очевидно, довольный, что удар, направленный во имя господне чисто наудачу, попал в цель так метко.

— Не любо тебе, беззаконник? — гремел он вдогонку.— Долго ли держать меня будете, слуги антихристовы?..

— Пос-с-той, пог-год-ди! — шипел беззаконник, пораженный в наболевшее место, и бросал при этом на нас косвенные взгляды, как будто между нашим присут-

ствием и необходимостью для Яшки погодить была некоторая необъяснимая связь.

Смысл этого «погоди» был совершенно ясен: Яшка был во власти этой старой тюремной крысы, один, без союзников, и тем не менее он жестоко измучил того, от кого вполне зависел. А он именно его измучил. Для меня стала очевидною та странная связь, которая установилась между Яшкой, запертым в одиночке, и державшими его «беззаконниками». Казалось бы, заперли Яшку — и делу конец: его можно игнорировать. Но он успел своим неукротимым протестом раздражить их нервы, натянуть их до болезненной восприимчивости к этому стуку, и торжествовал над связавшими его по рукам и по ногам врагами. Побежденный физически, он считал себя не сдавшимся победителю, пока еще «господь поддерживает его» в единственно возможной форме борьбы: «Стучу вот». В этом он видел свою миссию и свое торжество.

— И всегда так-то: стучит без толку... Уж именно, что без пользы, один вред себе получает...— говорил Михеич, запирая ход на лестницу.— Что толку в стуке? Ну вот, заперли его, в карцере сколь перебывал, нарукавники надевали,— все неймется. Погоди,— обратился Михеич к Яшке,— в сумасшедший дом свезут, там недолго настучишь! Там тебя устукают получше Тимошки.

— Хоть куда отдавай, все едино! Меня не испугаешь,— отвечал Яшка.— Я за Бога, за великого Государя стою,— за Бога, слуги антихристовы, стою! Слышишь? Думаете: заперли, так уж я вам подвержен? Не-ет! Стучу вот, слава те господи, царица небесная... поддерживает меня Бог-от! Не подвержен я антихристу.

— Нарукавники тебе... связать тебя, стукальщика, да и держать этак... Не стал бы стучать...

Осенние сумерки, выползая из углов старой тюрьмы, все более и более сгущались в коридорах.

— На молитву пора,— сказал мне Яков,— прощай!

Он отошел от двери и, когда я спустя некоторое время взглянул в его оконце, он уже стоял на молитве. Его окно было завешано какими-то тряпками, сквозь которые скудно прорывался полусвет наступающего вечера. Фигура Яшки рисовалась на этом просвете черным пятном. Он творил крестные знамения, причем как-то судорожно, резко подавался туловищем вперед и затем подымался несколько тише. Его точно дергало.

Мы с товарищем прохаживались по темнеющим

коридорам. Подходя к Тимошкиной двери, мы слышали мерное, точно заупокойное чтение. Из двери еврея вместе с дикими, стонущими звуками неслись убийственные миазмы. В соседней с ним камере каторжник, помещенный сюда опять-таки за недостатком места, совершал свою обычную прогулку, гремя кандалами, а наверху гоготали и шумно возились воры. Остальные камеры хранили безмолвие наступающего сна. Двое бродяг, сидевших вместе, варили что-то в печурке. Это, очевидно, были любители очага. Весь день употребляли они на розыски щепок и всякой дряни, которую подбирали на тюремных дворах, на последние деньжонки покупали крупок и вечером, когда всех запирали, они разводили в своей печке огонь. В эти минуты я иногда подходил к их двери и тихонько заглядывал в нее так, чтобы не нарушить их мирного наслаждения. Один, суровый бродяга, лет за сорок, сидел прямо против печки, обхватив колени руками, внимательно следя за огнем и за маленьким горшочком, в котором варилась крупка. Другой приволакивал к печке свой тюфяк и ложился на него лицом к огню, положив подбородок на руки. Это был почти еще мальчик, с бледным, тюремного цвета лицом и большими выразительными глазами. Он, очевидно, мечтал. Огонек потрескивал, вода в горшочке шипела и бурлила, а в камере царило глубокое молчание. Бродяги точно боялись нарушить музыку импровизированного очага тюремной каморки... Затем, когда огонек потухал и крупка была готова, они вынимали горшок и братски делили микроскопическое количество каши, которая, казалось, имела для них скорее некоторое символическое, так сказать — сакраментальное значение, чем значение питательного материала.

В самой крайней камере, служившей как бы продолжением коридора, жильцы беспрестанно сменялись.

Эта камера не отличалась от других ничем, кроме своего назначения, да еще разве тем, что в ее дверях не было оконца, которое, впрочем, удовлетворительно заменялось широкими щелями. Заглянув в одну из этих щелей, я увидел двух человек, лежавших в двух концах камеры, без тюфяков, прямо на полу. Один был завернут в халат с головою и, казалось, спал. Другой, заложив руки за голову, мрачно смотрел в пространство. Рядом стояла нагоревшая сальная свечка.

— Антипка! — заговорил вдруг последний и, вздрогнув, точно от прорвавшейся тяжелой, мучительной мысли, сел на полу.

Другой не шевелился.

— Антипка, ирод!.. Отдай, слышь. Думаешь, вправду у меня пятьдесят рублей?.. Лопни глаза, последние были...

Антипка притворялся спящим.

— У-у, подлая душа! — произносит арестант и изнеможенно опускается на свое жесткое ложе; но вдруг он опять подымается с злобным выражением.

— Слышь, Антипка, не шути, подлец! Убью!.. Ни на што не посмотрю... Сам пропаду, а уж пришью тебя, Каиново отродье.

Антипка всхрапывает сладко, протяжно, точно он покоится на мягких пуховиках, а не в карцере рядом с злобным соседом; но мне почему-то кажется, что он делает под своим халатом некоторые необходимые приготовления.

— Кержаки это... разодрались ночесь на малом верху,— поясняет мне Михеич,— вот смотритель в карцер обоих и отправил. Антип это деньги, што ли, у Федора украл. Два рубля денег, сказывают, стянул.

— Как же это их вместе заперли? Ведь они опять раздерутся?

— Не раздерутся,— ответил Михеич, многозначительно усмехнувшись.— Помнят!.. Наш на это — беда нетерпелив! «Посадить их, говорит, вместе, а подеретесь там, курицыны дети, уж я вам тогда кузькину мать покажу. Сами знаете...» Знают... Прямо сказать: со свету сживет. В та-акое место упрячет... Это что? — только слава одна, что карцером называется. Вон зимой карцер был, то уже можно сказать. Сутки если в нем который просидит, бывало, так уж прямо в больницу волокут. День поскрипит, другой, а там и кончается.

Мне привелось увидеть этот карцер, или, вернее, не увидеть, а почувствовать, ощутить его... Мне будет очень трудно описать то, что я увидел, и я попрошу только поверить, что я, во всяком случае, не преувеличиваю.

На квадратном дворике по углам стоят четыре каменные башенки, старые, покрытые мхом, какие-то склизкие, точно оплеванные. Они примыкают вплоть ко внутренним углам четырехугольного здания, и ход в них — с коридоров. Проходя по нашему коридору, я увидел дверь, ведущую, очевидно, в одну из башенок,

и наш Меркурий сказал мне, что это ход в бывший карцер. Дверь была не заперта, и мы вошли.

За нами в коридоре было темно, в этом помещении — еще темнее. Откуда-то сверху сквозил слабый луч, расплывавшийся в холодной сырости карцера. Сделав два шага, я наткнулся на какие-то обломки. «Куб здесь был раньше,— пояснил мне Меркурий,— кипяток готовился, сырость от него осталась,— беда! Тем более печки теперь не имеется...» Что-то холодное, проницающее насквозь, затхлое, склизкое и гадкое составляло атмосферу этой могилы... Зимой она, очевидно, промерзала насквозь... Вот она, кузькина-то мать! — подумал я.

Когда я, отуманенный, вышел из карцера, тюремная крыса, исполнявшая должность старшего, опять крадучись, ползла по коридорам отбирать от надзирателей на ночь ключи в контору, и опять Яшка бесстрашно заявлял ей, что он все еще продолжает стоять за Бога и за великого Государя...

«О, Яшка,— думал я, удаляясь на ночь в свою камеру,— воистину бесстрашен ты человек, если видал уже кузькину мать и не убоялся!..»

III

— Отчего у Яшки в камере так темно и холодно? — спросил я, заметив, что в его камере темно, как в могиле, и из его двери дует, точно со двора.

— Рамы, пакостник, вышибает,— ответил Михеич.— Беспокойный, беда!.. А темно потому, что снаружи окно тряпками завешено,— от холоду. Стекла повышибет, тряпками завесит, все теплее будто!.. Ну, не дурак? «Для Бога, для великого Государя». Кому надобность, что у тебя стекол нет...

И Михеич презрительно пожал плечами.

С тем же вопросом я обратился к Яшке.

— Видишь ты,— серьезно ответил он,— беззаконники хладом заморить меня хотят, потому и раму не вставляют.

— Зачем же ты ее вышиб?

— Не вышиб я, нет!.. Зачем вышибать?.. Вижу: идут ко мне слуги антихристовы людно. Не с добром идут — с нарукавниками. Сам знаешь: жив человек смерти боится. Я на окно-то от них... за раму-то, знаешь, и

прихватился. Стали они тащить, рама и упади... Вот!.. Что поделаешь. Согрешил: нарукавников испужался...

Несколько слов об этих нарукавниках.

Идея нарукавников — идея целесообразная и, если хотите, даже гуманная. Чтобы буйный или бешеный субъект не мог нанести своими руками вред себе или другим, руки эти должны быть лишены свободы действий с возможным притом избежанием членовредительства. Для этой цели надеваются крепкие кожаные рукава, коими руки притягиваются к туловищу. Чтобы удержать их в этом положении, рукава стягиваются двумя крепкими ремнями, которые двумя кольцами охватывают спину и грудь. В чистом виде идея нарукавников имеет только предупредительный характер, и если Михеич грозит ими, как чем-то наказующим и мстящим, то это свидетельствует еще раз печальную истину, что грубая действительность искажает всякие идеи. Надо, впрочем, сознаться, что этому искажению в весьма значительной мере способствует самое устройство нарукавников, легко допускающее возможность многих преувеличений. Пряжки, например, стягивающие ремни, могут быть затянуты в меру, не более того, сколько требуется самою идеей притяжения рук к ребрам, но они также могут быть затянуты и с преувеличением, причем пострадают и ребра [1]. Если принять в соображение, что редко — вернее никогда — субъект не обнаруживает стремления надеть их добровольно и что, стало быть, их надевают силой, то станет понятно, почему Яшка приравнивал процесс надевания нарукавников к смерти.

IV

Среда арестантов относилась к Якову довольно равнодушно. Был, впрочем, один остроумец, приходивший чуть не ежедневно изощрять на заключенном «в темни-

---

[1] Я не говорю уже о заведомых посягательствах на самое устройство нарукавников. Бывают и такие. Так, например, иногда к ним прибавляют еще ремень, притягивающий шею книзу. Это ничем не оправдываемое прибавление дает в результате уже несомненное членовредительство. Я знал здорового парня, у которого после пятичасового пребывания в нарукавниках с этим добавлением кровь бросилась горлом, и грудь оказалась радикально испорченною.

це» (на этот раз употребляю это выражение в буквальном значении) свое тяжелое скоморошество.

Это был один из тех остроумцев, каких много и не в остроге. Субъект этот наложил, по-видимому, на себя тяжелый искус развлекать публику балагурством, в котором было очень мало юмора, еще меньше веселья и уж вовсе не было смысла. Это было просто какое-то напряженное словоизвержение, поддерживаемое с усилием, достойным более веселого дела, по временам оскудевавшее и вновь напрягаемое, пока наконец сам остроумец не впадал от этих усилий в некоторое яростное исступление. Впрочем — добрая душа у русского человека — слушатели находили возможным награждать бескорыстное старание вялым смехом.

Яшка почему-то считал нужным делать этому скоморох принципиальные возражения, громил слуг антихриста, ссылался на авторитет «енерал-губернатора» (который, по его убеждению, стоял за него, хотя почему-то безуспешно), вообще, метал свой бисер, попиравшийся самым бестолковым образом.

— Енерал-губернатор! — грохотал остроумец сиплым голосом настоящего пропойцы,— вишь, чем удивить вздумал!.. Мы и сами в настранницких племянниках состоим... Хо-хо-хо! Не слыхивал еще, так слушай, развесь уши-то пошире. А то с енерал-губернатором выехал. Ха-ха-ха!

Когда Яков замечал, что возражения «настранницкого племянника» являются одним сквернословием, то он плевал и уходил от греха. Но настранницкий племянник, успевший достаточно раскалиться на огне собственного остроумия, начинал бить ногою в Яшкину дверь, мешая Яшке стоять на молитве. К этому присоединялся обыкновенно пронзительный голос музыкального еврея, сочувственно откликавшегося на всякие сильные звуки, и в результате выходил такой раздирательный концерт, что Михеич просыпался у своего косяка и укрощал разбушевавшегося настранницкого племянника. Тот удалялся, впрочем, весьма довольный собою. Зрители тоже расходились, зевая и вяло поощряя остроумца: «Молодец, Соколов! За словом в карман не полезет!»

Были, однако, некоторые признаки, указывавшие, что где-то в остроге, среди этих однообразных серых халатов, в грязных камерах, у Яшки были если не союзники, то люди, понимавшие подвиг неуклонного сту-

чания и сочувствовавшие его обличениям. Однажды, проходя по коридору, я увидел у Яшкиной двери высокого старика в арестантском сером халате. У него были седые волосы и серьезное лицо, суровость которого несколько смягчалась каким-то особенным болезным выражением. В отношении к Якову он держался с видимым уважением. Они о чем-то разговаривали у оконца негромко и серьезно.

— Верно тебе сказываю,— говорил Якову старик.— Ефрем решен, и Сидор тоже решен. Сказывают, в свою губернию по этапу отправлять будут... А твое, вишь, дело...

Конца фразы я не расслышал. Когда я проходил обратно, Яков, с которым я уже был знаком довольно близко, указал на меня, и старик поклонился, но затем опять припал к окошечку. Мне не удалось более увидеть этого арестанта. Очевидно, он заходил сюда из какого-нибудь другого отделения.

Однажды я дал коридорному денег, прося купить Якову, что ему нужно. Тот не понял и передал деньги непосредственно. После этого Яков остановил меня, когда я проходил по коридору.

— Слышь, Володимер,— сказал он.— Спасибо тебе. Милостинку ты Христову сотворил, дал коридорному для меня... Да, видишь вот: не беру я *их*. Прежде, на миру грешил, брал в руки, а теперь не беру! Вот они тут на полу и валяются. А ты хлебную милостинку сотвори! Из теплых рук хлебная милостинка благоприятнее. Ироды-то меня на полуторной порции держат. Сам знаешь, что в ей, в полуторной-то порции... Просто сказать, что гладом изводят. Ну, да не вовсе еще бог от меня отступился — добрые люди поддерживают: вчера кто-то два ярушничка спустил на веревочке сверху-то. Спасибо, не оставляют православные христиане.

Как бы то ни было, хотя эти факты указывают на некоторое сочувствие среды, тем не менее в самые страшные минуты, когда живая Яшкина душа содрогалась от дыхания близкой смерти и заставляла его судорожно хвататься за рамы и за холодные решетки тюремного оконца,— в эти минуты душу эту, несомненно, должно было подавлять сознание страшного, ужасающего одиночества...

Был ли Яшка сумасшедший? Конечно, нет. Правда, сибирская психиатрия решила этот вопрос в положительном смысле, и Яшке предстояло вскоре испытать те

же упрощенные приемы лечения, какие испытал остяк Тимошка. Тем не менее я не сомневаюсь, что Яшка был вовсе не сумасшедший, а подвижник.

Да, если в наш век есть еще подвижники строго последовательные, всем существом своим отдавшиеся идее (какова бы она ни была), неумолимые к себе, «не вкушающие идоложертвенного мяса» и отвергшиеся всецело от греховного мира, то именно такой подвижник находился за крепкою дверью одной из одиночек подследственного отделения.

— Есть семья у тебя? — спросил я однажды Якова.

— Была...— ответил он сурово.— Была семья у меня, было хозяйство, все было...

— А теперь живы ли дети твои?

— Бог знает... Как бог хранит... Не знаю...

— Тоскливо, должно быть, за своими тебе, за домашними? Может, письмо тебе написать?

— Нет, не тоскливо,— мотнул он головой, как бы отбиваясь от тягостных мыслей.— Одно вот разве: как бы им устоять, от прав-закону не отступить — об этом крушусь наипаче...

Несколько времени он сурово молчал за своею дверью.

— На миру душу спасти,— проговорил он задумчиво,— и нет того лучше... Да трудно. Осилит, осилит мир-от тебя. Не те времена ноне... Ноне вместе жить, так отец с сыном, обнявши, погибнете и мать с дочерью... А душу не соблюсти. Ох, и тут трудно, и одному-те... ах, не легко! Лукавый путает, искушает... ироды смущают... Хладом, гладом морят. «Отрекись от Бога, от великого Государя...» Скорбит душа-те — ох, скорбит тяжко!.. Плоть немощная прискорбна до смерти.

Тем не менее легче было бы даже Михеича совратить с пути, на котором он обрел свое прочное душевное равновесие, чем заставить Яшку свернуть с тернистой тропинки, где он встречал одни горести... Казалось, он не доступен ни страху, ни лести, ни угрозе, ни ласке.

Как-то однажды, в прекрасный, но довольно холодный день поздней уже сибирской осени, Яшка к обычным своим обличениям во время поверки прибавил новое:

— Пошто меня хладом изводите, пошто раму мне, слуги антихриста, не вставляете?

На следующий день была вставлена рама. Теплее и светлее стало в комнате Яшки, но вечером он стучал

столь же неуклонно. Эта черная неблагодарность поразила «его благородие» до глубины возмущенной души.

— Подлец ты, Яшка, истинно подлец! — произнес смотритель укоризненно, остановившись против Яшкиной двери.— Я тебе раму вставил, а ты опять за прежнее принимаешься.

— Беззаконник ты! — загремел Яшка в ответ.— Что ты, меня рамой обвязать, что ли, хочешь?.. Душу рамой купить?.. Нет, врешь, не обвязал ты меня рамой своей, еще я тебе не подвержен. Для себя раму ты вставил, не для меня. Я без рамы за Бога стоял и с рамой все одно постою же...

И дверь загремела бодрою частою дробью.

— Слыхал? — говорил мне после этого Яшка с глубоким презрением.— Беззаконник-то на какую хитрость поднялся? Раму, говорит, вставил — за раму отступись от Бога, от великого Государя!.. Этак вот другой ирод из начальников тоже меня сомущал!.. Калачами!.. Привели меня с партией в Тюмень. Смотритель купил два калача, подает милостинку, да и говорит: «Вот, бает, тебе Христова милостинка, два калача,— только уж ты меня слушайся. У меня чтоб в смирении...» Слыхал? «Милостинку я, мол, возьму. Она Христовым именем принимается... Хоть сам сатана принеси, и от того возьму... А тебе, беззаконнику, я не подвержен». Не-ет! Меня лестью не купишь. Слава тебе господи, поддерживает меня царица небесная. Стучу вот!..

Что же это за прав-закон, за который Яшка принимал свое страстотерпство?

Привелось мне как-то писать официальное заявление, для чего я был вызван в тюремную контору. Меня посадили за стол, дали бумагу, перо и предоставили сочинять мое заявление под шум обычных конторских занятий. В это время принимали новую партию. Письмоводитель выкликал по списку арестантов и опрашивал их звание, лета, судимость и так далее. Смотритель сидел тут же и рассеянно посматривал на принимаемых. Во всем этом было мало интересного для его благородия; для меня — тем более, поэтому я сочинял свое заявление, не обращая внимания на происходившее.

Но вот монотонный разговор стал оживленнее. Я поднял глаза и увидел следующую картину.

Перед столом стоял человек небольшого роста в сером арестантском халате. Наружность его не отличалась ничем особенным. Казалось, он принадлежал к мелкому

мещанству, к тому его слою, который сливается в маленьких городах и пригородах с серым крестьянским людом. Вид он имел равнодушный, пожалуй, можно бы сказать — апатичный, если бы порой по лицу его не пробегала чуть заметная саркастическая улыбка, а в глазах не вспыхивал огонек какого-то сознательного превосходства или торжества. Но эти проблески были едва уловимы; они пробегали, на мгновение оживляя неподвижные черты, на которых тотчас опять водворялось выражение вялости. В передней толпились арестанты. Видимо заинтересованные ходом опроса, они тянулись друг из-за друга, вытягивая шеи и следя за разговором сотоварища с начальством.

— Ты что ж не говоришь? — кипятился письмоводитель.— Что молчишь? Ты ведь мещанин из Камышина? Ведь тут, в твоем статейном списке, написано ясно. Вот!

Письмоводитель ткнул пальцем в лежавшую перед ним бумагу и поднес ее к носу арестанта. Тот презрительно отвернулся, и огонек в его глазах вспыхнул сильнее.

— И ладно, коли написано,— произнес он спокойно.

— Да ты должен отвечать. Веры какой?

— Никакой.

Смотритель быстро повернулся к говорившему и посмотрел на него выразительным, долгим взглядом. Арестант выдержал этот взгляд с тем же видом вялого равнодушия.

— Как никакой? В бога веруешь?

— Где он, какой бог?.. Ты, что ли, его видел?..

— Как ты смеешь так отвечать? — набросился смотритель.— Я тебя, сукина сына, сгною!.. Мерзавец ты этакой!

Мещанин из Камышина слегка пожал плечами.

— Что ж,— сказал он.— Было бы за что гноить-то. Я прямо говорю... За то и сужден.

— Врешь, мерзавец, наверное, за убийство сужден. Хороша небось птица!

Мещанин из Камышина сделал было движение, как будто хотел возражать, но через мгновение опять повел плечами...

— Там судите, за что сами знаете.

— Какой твой родной язык? — продолжает письмоводитель опрос по рубрикам.

— Что еще? — спрашивает опять мещанин с пренебрежением.— Какой еще родной?.. Не знаю я...

— Ах ты подлец! Ведь не по-немецки же ты говоришь. По-русски, чай?

— Слышите сами, по-каковски я говорю.

— Слышим-то мы слышим, да мало этого. Пойми ты, анафема! Надо знать: русский ты или чуваш, мордва какая-нибудь? Понял?

— Чего понимать?.. Не знаю,— решительно отрезал мещанин из Камышина.

Письмоводитель убедился, что с камышинским мещанином ничего не поделаешь, и камышинский мещанин был отпущен. При этом смотритель сделал многозначительное обещание:

— Погоди,— сказал он, провожая атеиста своим тюремным взглядом.— Мы еще с тобой, дружок, потолкуем на досуге. Авось разговоришься.

От этих слов мне вчуже стало жутко. Арестант только пожал плечами...

Когда я дописал свою бумагу и вышел из конторы, опрос партии еще не был окончен, и в передней толпились арестанты. Они кучкой обступили камышинского мещанина, который стоял среди них с тем же видом вялого равнодушия, хотя, очевидно, находился в положении героя минуты.

— Как же это, чудак! — говорил какой-то рыжеватый философ, с тузом на спине,— пра-а, чудак! Ведь ежели сказываешь, к примеру: «бога нет», так что же есть, по-твоему? А?

— Ничего! — отрезал тот коротко и ясно.

«Ничего!» Выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослан, готовится принять неведомую меру мучений из-за... ничего! Казалось бы, к тому, что характеризуется этим словом «ничего», можно относиться лишь безразлично. Между тем камышинский мещанин относится к нему страстно, он является подвижником чистого отрицания, бесстрашно исповедуя свое «ничего» перед врагами этого учения.

Яшка начертал на своем знамени другую формулу: «За Бога, за великого Государя!..» Он был сектант, приверженец старого прав-закону, но когда я, вернувшись из конторы, проходил мимо его двери, невольная мысль поразила мое воображение: как много общего между этими двумя исповедниками! Яшка порвал свои связи с родиной, с семьей, с родной деревней. Камышинский

мещанин сделал то же и даже словом не хочет признать эту связь, когда она ясно установлена на бумаге. «Я вам не подвержен»,— говорит Яшка. Камышинский мещанин тоже, очевидно, не признает власти, которой он обязан повиновением. «Нет моего преступления ни в чем,— говорит Яшка,— а и было преступление, так не вам судить — Богу». «Судите, за что знаете», говорит камышинский мещанин, не желая даже косвенно принять участия в процессе этого суждения. Но в то время как камышинский мещанин скептически вопрошает: «Какой бог и кто его видел?» — Яшка производит неуклонное стучание во имя господне.

Кто же это: непримиримые враги или союзники? Однородные ли это явления или явления разных порядков? Что тут существеннее: пункты сходства или пункты разногласия — общее у обоих отрицание существующих условий или религиозно-сектантские взгляды, которые есть у Якова и которые изгнал из своего обихода камышинский мещанин?

У Якова, по-видимому, было положительное миросозерцание, основами которого являлись «Бог и великий Государь». Но это была какая-то странная смесь мифологии и реализма! Несуществующие безбожники, направляемые несуществующими министрами Финляндцевыми (министр финансов), заполняют мир, ловят души, требуют отречения «от Бога, от великого Государя». И рядом — несомненно существующее, самое реальное страдание, несомненное гонение за дело, которое Яшка считает правым, сознательная готовность погибнуть и — страшно подумать — полная возможность такого исхода... Яшка предсказывает это на основании своей фантастической теории, а Михеич подтверждает, как несомненную позитивную истину. «Этому стукальщику то же будет, что и Тимошке, а то похуже...»

Для камышинского мещанина «ничего» означает отсутствие всякой цели и смысла в жизни. По мнению Якова, все в мире клонится к злу. Было уже три «сменения»... Какие? Яшка имеет об них лишь смутные понятия.

— Видишь вот,— ответил он на мой вопрос об этих сменениях.— Читал я в «Сборнике», да, видно, запамятовал. Первое — Рим отпал... Раз... Второе — Византия будто... Два. Ну, третье — московское. Ноне идет четвертое — горше первых. С шестьдесят первого году началось.

— Какое же?

— Какое? Ты теперича как пишешься? — неожиданно спросил у меня Яков.

Я не знал, как я пишусь, но Яков ответил за меня сам:

— Ты теперь пишешься: бывший государственный крестьянин. Понимай: бывший! Значит, был — да нету. Вот какое сменение!.. Земское сменение пошло, гражданские власти пошли. Государственных отменили.

С шестьдесят первого года мир резко раскололся на два начала: одно — государственное, другое — гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал всецело, без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-закону. Второе назвал царством грядущего антихриста.

— Что же, Яков: под гражданскими-то властями тяжелее, что ли?

— Как не тяжеле! Жить стало не можно. Ранее государевы подати платили, а ноне земские подати окромя накладывают... на тех, кто им, значит, подвержен.

— Ты податей не платишь? — спросил я, начиная догадываться о ближайших причинах Яшкина заключения...

— Государственные платим. Сполна великому Государю вносим. А на земские мы не обязались. Вот беззаконники и морят, под себя приневоливают. Кресты с церквей посняли.

— Ну, кресты-то на церквах есть.

— Не настоящие... Настоящих не стало... И крещение не настоящее — щепотью... Все их дело, их знамение.

— Постой, Яков! Как это ты рассудишь: ведь и великий государь в те же церкви ходит?

— Великий Государь,— отвечал Яшка тоном, не допускающим сомнений,— в старом прав-законе пребывает... Ну, а царь польской, князь финляндской... тот, значит, в новом...

Оказывалось, что будущее принадлежит новым началам. Уступая давлению этих начал, великий Государь издал циркуляр, в котором написано: «Быть по тому и быть по сему», что значит: кого успеют слуги антихриста заманить,— заманивай. Над теми он властен, на тех подати налагай и душами владей. А кто не обязался, кто

в истинном прав-законе стоит крепко, того никто не смеет приневолить.

Новые начала берут силу все более и более. «Беззаконники» пошли против какого-то циркуляра и стали под свою руку приневоливать насильно. Становится все труднее... Пущены в ход всякие средства.

— На тридцать на шесть губерен пущено тридцать шесть лисиц. Честью да лестью все пожгут... народу погубят — страсть!..

Нигде нет защиты. Государственное начало с осьмиконечным крестом меркнет. Государственные власти стоят плохо. Народ подается, не видя опоры. «Пишутся, правда, циркуляры-те, да что уж...» Суды пошли гражданские, тихие...

Тихие суды с шестьдесят первого года, то есть именно с тех пор, как в жизнь стала вторгаться гласность! Я не утерпел и попытался разрушить Яшкину фантасмагорию, для чего стал излагать основания нового гласного судопроизводства. Яков слушал довольно внимательно.

— Постой,— перебил он меня наконец.— Думаешь, я не сужден? Сужден, как же! Безо всякого преступления судебною палатою сужден. Не признаю я суда ихнего... Ну, все же — судили. Вот набольший-то судья̀ и говорит мне: «Не найдено твоей вины ни в чем. Расступитесь, стража!.. От суда-следствия оправлен». Ну, думаю, вот меня на волю выпихнут, вот выпихнут... А они тихим-то судом эвона выпихнули куда!

Я понял: суд гласно оправдал Якова, администрация его выслала. Яшка полагает, что гласный приговор — хитрость антихриста, что, кроме этого приговора, был еще другой, тихий. «Видишь вот, на каки́ хитрости идет». И все это, конечно, имеет определенную цель: судебная палата, министры, губернаторы, тюремный смотритель, Михеич... все они в заговоре, чтобы предать антихристу Яшкину душу...

Вследствие всего этого, на миру «жить стало не можно». «Вместе отец с сыном, обнявши, погибнете». Общественные связи нарушены. Приходится душу блюсти в одиночку, вразброд. Победа слугам антихриста почти обеспечена. Бросил Яшка семью, бросил хозяйство, бросил все, чем наполнялась его труженическая земледельческая жизнь, и теперь он один, во власти беззаконников.

— И пошто только мучают? — удивляется Яшка.— Невозможно мне от истинного прав-закону отступить.

Не будет этого, нет! Наплюю я им под рыло. Вот взял — приколол, только и есть. А то... морят попусту! — Он был вполне уверен, что если до сих пор его еще «не прикололи», то лишь потому, что живая Яшкина душа доставит антихристу большее удовольствие.

Но даже и это положение казалось Яшке лучше того, которое ожидает на миру всех принявших печать антихриста. Новые порядки грозят всеобщею неминучею бедой.

— Что дальше, то и хуже будет. Худа ждать надо, добра не видать — в «Сборнике» писано... Земля на выкуп пойдет.

— Да ведь и теперь земля идет на выкуп,— заметил я.

— То-то, и теперь идет,— отвечал Яшка невозмутимо.— А там и еще хуже будет. У кого двенадцать тыщей будет, тот и землей владеть станет. А и кто тыщу, другую имеет, и те без земли погинете. Верно я тебе говорю. Молод ты еще, поживешь — вспомнишь.

— Как же, Яков, неужто можно думать, что антихрист сильнее бога? Неужто божия правда не сладит с кривдой?

Яков подумал. Я заметил на его лице следы усиленной умственной работы. Он почерпнул откуда-то определенный ответ:

— Ну,— сказал он,— не бывать тому. Поработают, да и погибнут... Верно!..— повторил он через минуту.— Поработают, да и погибнут. А только не увидать нам с тобой правды.

V

— Ты, Яков, не признаешь гражданского суда. А государственный признаешь? — допытывал я в другой раз.

— Признаю государственный.

— Какие же, по-твоему, государственные власти? Например, генерал-губернатор?

— Енерал-губернатор — государственный... От великого Государя. Правильный.

— Значит, его решение правильное?..

— Давно велел отпустить меня. Да вот, видишь ты...

— Постой. Ну, положим, твое дело стал бы судить генерал-губернатор.

— За что меня судить? Не за что.

— Погоди! Ты, вот, говоришь: не за что, а гражданские власти говорят: есть за что. Надо ведь кому-нибудь рассудить. Государственные власти ты признаешь? Ну, вот, они и судят, и решают твое дело против тебя.

— Не могут они... Они должны правильно...

— Да ты обдумай хорошенько. Говорят тебе гражданские власти: пусть, мол, рассудит генерал-губернатор твое дело. Ведь он имеет право решать дела, так ли?

— Ну? — сказал Яков, видимо ожидая, что из этого выйдет.

— Ты ему должен подчиниться, как правильной государственной власти?..

— Нн-у-у? — протянул Яков, осторожно избегая ответа и, очевидно, заинтересованный возможностью некоторой новой комбинации.

— Ну, вот, и выходит от него решение: подчиняйся, Яков, новым порядкам, неси земские повинности...

Яшка смутился.

— Эвона! Видишь ты... Вот...— подыскивал он ответ.

— Теперь отвечай мне: покоришься ты или нет?

— То́-оно...[1] Видишь ты... Где уж, поди... Нет! — отрезал он наконец.— Где, поди, покориться. Како коренье... Невозможно мне...

И на лицо его легло то же выражение непоколебимого сурового упорства.

— Слушай, что я тебе спрошу, Володимер,— сказал он мне однажды.— Ты какого прав-закону будешь? Нашего же, видно?

Чтобы испытать Яшкину терпимость, я резко отверг свою солидарность с Яшкиным прав-законом и поставил перед этим фанатиком старого прав-закону основания совершенно несродного ему учения. В выражениях, понятных для Якова, я развил известный кодекс практической нравственности с основами братства и равенства. Злоупотребляя несколько его невежеством в догматике и Св. писании, я опирался на изречение: «По делам их познаете их» и на подходящих текстах из Иоанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на ее место дела, то есть практическое стремление к осуществлению формулы любви. Все это я выдал за свою религию.

---

[1] То́-оно...— в этом слове сказывается уроженец Пермской или Вятской губернии. Оно употребляется в тех местах каждый раз, когда говорящий испытывает затруднение и не находит подходящего выражения.

Яшка слушал внимательно, но, к моему удивлению, вовсе не заметил самого существенного в моем исповедании.

— Что ж? — удивил он меня.— Это и по-нашему так: все от Адама.

Я поставил вопрос яснее и обрушился с своею критикой на двуперстное знамение.

— Читал ты в Писании: «Поклонитесь в духе и истине»?.. А что такое персты: дух или плоть?

Тут Яшка понял.

— Сказано тоже...— медленно заговорил он,— поклонитесь душою и телом...

— А где это сказано? — спросил я.

Яков задумался и не ответил.

— Что ж? Это тоже хорошо...— сказал он в раздумье,— конечно, всяк по своему разумению.

И, вздохнув, прибавил с странным выражением:

— Всяк по-своему с ума-то сходит...

VI

Спустя две недели после нашего прибытия в острог, перед вечером — но еще задолго до поверки — арестантов стали загонять в камеры. Коридоры опустели, и в подследственном отделении воцарилась тяжелая, будто выжидающая тишина, по которой мы привыкли уже угадывать приближение высшего тюремного начальства. Вскоре громыхнула дверь дальнего коридора, послышалось звяканье оружия, шаги многочисленной толпы.

Ближе и ближе. Толпа ввалилась в наш коридор. Шаги отдавались отчетливо и смолкли у Яшкиной двери.

Лязгнули запоры, дверь отворилась. Несколько секунд стояло гробовое молчание, затем раздался голос старика — помощника:

— Выходи, Яков... на волю.

— Врешь! — послышался в ответ суровый голос Якова.— Врешь, обманываешь, беззаконник! Не те времена, чтобы на волю меня...

Конвойные бросились в камеру; послышался шум борьбы, что-то грузно повалилось на пол.

— Пó душу! — вскрикнул Яков подавленным, как будто задыхающимся, голосом.— Пó душу пришли, гос-

поди!.. Смерть, смерть моя! — кричал он все громче и громче. В его голосе, то сдавленном, то резком и громком, слышалась глубокая тоска и страх смерти.

Сердце у меня сильно билось... Мною начинала овладевать Яшкина фантасмагория, в связи с комментариями реалиста Михеича: «У них это живо!» Яшку вязали, чтобы свезти в дом сумасшедших, где царили известные упрощенные приемы лечения. Яков отбивался в последней степени отчаяния.

— Володимер, Володимер! — вскрикнул он, вдруг вспомнив, что рядом, хотя за такою же дверью, есть человек, быть может способный понять его положение.

— Володимер, Володимер, Володимер!..

Фантасмагория овладела мною всецело. Я громко застучал в свою дверь.

— Что такое еще? — послышался голос помощника смотрителя.— Кто это стучит?

— Политические стучат, ваше благородие,— сказал Михеич.

— Спроси, что надо?.. Постой, я сам спрошу.

Седой старик в мундире и папахе подошел к нашей двери и уставился в меня своими старчески бесстрастными, подслеповатыми глазами.

— Вам что угодно?

Вопрос меня озадачил. Что мне было угодно? Реальная действительность глядела на меня в лице этого старика, и я не знал, что сказать реальной действительности. Я сам был заперт в одиночке, за крепкою дверью, и мне ли было вступаться за Яшку? На каком основании?

— Что тут творится? — спросил я.— Что вы делаете с Яковом?

— Это... позвольте... Какое вам дело? Дело это не ваше... Получено предписание от начальства: отправить номер пять в дом сумасшедших. Ну, мы и отправляем... Может ли все это до вас касаться?

VII

В отделении подследственных водворилась тишина, Яшку связанного пронесли по коридорам, уложили в телегу и увезли вон из тюрьмы.

Отступит ли Яков «от Бога, от великого Государя»? Отступит ли сибирская психиатрия от упрощенных при-


УМАЛИШЕННЫЙ

емов лечения? Ответ был ясен... Тяжелые мысли теснились в мозгу: меня подавляла мертвая тишь одиночки и коридоров.

Старик Михеич тихо запер дверь Яшкиной камеры, постоял перед нею, задумчиво покачал головой и затем уселся на своем излюбленном месте. Старая тюремная крыса бодро прошла по коридору, бросая довольные взгляды на опустевшую каморку, из которой не слышалось более громового Яшкина стука. Старик бормотал что-то и скверно улыбался.

Вечером поверка обходила камеры обычным порядком. Все было тихо.

— Нет уже стукальщика,— сказал его благородие, обращаясь к конвойному офицеру.— Свезли нынче в дом сумасшедших.

Вдруг по коридору пронеслись гулкие удары... Его благородие вздрогнул, тюремная крыса уронила карандаш и тетрадку, офицер как-то нервно обернулся в ту сторону. Вся поверка точно застыла.

— Пошто держитé меня, пошто моритé, беззаконники?! — раздался вдруг козлиный голос Тимошки-остяка, и общее напряжение разразилось смехом.

Эта выходка была совершенно неожиданна. Козлиный голосок остяка так смешно подражал могучим окрикам Якова, все это, в общем, представляло столь жалкую и смешную пародию, что его благородие расхохотался. За его благородием захохотала вся поверка. Смеялся старичок помощник, моргая подслеповатыми глазками, грохотал толстяк офицер, сотрясаясь тучными телесами, хихикала тюремная крыса, улыбка шевелила длинные усы Михеича, смеялись в бороду солдаты, вытянувшись в струнку и держа ружья к ноге...

На следующий день и мы тронулись в путь.

1880

УБИВЕЦ

I. БАКЛАНЫ

Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий, резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик,

перевозчики остановили «плашкот» и дождались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали «чалки». Волны ударили в дощатые бока плашкота, рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшею в него зыбью.

Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому купеческого звания, на другой — трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане, наоборот, были веселы и сообщительны. Один из них, косоглазый и с рваною ноздрей, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни; но ветер скоро обрывал эти резкие звуки, разнося и швыряя их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштоф и стаканчик, потчевал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет тридцати, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге врастяжку, заложив руки под голову, и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами.

Вот уже второй день, в моем пути от губернского города N, то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе.

— Что это за люди? — спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге.

— Ко́стюшка с товарищами,— ответил он сдержанно.

— Кто такие? — переспросил я, так как имя было мне незнакомо.

Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того, что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направлении к реке.

Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темны и мутны, и над ними носились, описывая беспокойные круги, большие белые

птицы, вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшиеся вновь с жалобно-хищным криком.

— Бакланы! — пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу и наша тройка выхватила нас на дорогу.— Вот и мещанишки эти,— продолжал он,— те же бакланы. Ни у них хозяйства, ни у них заведениев. Землишку, слышь, какая была, и ту летось продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки. Житья от них не стало.

— Грабят, что ли?

— Пакостят. Чемодан у проезжающего срезать, чаю, место-другое с обоза стянуть — ихнее дело... Плохо придется, так и у нашего брата, у ямщика обратного, лошадь, то и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь — грешное дело, а он уж и тут. Этому вот Ко́стюшке ямщик кнутом ноздрю-то вырвал... Верно!.. Помни: Коська этот — первеющий варвар... Товарища вот ему настоящего теперь нету... И был товарищ, да обозчики убили...

— Попался?

— Попался в деле. Не пофа́ртило. Натешились над ним ребята, обозчики то есть.

Рассказчик засмеялся в бороду.

— Первое дело — пальцы рубили. Опосля огнем жгли, а наконец того палку сунули, выпустили кишки, да и бросили... Помер, собака!..

— Да ты-то с ним знакомый, что ли? С чего они тебя водкой-то потчевали?

— Будешь знаком,— сказал ямщик угрюмо.— Сам тоже винища им выпоил немало, потому — опасаюсь во всякое время... Помни: Костюшка недаром и нонче-то выехал... Эстолько места даром коней гонять не станет... Фарт чует, дьявол, это уж верно!.. Купец вот тоже какой-то...— задумчиво добавил ямщик после некоторого молчания,— не его ли охаживают теперича?.. Только вряд, не похоже будто... И еще с ним новый какой-то. Не видывали мы его раньше.

— Это который в телеге лежал?

— Ну, ну... Жиган, полагать надо... Здоровенный, дьявол!..— Ты вот что, господин!..— заговорил он вдруг, поворачиваясь ко мне.— Ты ужо, мотри, поберегайся... Ночью не езди. Не за тобой ли, грехом, варвары-то увязались...

— А ты меня знаешь? — спросил я.

Ямщик отвернулся и задергал вожжами.

— Нам неизвестно,— отвечал он уклончиво.— Сказывали — кудиновский приказчик из губернии проедет... Дело не наше...

Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Кудиновых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности да и во всей Западной Сибири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопился в город NN, где предстояли срочные платежи. Времени было немного, почта в NN ходила редко, и потому деньги я вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных бакланов, не представляла ничего утешительного.

Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.

II. ЛОГ ПОД ЧЕРТОВЫМ ПАЛЬЦЕМ

На ...ской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось.

— Эх, батюшка, Иван Семеныч! — уговаривал меня почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения.— Ей-богу, мой вам совет: плюньте, не ездите к ночи. Ну их и с делами! Своя-то жизнь дороже чужих денег. Ведь тут теперь на сто верст кругом только и толков что о вашем процессе да об этих деньжищах. Бакланишки, поди, уже заметались... Ночуйте!..

Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог.

— Надо ехать... Пошлите, пожалуйста, за вольными... И то время уходит...

— Эх вы, упрямец! Ну, да тут-то я вам дам дружка [1] надежного. Он вас доставит в Б. к молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо Чертова лога

---

[1] Дружками называют в Сибири ямщиков, «гоняющих» по вольному найму.

придется, место глухое, народец аховый... Хоть свету дождитесь.

Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута; до Б. мы доехали живо.

— Куда теперь меня доставишь? — спросил я у ямщика.

— К дружку, к молокану. Мужик хороший.

Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно зажиточного, дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинною седою бородой, очень почтенного вида. Он поднял свой фонарь над головой и, оглядев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом:

— А, Иван Семеныч!.. То-то сказывали тут ребята проезжие: поедет кудиновский приказчик из городу... Коней, мол, старик, готовь... А вам, я говорю, какая забота?.. Они, может, ночевать удумают... Дело ночное.

— А какие ребята-то? — перебил мой ямщик.

— А шут их знает. Бакланишки, надо быть! На жиганов тоже смахивают по виду-то... Думаю так, что из городу, а кто именно — сказать не могу... Где их всех-то узнаешь... А ты, господин, ночуешь, что ли?

— Нет. Лошадей мне, пожалуйста, поскорей! — сказал я, не слишком-то довольный предшествовавшею мне молвой.

Старик немного подумал.

— Заходи в избу, чего здесь-то стоять... Вишь, горето, лошадей у меня нету... Третьего днись в город с кладью парнишку услал. Как теперь будешь?.. Ночуй.

Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь между тем сгустилась в такую беспросветную тьму, какая возможна только в сибирскую ненастную осень. Небо сплошь было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады; но внизу царствовала полная темнота. На два шага не видно было человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот.

И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми к кому-нибудь из соседей.

— Ох, господин,—закачал старик своею седою головой,— на грех ты торопишься, право... Да и ночка же выдалась! Египетская тьма, прости господи!

В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирали разные имена, возражали друг другу, спорили.

— Ладно,— сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь с хозяином.— Будут тебе лошади. Съезжу сейчас недалече тут, на заимку.

— Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет...

— Недолго! — решил ямщик, а хозяин добавил сурово:

— Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится: «Скоро, да не споро»... Успеешь...

Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжавшим старческим голосом. Я начал дремать у печки.

— Ну, парень,— услышал я голос хозяина уже за дверью,— скажи убивцу-то, пущай поторапливается... Вишь, ему не терпится...

Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади.

Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь, незнакомое место, незнакомые люди и не совсем понятные речи, и, наконец, это странное, зловещее слово... Мои нервы были расстроены.

Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел.

Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами налетали откуда-то сбоку, из мрака, крупные капли, как будто второпях роняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер.

Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно-угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелое сильное чувство или

давно засевшая невеселая дума. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно.

Правду сказать, у меня мелькнуло-таки желание отпустить восвояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице молокана, но это было только мгновение. Я ощупал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы.

— Ну, слышь, убивец,— напутствовал нас старик,— смотри, парень, в оба. Сам знаешь...

— Знаю,— ответил ямщик, и мы нырнули в тьму ненастной ночи.

Мелькнуло еще два-три огонька разрозненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец последнее жилье осталось сзади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь.

Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому логу, однако до лога оставалось еще верст пять, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительною ясностью. Вспомнив хищнические фигуры бакланов, таинственность сопровождавшего их купца, затем странную неотвязчивость, с какою все они следовали за мною,— я пришел к заключению, что в логу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.

Загадка эта скоро, однако, должна была разрешиться. На посветлевшем несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем, вверху, шумел лес, внизу, в темноте, плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и был Чертов Палец.

Дорога жалась над речкой, к горам. У Чертова Пальца она отбегала подальше от хребта, и на нее выходил из ложбины проселок. Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей сибирской ночи. Узкая каменистая дорога не допускала быстрой езды, а кусты скрывали до времени нападение. Мы подъезжали к ложбине. Чертов Палец надвигался на нас, все вырастая вверху, во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину.

Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу.

Пристяжки жались к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно, и его тихое потренькиванье, отдаваясь над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе...

Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто дрогнул и замер. Я привстал. По дороге, меж темных кустов, что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились.

Ямщик остановил лошадей как раз вовремя: мы избегли нападения сбоку; но и теперь положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону — было невозможно. Я хотел уже выстрелить наудачу, но вдруг остановился.

Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. Убивец поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю.

— Держи ужо. Не пали!..

Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришло в голову ослушаться: моих подозрений как не бывало; я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед, по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двинулись за хозяином сами.

Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поравнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, убивец остановился.

Все было тихо, только вдали от дороги, по направлению к хребту, шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился.

— Ко́стюшка это, подлец, впереди всех бежит,— сказал убивец, прислушиваясь к шуму.— Э, да один, гляди-ко, остался!

В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей.

Убивец все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку.

Вдруг на утесе, под Пальцем, сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошовки и шарахнулось затем по кустам.

Убивец кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился.

— Слышь, Коська,— сказал он громко, глубоко взволнованным голосом,— не дури, я те говорю. Ежели ты мне теперича невинную животину испортил — уходи за сто верст, я те достану!..— Не пали, господин! — добавил он сурово, обращаясь ко мне.

— Мотри и ты, убивец,— послышался от утеса чей-то сдержанный, как будто не Костюшкин голос.— Не в свое дело пошто суешься?

Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, к кому обращался.

— Не грози, ваше степенство,— с презрением ответил ямщик.— Не страшен небось, даром что с бакланами связался!

Через несколько минут лог под Чертовым Пальцем остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.

III. УБИВЕЦ

Мы проехали версты четыре в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец я заговорил первый:

— Ну, спасибо, приятель! Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо!

— Не на чем,— ответил он.

— Ну, как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный...

— Отчаянный, это верно!

— А ты их знаешь?

— Костюшку знаю... Да его, варвара, почитай, всякая собака знает... Купца тоже ранее примечал... А вот того, который остался, не видал будто... Видишь ты, понадеялся на Костюшку, остался. Да нет, Костюшка, брат, не того десятка... Завсегда убегет в первую голову... А этот смелый...

Он помолчал.

— Не бывало этого ранее, никогда не бывало,— заговорил он опять тихо, покачивая головой.— Костюшка его откуда ни то раздобыл... Скликает воронья на мою голову, проклятый...

— А почему они тебя так боятся?

— Боятся, верно это!.. Уложил я у них тут одного...

Он остановил лошадей и повернулся на козлах.

— Погляди,— сказал он,— вон он, лог-то, виднеется, погляди, погляди!.. Тут вот, в этом самом логу, я этого человека убил...

Мне показалось, что, когда он высказывал это признание, голос его дрожал; мне показалось также, что я вижу в его глазах, слабо освещенных отблеском востока, выражение глубокой тоски.

Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока, вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом; громадный камень, точно поднятый палец, торчал кверху. Чертов лог казался близехонько.

На вершине холма нас обдавало предутренним ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку; сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу.

Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул... Лошади сразу подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору.

Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело приподнимался и без слова помахивал правою рукой. Тройка как будто чуяла, хотя и не могла видеть этих движений... Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и будто падали за нами назад, скошенные бешеным вихрем...

На ровном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпустил вожжи и ласково ободрял коней...

— Тише, милые, тише!.. Не бойся... Вот ведь лошадь,— повернулся он ко мне,— бессловесная тварь, а тоже ведь понимает... Как на *угор* этот выехали да оглянулись — не удержишь... Грех чуют...

— Не знаю,— сказал я,— может, оно и так; да только на этот раз ты ведь сам их погнал.

— Погнал нешто? Ну, может, и впрямь погнал. Эх, барин! Кабы знал ты, что у меня на сердце-то...

— Что ж? Ты расскажи, так узнаю...

Убивец потупился.

— Ладно,—сказал он помолчав,— расскажу тебе... Эх, милые! Ступай, ступай, не бойся...

Лошади застучали по мягкой дороге ровною, частою рысцой.

— ...Видишь ты... Было это давно... Оно хоть и не очень давно, ну, да воды-то утекло много. Жизнь моя совсем по-иному пошла, так вот поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели — начальники. А тут и бог, вдобавок, убил: жена молодая да сынишко в одночасье померли. Родителей не было — остался один-одинешенек на свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп — и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал и наконец того, поша́тился в вере. В старой-то пошатился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо; разуму своему тоже не вовсе доверяю... И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшенная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить... Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко — все кинул... Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги-пару, вырезал в тайге посошо́к и пошел...

— Куда?

— Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю — поле вспашу хозяину, а в другое — к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как богу молятся, как веруют... Праведных людей искал.

— Что же, нашел?

— Как сказать тебе?.. Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, братец, в нашей стороне люди бога-то помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить-то надо, если по божьему закону?.. Всяк о себе думает, была бы мамона сыта. Ну, что еще: который грабитель в кандалах закован идет, и тот не настоящий грабитель... Правду ли я говорю?

— Пожалуй... Ну, и что же?

— Ну, еще пуще стал на миру тосковать... Вижу, что толку нету,— мечусь, все равно как в лесу... Теперь, конечно, маленькое понятие имею, да и то... Ну, а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить...

— Это как же?

— А так, очень просто: назвался бродягой — и посадили. Вроде крест на себя наложил...

— Что ж, легче ли стало от этого?

— Какой-те легче! Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков это есть монастырь. Главное дело — без пользы всякой живут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность — самый скорый народ, а чтоб о душе подумать, о боге там — это за большую редкость, и даже еще смеются... Отчаянный самый народ. Вижу я, что, по глупости своей, не в надлежащее место попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое... Да еще говорят: как смел на себя самовольно этакое звание принять?.. Истомили вконец. Не знаю уж, что б и было со мной, да вышел тут случай... И плохо мне от этого самого случая пришлось... ну, а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже...

Прошел как-то по тюрьме говор: Безрукого, мол, покаянника опять в острог приведут. Слышу я разговоры эти: кто говорит «правда», другие спорятся, а мне, признаться, в ту пору и ни к чему было: ведут, так ведут. Мало ли каждый день приводят? Пришли это из городу арестантики, говорят: «Верно. Под строгим конвоем Безрукого водят. К вечеру беспременно в острог». *Шпанка* [1] на двор повалила — любопытно. Вышел и я погулять тоже: не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски, все, бывало, по двору суешься. Только стал я ходить, задумался и о Безруком забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю — ведут старика. Старичонка-то маленький, худенький, борода седая болтается, длинная; идет, сам пошатывается — ноги не держат. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним, и еще штыки к нему приставили. Как увидел я это, так меня даже шатнуло... «Господи, думаю, чего только делают. Неужели же человека этак водить подобает, будто тигру какую? И диви бы еще богатырь какой, а то ведь старичок ничтожный, неделя до смерти ему!..»

---

[1] Шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу.

Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору: кузнеца позвали — ковать в ручные и ножные кандалы, накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» — говорит кузнецу. Потом наручни покрестил, сам руки продел. «Сподоби, говорит, господи, покаяния ради!»

Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять:

— Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.

Да ведь и не я один. Поверишь ли, шпанка тюремная — и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!

Ну, а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и взошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат... Что ни надумаю — все про себя; худо ли, хорошо ли — ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться; подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.

«Что надо?»

«Ничего, говорю, не надо, а так... навестить пришел. Чай, одному-то скучно».

«Не один я здесь, отвечает, а с Богом, с Богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад».

А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает головой. А раз както и говорит:

«Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть».

Отошел я маленько, он глаз-то к дыре приставил, смотрел, смотрел и говорит:

«Что ты за человек за такой, сказывайся».

«Чего сказываться-то,— отвечаю ему,— самый потерянный человек, больше ничего».

«А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь?..»

«Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно».

Подумал он немножко, а потом опять говорит: «Нужно мне человека на волю спосылать нынче ночью. Не сходишь ли?» — «Как же мне, говорю, отсюда выйти?» — «Я тебя научу»,— говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!..» А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко... Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись... Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное... А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завертится,— просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор да на волюшку...

Однако вспомнил про старика своего... «Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал, да и повернулся к острогу. Назад не гляну... Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит да на меня из-за решетки смотрит.

Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он. «Ну, говорит, спасибо тебе, дитятко. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень,— спрашивает после,— на волю-то небось крепко хочется?» А сам смеется.— «Так, говорю, хочется, смерть!» — «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?» — «Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего».— Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе бог дал силу, и года твои, можно сказать, уж не

маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут... Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спа́сенье...»

«Греха, отвечаю, много».

«А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли?» — «Горько мне, говорю».— «Горько! А о чем — и сам не знаешь. Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согрешишь — и не покаешься, а не покаешься — не спасешься. Понял ли?»

А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди — как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таежная. Ни себе, ни другим.

«Это, говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят».

«Ну,— говорит старик,— это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою... Обещаешь ли меня слушаться — укажу тебе путь к покаянию».— «Обещаюсь, говорю».— «И клянешься?» — «И клянусь...» — Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи — в огонь пойду, а в воду, так в воду.

Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится: руку-то ему купец на разбое пулей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился: «Пропадай, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.

Вскорости Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел...

Ну, а еще через малое время — и совсем освободился.

Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, потом провели к нему Безрукого.

Не прошло полчаса, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало — тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:

«Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету».

«А как тебя звать-то?» — спрашивает заседатель.

«Федором, мол, зовут, Силиным».

«А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза́, чтоб напредки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его...»

«Ну вот и отлично,— говорит Безрукой.— А ты, парень,— отозвал он меня к сторонке,— как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни».

И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня Безрукой прислал. «Знаю, говорит. Сказывал о тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим».— «А сам-то, мол, Безрукой где же находится?» — «В отлучке, говорит,— по делам он все ездит. Никак скоро будет».

Вот и стал я жить на заимке — работником не работником — так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой, да работник... Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева — люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки — ни-ни! А работник Кузьма — тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало, колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, завидит, тотчас бегом в тайгу, и все в одно место прятался. Зовут хозяе-

ва, зовут — не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.

Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почитай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему — все некогда. «Погоди, говорит, дитятко, ужо на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосуг». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особливо ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже; пуще дума одолевает, места себе не найду...

Прошло никак недель пять, как я из тюрьмы вышел. Приезжаю раз вечером с мельницы; гляжу, народу у нас в избе много... Распрег коня; только хочу на крылец идти — хозяин мне навстречу. «Не ходи, говорит, погоди малость, сам позову. Да слышь! Не ходи, я тебе говорю». Что же, думаю себе, за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено — не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю: станет народ расходиться, как бы кто не унес. Пошел мимо окон да как-то и глянул в избу. Вижу: полна изба народу, за столом заседатель сидит; водка перед ним, закуска, перо, бумага — следствие, одним словом. А в стороне-то, на лавке, Безрукой сидит. Ах ты господи!.. Точно меня обухом по голове шибануло!.. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли... И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу...

Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке... Осенью дело это было. Ночь стояла звездная да темная. Никогда мне, кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит, а сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве, дрожу весь... Господи!..

Долго ли, коротко ли сидел, только слышу: кто-то идет из тайги тропочкой мимо, в белом пинжаке, в фуражке, палочкой помахивает. Писарь... верстах в четырех жил. Прошел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну: что будет?

Писарь вошел в двери, снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукого и говорит ему: «Здравствуй, Иван Алексеевич!» Безрукой его так и опалил глазами, а хозяин за

рукав дернул да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот, уже порядочно выпивши, смотрит на него мутными глазами, точно спросонья. Поздоровались. Заседатель и спрашивает:

«Знаете вы этого человека?» — Сам в Безрукого пальцем тычет.

Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся.

«Нет, говорит, не видывал будто».

Что такое, думаю, за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает.

Потом заседатель опять:

«Это не Иван Алексеев, здешний житель, по прозванию Безрукой?»

«Нет,— отвечал писарь,— не он».

Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном, дивлюсь только. По бумаге-то выходит, что самый этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев; что его соседи, а также и писарь не признают за таковое лицо, а сам он именует себя Иваном Ивановым и пачпорт кажет. Вот ведь удивительное дело! Сколько народу было, все руки прикладывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай! Все эти понятые у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу.

Кончили это дело, понятых отпустили... Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, говорит, тебе, старик, беспременно месяца на три уехать надо. А не уедешь — смотри, на меня не пеняй... Ну, лошадей мне давайте!..»

Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтобы меня под окном-то увидали. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу, с мыслями не могу собраться... Слышу — проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал... В доме все улеглись, огни погасли. Стал было и я дремать, да вдруг это слышу опять: динь, динь, динь! Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-претихая, далеко слышно. И все это ближе да ближе: из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услыхали, огонь вздули. Тройка на двор въехала. Знакомый ямщик проезжающих привез — значит, по дружбе; мы к нему возили, он к нам.

Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то: ночью редко меня посылали; больше сам хозяин либо

сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу: Безрукой с хозяином тихонько под навесом разговаривают.

«Ну, как же быть? — старик-то говорит.— Да где же Кузьма?»

«То-то вот,— хозяин отвечает.— Иван с заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидал, так сейчас теку. И в кустах его, слышь, нету. Дурак парень этот. Совсем, кажись, ума решился».

«Ну, а Федор?» — старик опять спрашивает: это уж про меня.

«Федор, мол, вечор с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил».

«Хорошо, говорит, надо быть, спать завалился. Ничего не видал?»

«Надо полагать — ничего. Прямо на сеновал ушел».

«Ну, ладно. Пустить его, видно, сегодня в дело...»

«Ладно ли будет?» — говорит Захаров.

«Ничего, ладно. Парень этот простой, а сила в нем чудесная; и меня слушает — кругом пальца его оберну. И то сказать: я ведь в самом деле теперича на полгода еду, а парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется».

«Все же будто сумнительный человек,— говорит Захаров.— Не по уму он мне что-то, даром что дурачком глядит».

«Ну, ну,— старик отвечает.— Знаю я его. Простой парень. Нам этаких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего не напрокудил».

Стали меня окликать: Федор, а Федор! А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. «Вставай, Федорушка! — говорит, да таково ласково.— Ты, спрашивает, спал ли?» — «Спал, говорю...» — «Ну, говорит, дитятко, вставай, запрягай коней; с проезжающим поедешь. Помнишь ли, в чем клялся?» — «Помню»,— говорю. А у самого зубы-то щелкают, дрожь по телу идет, холод. «Может,— говорит старик,— подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. А пока — запрягай-ка проворней: проезжающие торопятся...»

Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится! И все думаю, не сонное ли, мол, все это видение? В голове суета какая-то, а мыслей нету...

Безрукой, гляжу, тоже коня седлает, а конек у него

послушный был, как собачонка. Одною рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел со двора. Запрег я коренную, вышел за ворота, гляжу: Безрукой рысцой уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало.

Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали — барыня молодая да трое ребят, мал мала меньше. Старшему-то четыре годика, а младшей самой девочке года два, не более. И куда только, думаю, тебе, горемычной, экое место ехать доводится, да еще одной, без мужа? Барыня-то тихая, приветная. Посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает: какие места, нет ли шалостей? — «Не слыхивал»,— говорю, а сам думаю: ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей, бедной, не бояться: кла́ди с ней много, богато едет, да еще с ребятами; материнское сердце — вещун. Тоже, видно, неволюшка гонит.

Ну, сели, поехали. До свету еще часа два оставалось. Выехали на дорогу, с версту этак проехали; гляжу — пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь: Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя... Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барыня моя, гляжу, ни жива ни мертва... Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы. Плачет... «Боюсь я, говорит, всех вас боюсь...»

«Что ты, говорю, Христос с тобой, милая. Или я душегуб какой?.. Да вы почто же ночевать-то не остались?..»

«Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал: к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку... У старика-то,— говорит барыня,— пуще всех глаза нехорошие...»

Ах ты господи, думаю, что мне теперича с нею делать? Убивается, бедная.

«Что ж, говорю, теперича, как будете: назад ли вернетесь или дальше поедем?» Хожу я круг ее — не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалече; с проселку на него выезжать приходилось, мимо Камня. Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась:

«Ну, садись, говорит, поезжай. Не вернусь я назад: там страшнее... С тобой лучше поеду, потому что лицо

у тебя доброе».— Теперь это, братец, люди меня боятся, убивцем зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой Каиновой на мне еще не было.

Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай,— говорит моя барыня,— станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя сказывает, едет к мужу. Сосланный муж у нее, из богатых. «А ты, говорит, у этих хозяев давно ли живешь; в услужении ли, как ли?» — «В услужении, говорю, недавно нанялся».— «Что, мол, за люди?» — «Люди, говорю, ничего... А впрочем, кто их знает. Строгие... водки не пьют, табаку не курят».— «Это, говорит, пустяки одни, не в этом дело».— «А как же, говорю, жить-то надо?» Вижу я: она хоть баба, да с толком; не скажет ли мне чего путного? «Ты, спрашивает, грамотный ли?» — «Маленечко, мол, учился».— «Какая, говорит, бóльшая заповедь в Евангелии?» — «Бóльшая, мол, заповедь — любовь!» — «Ну, верно. А еще сказано: больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя! Вот тут и весь закон. Да еще ум, говорит, нужен — значит, рассудить: где польза, а где пользы нету. А персты эти, да табак там — это одна наружность...» — «Ну, правда твоя, отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил».

Ну, разговариваем этак, едем себе не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая: паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продрали глазенки-то, глядят: ночь ночью. Лес это шумит, звезды на небе, луна только перед светом подымается... Ребятам-то и любо... Известное дело — несмысли!

Ну, только, братец, въехали в тайгу — меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу: впереди по тропочке ровно бы кто на вершной бежит. Явственно-то не видно, а так кажет, будто серый конек Безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце: что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее... Не к добру... Задумался я... Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал; как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет, и пройдет по телу.

Примолк я; думать ничего не думаю, и не слышу ничего. Барыня моя слово-другое скажет — я все молчу. Стихла и она, бедная... Сидит...

Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже черно, просто сказать — чернее ночи. Сижу сам не свой. Кони дорогу знают, бегут к Камню этому — я не правлю. Подъезжаем — так и есть... Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит, глаза у него — веришь ли богу — как угли... Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. «Федор! — старик говорит,— сойди-ка наземь!» Сошел я с козел, послушался его, он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройкой поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошовке. Гляжу: в руке у меня топор!..

Иду за ним... и слов у меня супротив его, душегуба, нету, и сил моих нету противиться. «Согреши, говорит, познаешь сладость покаяния...» Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошовушке... Он стал обок. «Начинай,— говорит.— Сначала бабу-то по лбу!» Глянул я тут в кошовку... Господи боже! Барыня-то моя сидит, как голубка ушибленная, ребяток руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось... Ребятки тоже проснулись, глядят, точно пташки. Понимают ли, нет ли...

И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор... А самому страшно: сердце закипает. Посмотрел я на Безрукого, дрогнул он... Понял. Посмотрел я в другой раз: глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулась... состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его, братец, мертвого... ногами... Сам зверем стал, прости меня, господи боже!..

Рассказчик тяжело перевел дух.

— Что же после? — спросил я, видя, что он замолк и задумался.

— Ась? — откликнулся он.— Да после-то? Очнулся я, смотрю: скачет к нам Иван Захаров на вершной, в руках ружье держит. Подскакал вплоть; я к нему... Лежать бы и ему рядом с Безруким, уж это верно, да спасибо, сам догадался. Как глянул на меня — повернул коня да давай его ружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него меринок человеческим голосом взвыл, право, да как взовьется, что твоя птица!

Опомнился я вовсе... Не гляжу на людей... Сел на

козлы, коней хлестнул... ни с места. Глядь, а серый конек все поперек дороги стоит. Я про него и забыл. Вот ведь, дьявол, как был приучен! Перекрестился я. Видно, думаю, и животину дьявольскую тут же уложить придется. Подошел к коньку: стоит он, только ухми прядет. Дернул я за повод, упирается. «Ну, говорю, выходи, барыня, из кошовки, как бы не разнесли кони-то с испугу, потому что он вплоть перед ними стоит». Барыня, что твой ребенок послушный, выходит... Ребята повылезли, к матери жмутся. Страшно и им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами с этими вожжаюсь.

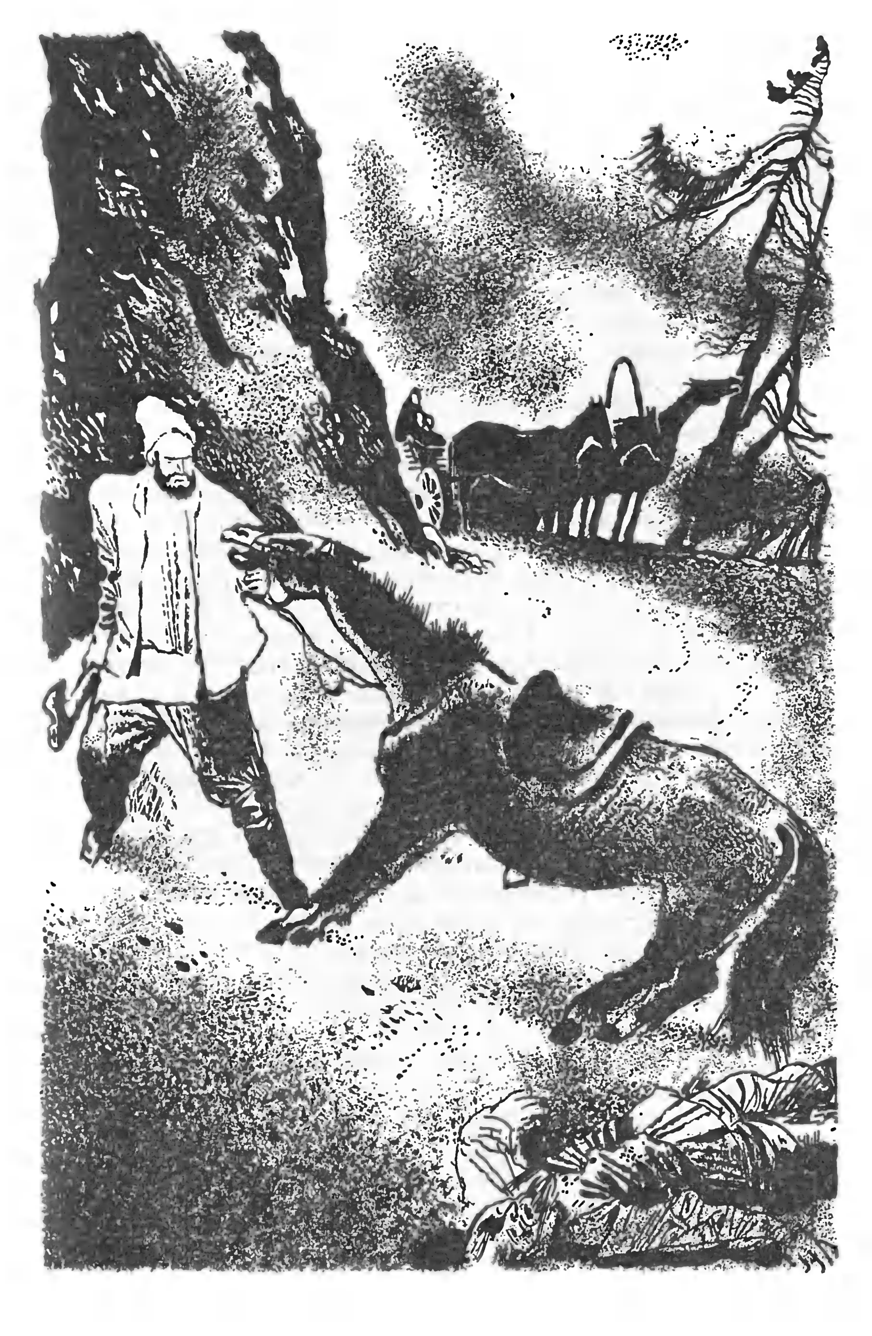
Спятил я свою тройку, взял топор в руки, подхожу к серому. «Иди, говорю, с дороги — убью!» Повел он ухом одним. Не иду, мол. Ах ты! Потемнело у меня в глазах, волосы под шапкой так и встают... Размахнулся изо всех силы, бряк его по лбу... Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги... Взял я его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. Лежите!..

«Садитесь!» — говорю барыне. Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжает... «Помоги»,— говорит. Подошел я; мальчонко-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил... «Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, не гоже младенцу касаться...»

Кое-как уселись. Тронул я... Храпят мои кони, не идут... Что тут делать?.. «Посади-ко,— говорю опять,— младенца на козлы». Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой — пошли, так и несутся... Вот как теперь же, сам ты видел. От крови бегут...

Наутро доставил я барыню в управу, в село. Сам повинился. «Берите меня, я человека убил». Барыня рассказывает все, как было. «Он меня спас»,— говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. «За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил». Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне, давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил... «Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело-то людское да божье. Виноват ли я, прав ли,— рассудит бог да добрые люди...» — «Да какая же, говорит, может быть вина твоя?» — «Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбился, людей не слушался, все своим советом поступал. Ан вот он, свой-то совет, и довел до душегубства...»

Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать,



подошла ко мне прощаться, обняла... «Бедный ты!..» Ребяток обнимать заставляет. «Что ты? — говорю.— Не скверни младенцев. Душегуб ведь я...» Опасался, признаться, что детки и сами греха моего забоятся. Да нет, поднесла она маленьких, старшенький сам подошел. Как обвился мальчонко вокруг шеи моей ручками — не выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой!.. Может, за ее добрую душу и с меня господь греха моего не взыщет...

«Если,— говорит она,— есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду!» И точно не забыла. Сам знаешь суды-то наши... волокита одна. Держали бы меня в остроге и по сию пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли.

«А все-таки держали в остроге?»

«Держали, и даже порядочное время. Главная причина — через деньги. Послала мне барыня денег полтысячи и письмо мне с мужем написала. Как пришли деньги эти, и сейчас мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. «Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе оправлю?»

Ах ты, думаю, твое благородие!.. За что деньги просит! Суди ты меня строго-настрого, да чтоб я твой закон видел,— я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ко! — за деньги...

«Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперича подвержен».

Смеется. «Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим,— власть. Куда захочу, туда тебя и суну».

«Это, мол, как же так выйдет?»

«А так, говорит. Глуп ты! Послушай вот: ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил?»

«Ну, мол, что дальше-то?»

«Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл».

«А другой, мол, какой будет?»

«Другой-то? А вот какой: посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Вот супротив тебя старик — все одно как ребенок. Он тебя сомущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац!.. и свалил. Это надо приписать

к твоему самоуправству, потому что этак не полагается. Понял?»

«Понял, говорю. Нет у вас правды! Кабы ты мне это без корысти объяснил... так ли, этак ли,— я б тебе в ноги поклонился. А ты вот что! Ничего тебе от меня не будет».

Осердился он.

«Хорошо же, мол. Я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, в остроге сгною».

«Ладно, говорю, не грози».

Вот и стал он меня гноить, да, вишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда... Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду: привел бы бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут.

— А что же Иван-то Захаров?

— А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, с Безруким-то уговор был: ехать Захарову за мной невдалеке. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да, вишь, бог-то судил иначе... Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись,— в тайгу... А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь заронил, а то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын — на каторге. Откупиться-то стало уж нечем.

— Тпру, милые!.. Приехали, слышь, слава те, господи... Вишь ты, и солнышко божье как раз подымается.

IV. СИБИРСКИЙ ВОЛЬТЕРИАНЕЦ

Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на N-скую станцию.

Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой.

— Вам лошадей? — спросил он, не дав мне еще и поздороваться.

— Да, лошадей.

— Нет.

— Э, полноте, Василий Иванович! Я ведь вижу...

Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах.

Василий Иванович засмеялся.

— Нет, в самом деле,— сказал он затем серьезно.— Вам теперь, вероятно, не к спеху... Пожалуйста, я вас прошу: погодите!

— Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?

— Губернатора! — засмеялся Василий Иванович.— Куда махнули! И всего-то надворного советника, да уж очень хочется мне этого парня уважить, право... Вы не обижайтесь, я и вам тоже всею душой. Но ведь я вижу: вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества.

— Да что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?

— А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь стоите? Заходите в мою хибарку.

Я согласился и последовал за Василием Ивановичем в его хибарку, где за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная и чрезвычайно добродушная дама.

— Да, так вы насчет правосудия спрашивали? — заговорил опять Василий Иванович.— Вы фамилию Проскурова слыхали?

— Нет, не слыхал.

— Да и чего слыхать-то,— вмешалась Матрена Ивановна.— Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит.

— Ну, уж это вы напрасно, вот уж напрасно! — горячо заговорил Василий Иванович.— Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще угоднику моему свечку должна поставить за то, что муж твой с этакими лицами знакомство ведет. Ты что о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шалопая сделают разве следователем по особо важным делам?

— Что вы это мелете? — вступился я.— Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?

— То-то и я говорю,— ободрилась Матрена Ивановна,— врешь ты все, я вижу. Да что я-то, по-твоему, дура набитая, что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?

— Вот вы у меня Матрену Ивановну и смутили,— укоризненно покачал головой смотритель.— А ведь, в сущности, напрасно. Оно, конечно, по штату такой должности у нас не полагается, но если человек все-таки ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше.

— Ничего я тут не понимаю,— сказал я.

— То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили! Ну, а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей?.. Неужели и этого не слыхали?

— Да, слыхал, конечно.

— Ну, то-то. Компания, так сказать, всесословная. Дело ведется на широкую ногу, под девизом: «Рука руку моет», и даже не чуждается некоторой гласности: по крайней мере, все отлично знают о существовании сего товарищества и даже лиц, в нем участвующих,— все, кроме, конечно, превосходительного... Но вот недавно как-то, после одного блестящего дела, «самого» осенила внезапная мысль: надо, думает, «искоренить». Это, положим, бывало и прежде: искореняли сами себя члены компании, и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили осердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уже совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подозревать связь с прежними.

— Что же тут удивительного?

— Оно, конечно, бог умудряет и младенцы. Человек-то попался честный и энергичный — вот что удивительно! Месяца три уж искореняет: поднял такую возню, не дай господи! Лошадей одних заездили около десятка.

— Что же тут хорошего, особенно для вас?

— Да ведь заездил-то не Проскуров... Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнование, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления... для пользы службы, конечно. Ну, да редко им удается. Проскуров у нас настоящий Лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него из-под носу вытащить... Огорчили бедного до такой степени, что он даже в официальном рапорте забылся: «Старанием, говорит, земских властей приня-

ты были все меры к успешному сокрытию следов преступления». Ха-ха-ха!

— То-то вот,— сказала Матрена Ивановна,— я и говорю: озорник. Одного с тобой поля ягода-то!..

— Ну, уж не озорник,— возразил Василий Иванович.— Не-ет! А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидал, что дал маху. Приступили к нему; пришлось бедняге оправдываться опиской... «На предбудущее время,— говорят ему,— таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью». Чудак! Ха-ха-ха!

— Ну, а вы-то тут при чем? — спросил я.

Василий Иванович принял комически серьезный вид.

— А я, видите ли, содействую. У нас тут — спросите вот у Матрены Ивановны — настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня: там, где-то по тракту, убийство, и его человечек к нему с известием поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится; вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать немаловажные услуги, д-да-с...

Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал.

— Погодите,— сказал я ему.— Вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно: сами-то вы верите в эту искоренительную миссию или только наблюдаете?

Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал.

— Представьте,— сказал он довольно серьезно,— ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать... Да нет, какая к черту тут миссия! Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший! Да вот вам пример: ведь оказывается, в сущности, что я в успех его дела не верю; иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности, а содействую, и даже, если хотите, Матрена Ивановна права: возбуждаю против себя «настоящее» начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Везде у него есть свои люди... «сочувствующие». В этом его сила, конечно. Только... странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали: Матрена Ивановна говорит, что «настоящие начальники не такие бывают». Это отголоски общественного мнения. А меж-

ду тем, пока этот младенец ломит вперед, высоко держа знамя, как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души или просто лично не заинтересованный старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну, да это, конечно, не поможет.

— Но почему? При сочувствии населения, в этом случае даже прямо заинтересованного?..

— То-то вот. Сочувствие это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое это чадо. Прет себе без всякой политики, и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает: съедят, мол, младенца ни за грош! Ну, и жалко. «Погоди-ка,— говорит сторонний человек,— я вот тут тебе дорожку прочищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст». А он идет, ничего! Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела? Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змий, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел, величие бы являл, где надо, а где надо — и взяточкой бы не побрезгал,— без этого какой уж и начальник! Ну, тогда могла бы явиться и вера: этот, мол скрутит! Только... черт возьми! тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением начальственных интересов... Вот тут и поди!.. Э-эх, сторона наша, сторонушка!.. Давайте-ка лучше чай пить!

Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле.

— Наливай, Матренчик, чаю,— сказал он как-то мягко жене, слушавшей все время с большим интересом речи супруга.— А прежде,— обратился он ко мне,— не дернуть ли нам по первой?..

Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири; по крайней мере в одной Сибири вы найдете такого философа где-нибудь на почтовом станке, в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был из сосланных, то это было бы не удивительно. Здесь немало людей, которых колесо фортуны, низвергши с известной высоты, зашвырнуло в места отдаленные и которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти низменные сферы не совсем обычные в них приемы, образование

и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство спускался медленно, но верно, с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому с спокойствием настоящего философа. Получив под какими-то педагогическими влияниями, тоже нередкими в этой ссыльной стране, с ранней юности вкусы и склонности интеллигентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинами; перед вами проходила целая панорама чисто местных типов своеобразной и забытой реформой страны: все эти заседатели, голодные, беспокойно-юркие и алчные; исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать удовольствие существования; горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия; советники, старшие советники, чиновники всяких поручений... И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодушие и величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой и с младенчески наивным неведением страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и властью могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек, в настоящем смысле этого слова, он с полным правом мог применить к себе стих поэта:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

И он действительно любил ее, хоть эта плохо оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, деградации. Когда, после одного из крушений, вызванных его обличительным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему:

— Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу... Не могу-с! Что мне там делать? Все чужое. Помилуйте, да мне и выругать-то там будет некого.

Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенною Россией — сравнение, которое одно время было в таком ходу,— мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что в дореформенной России не было соседства России же реформированной, а у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которое вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский Сквозник-Дмухановский в простоте своей душевной непосредственности полагал, что «так уж самим богом установлено, и вольтерианцы напрасно против этого вооружаются». Сибирский же Сквозник видел упразднение своего российского прототипа, видел торжество вольтерианцев, и его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назначение не верит. Пойдут одни веяния — он радуется; пойдут другие — он впадает в уныние и скрежещет. Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды: авось и на этот раз пронесет еще мимо, зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение: надолго ли? Ибо «рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки». А тут еще в сторонке стоит свой родной «вольтерианец» во фризовой шинели и улыбается: что, мол, батюшка, покуда еще бог грехам терпит, ась? — да втихомолку строчит корреспонденции в российские бесцензурные издания.

— Кстати,— спросил у меня Василий Иванович, когда после чаю мы закурили сигары, продолжая свою беседу,— вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами, тот раз, в логу?

Я рассказал все уже известное читателю.

Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары.

— Да,— сказал он,— странные люди...

— Вы их знали?

— Как вам сказать? Ну, встречал, и беседовал, и чай, вот как с вами, пивал. А знать... ну нет! Заседателей вот или исправников, быть может по родственности духа, насквозь вижу, а этих понять не могу. Одно только знаю твердо: несдобровать этому Силину — не теперь, так после покончат с ним непременно.

— Почему вы думаете?

— Да как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не решится везти, обращаются к этому молодцу, и он никогда не откажется. И заметьте: никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор как он уложил Безрукого, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают уж тут разные ребятки: «Убивца, мол, хоть заговоренною пулей, а все же взять можно...» Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.

V. ИСКОРЕНИТЕЛЬ

Василий Иванович насторожил, среди разговора, свои привычные уши.

— Погодите-ка,— сказал он,— кажется, колокольчик... Должно быть, Проскуров.

И при этом имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуяла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну.

— Ну, так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите: ведь это картина. Ха-ха-ха!.. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина!

Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался, но сначала мне видно было только облако пыли, выкатившееся как будто из лесу и бежавшее по дороге к стану. Но вот дорога, пролегавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших — прямо и очень близко под нами.

Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с облучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто. Хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя,

через облучок и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их и следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы.

Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал, как сумасшедший; но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел уже на кушетке и, как ни в чем не бывало, курил свою сигару.

Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг наша дверь отворилась, и в комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразною энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это, после нескольких мгновений, как-то стиралось. Аккуратные чиновничьи «котлетки», обрамлявшие гладко выбритые щеки, пробор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре.

Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему.

— Господин смотритель!.. Василий Иванович, голубчик... лошадей!.. Лошадей мне, милостивый государь, ради бога, поскорее!

Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодно-дипломатический вид.

— Не могу-с... Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя — он скоро будет.

Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул.

— Что вы, что вы это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с... Во-первых, ошибаетесь и насчет почтовых: у меня на всякий случай подорожная... Но, кроме того, на законном основании...

Но Василий Иванович уже смеялся.

— А, черт возьми! Вечно вы с вашими шутками, а мне некогда! — досадливо сказал Проскуров, очевидно, не в первый раз попадавший в эту ловушку.— Скорее, бога ради, у меня тут дело!

— Знаю, убийство...

— Да вы почему знаете? — встревожился Проскуров.

— «Почему знаете!» — передразнил смотритель.— Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал.

— Э, врете вы опять,— просиял Проскуров,— *они*-то еще и ухом не повели, а уж у моих, знаете ли, и виновный, то есть, собственно... правильнее сказать — подозреваемый, в руках. Это, батюшка, такое дельце выйдет... громчайшее!.. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну!

— Ну, уж вы-то ковырнете! Смотрите, не ковырнули бы вас.

Проскуров вдруг встрепенулся. Во дворе забрякали колокольцы.

— Василий Иванович,— заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном,— там, я слышу, запрягают. Это мне, что ли?

При этом он схватил смотрителя за руку и бросил тревожный взгляд в мою сторону.

— Ну, вам, вам... успокойтесь! Да что у вас там в самом-то деле?

— Убийство, батюшка! Опять убийство... Да еще какое! С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити. Если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищемить можно... Ах, ради бога, поскорее!..

— Сейчас. Да где же это случилось?

— Все в этом же логу проклятом. Взорвать бы это место порохом, право! Ямщика убили...

— Что такое? Уж не ограбление ли почты?

— Э, нет, вольного.

— Убивца? — вскрикнул я, пораженный внезапною догадкой.

Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами.

— Д-действительно-с... убитого так звали. А позвольте спросить: почему это вас так интересует?

— Гм...— промычал Василий Иванович, и в глазах его забегали веселые огоньки.— Допросите-ка его, хорошенько допросите!

— Я встречался с ним ранее.

— Та-ак-с!..— протянул Василий Иванович.— Встреча-лись... А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойном наследства?

— Да ну вас, с вашими шутками! Что за несносный человек! — досадливо отмахнулся опять Проску́ров и обратился ко мне.

— Извините, милостивый государь, собственно, я вовсе не имел в виду привлекать вас к делу, но вы понимаете... интересы, так сказать...

— Правосудия и законности,— ввернул опять неисправимый смотритель.

— Одним словом,— продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд,— я хотел сказать, что внимание к интересам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то... вы понимаете... одним словом, обязаны это сделать.

У меня мелькнуло вдруг смутное соображение.

— Не знаю,— ответил я,— насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу доставить. Но я рад бы был, если б они оказались полезны.

— Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?..

Я назвался.

— Афанасий Иванович Проскуров,— отрекомендовался он в свою очередь.— Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтоб уж не делать дело вполовину, не согласитесь ли вы, милостивый государь... одним словом... ехать теперь же со мною?

Василий Иванович захохотал.

— Н-ну, уж это... я вам скажу... Это черт знает что такое! Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?

Проскуров быстро и как будто сконфуженно схватил мою руку.

— Не думайте, пожалуйста,— заговорил он.— Помилуйте, какие же основания?..

Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного.

— Да и Василий Иванович, конечно, шутит,— добавил я.

— Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого! Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой вы мне сообщите, что вам известно. Да, кстати же, я без письмоводителя.

Я не имел причины отказаться.

— Напротив,— сказал я Проскурову,— я сам хотел просить вас взять меня с собою, так как меня лично крайне интересует это дело.

Передо мной, точно живой, встал образ убивца, с угрюмыми чертами, со страдальческою складкой между бровей, с затаенною думой в глазах. «Скликает воронья на мою головушку, проклятый!» — вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном логу, и прежде уже омрачившем его чистую жизнь своею зловещею тенью.

— Эге-ге! — закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно.— Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?

Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу.

— Поскорей, ради бога,— кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку.

Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка.

Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок привставал иногда и что-то делал над спиной ямщика; виднелись подымаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах.

Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом.

— Много довольны, ваше благородие...

— Сказал товарищу, вот ему? — ткнул Проскуров в нового ямщика.

— Знаем,— ответил тот.

— Ну, смотри,— сказал следователь, усаживаясь в повозку.— Приедешь в полтора часа — получишь

рубль, а минутой — понимаешь? — одной только минутой позже...

Тут лошади подхватили с места, и Проскуров поперхнулся, не докончив начатой фразы.

VI. ЕВСЕИЧ

До Б. было верст двадцать. Проскуров сначала все посматривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне:

— Ну-с, милостивый государь, что же, собственно, вам известно по этому делу?

Я рассказал о своем приключении в логу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось — купец. Проскуров не проронил ни одного слова.

— Д-да,— сказал он, когда я кончил.— Все это будет иметь свое значение. Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?

— Да, за исключением разве купца.

Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны.

— Ах, боже мой! — воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования.— Гм... Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль... Ну, да все же он не избегнет правосудия.

Менее чем в полтора часа мы были уже на стане. Распорядившись, чтобы поскорей запрягали, Проскуров приказал позвать к себе сотского.

Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но, в общем, впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишко и вообще рваная, убогая одежонка не обличали особенного достатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Проскуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности.

— Здравствуй, здравствуй, Евсеич,— сказал чиновник радушно.— Ну что? Птица-то у нас не улетела?

— Пошто улетит? — сказал Евсеич, переминаясь.— Сторожим тоже.

— Пробовал ты с ним заговаривать?.. Что говорит?

— Пробовал-то пробова-ал, да, вишь, он разговаривать-то не больно охоч. Перво я к нему было добром, а опосля, признаться, постращал-таки маленько! «Что, мол, такой-сякой, лежишь, ровно статуй? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту?» — «А кто?» — спрашивает.— «Да начальство, мол, вот кто... сотский!» — «Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали...» Что ты с ним поделаешь? Отчаянный!.. Известно, жиган!

— Ну, хорошо, хорошо! — перебил нетерпеливо Проскуров.— Сторожите хорошенько. Я скоро вернусь.

— Не убегет. Да ён, ваше благородие,— надо правду говорить — смирной... Кою пору все только лежит да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается — шут его знает... Раз только и вставал-то: поесть бы, сказывает, охота. Покормил я его маленько, попросил он еще табачку на цигарку да опять и залег.

— Ну и отлично, братец. Я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место.

— Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие...

Евсеич опять подошел к двери и выглянул в сени.

— Ну, что еще? — спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу.

— Да, значит, теперича так мы мекаем,— начал Евсеич, политично переминаясь и искоса посматривая на меня,— теперича ежели мужикам на *них* налегнуть, так в самую бы пору... Миром, значит, или бы сказать: скопом.

— Ну? — сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика.

— Да как же, ваше благородие, сами судите! Терпеть не можно стало; ведь беспокойство! Какую теперича силу взяли, и все нипочем... Теперича хоть бы самый этот жиган... Он что такое? Можно сказать — купленый человек; больше ничего, что за деньги... Не он, так другой...

— Справедливо,— поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный.— Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой. Что же дальше?

— Ну, больше ничего, что ежели теперича мужики видели бы себе подмогу... мы бы, может, супротив *их*

осмелились... Мало ли теперича за ними качеств? Мир — великое дело.

— Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет,— сказал Проскуров не без важности.

— Известно,— произнес Евсеич задумчиво.— Ну, только опять так мы, значит, промежду себя мекаем: ежели, мол, теперича вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет, тут мы должны вовсе пропасть и с ребятами. Потому — ихняя сила...

Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя.

А Проскуров садился в повозку в полном негодовании.

— Вот так всегда! — говорил он.— Все компромиссы, всюду компромиссы... Обеспечь им успех, тогда они согласны оказать поддержку правосудию... Что вы на это скажете? Ведь это... это-с — разврат, наконец... Отсутствие сознания долга.

— Если уж вы обратились ко мне с этим вопросом,— сказал я,— то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от «власти» гарантии успеха правого дела *на легальном пути*. Иначе в чем же состоит самая идея власти?.. Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то...

Проскуров живо повернулся в мою сторону и, повидимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался.

Мы отъехали верст шесть, и до лога оставалось не более трех, когда сзади послышался колокольчик.

— Ага! — сказал Проскуров.— Едет без перепряжки. Ну, да тем лучше: не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.

VII. ЗАСЕДАТЕЛЬ

Солнце задело багряным краем за черту горизонта, когда мы подъехали к логу. Свету было еще достаточно, хотя в логу залегали уже густые вечерние мороки. Было прохладно и тихо. Камень молчаливо стоял над туманами, и над ним подымался полный, хотя еще бледный, месяц. Черная тайга, точно заклятая, дремала недвижи-

мо, не шелохнув ни одною веткой. Тишина нарушалась только звоном колокольчиков, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья. Сзади слышался такой же звон, только послабее.

У кустов курился дымок. Караульные крестьяне сидели вокруг костра в угрюмом молчании. Увидев нас, они встали и сняли шапки. В сторонке, под холщовым покрывалом, лежало мертвое тело.

— Здравствуйте, братцы! — сказал следователь тихо.

— Здорово, ваше благородие! — отвечали крестьяне.

— Ничего не трогали с места?

— Ничего, будто... *Его* маленечко обрядили: не хорошо, значит... Скотину не тронули.

— Какую скотину?

— Да ведь как же: пегашку-то пристрелили же варвары... На вершной покойник-то возвращался.

Действительно, в саженях тридцати, у дороги, виднелась убитая лошадь.

Проскуров занялся осмотром местности, пригласив с собою и караульных. Я подошел к покойнику и поднял полог с лица.

Мертвенно-бледные черты были спокойны. Потускневшие глаза смотрели вверх, на вечернее небо, и на лице виднело́сь то особенное выражение недоумения и как будто вопроса, которое смерть оставляет иногда как последнее движение улетающей жизни... Лицо было чисто, не запятнано кровью.

Через четверть часа Проскуров с крестьянами прошел мимо меня, направляясь к перекрестку. Навстречу им подъезжала задняя повозка.

Из нее вышел немолодой мужчина в полицейской форме и молодой штатский господин, оказавшийся фельдшером.

Заседатель, видимо, сильно устал. Его широкая грудь работала, как кузнечные мехи, и все тучное тело ходило ходуном под короткою форменною шинелью довольно изящного покроя. Щеки тоже вздувались и опадали, причем нафабренные большие усы то подымались концами и становились перпендикулярно, то опять припадали к ушам. Большие, сероватые с проседью и курчавые волосы были покрыты пылью.

— У-уф,— заговорил он, пыхтя и отдуваясь.— За вами, Афанасий Иванович, не поспеешь. Здравствуйте!

— Мое почтение,— ответил Проскуров холодно.— И напрасно изволили торопиться. Я мог бы и обождать.

— Нет, зачем же-с?.. У-уф!.. Служба прежде всего-с... Не люблю, знаете ли, когда меня дожидаются. Не в моих правилах-с.

Заседатель говорил сиплым армейским басом, при звуках которого невольно вспоминается запах рому и жуковского табаку. Глаза его, маленькие, полинявшие, но все еще довольно живые и бойкие, бегали между тем по сторонам, тревожно исследуя обстановку. Они остановились на мне.

— Это мой знакомый,— отрекомендовал меня Проскуров,— господин NN, временно исполняющий обязанности моего письмоводителя.

— Имел удовольствие слышать-с. Очень приятно-с. Отставной штабс-капитан Безрылов.

Безрылов поднес руку к козырьку и молодцевато щелкнул шпорами.

— Отлично-с. Теперь мы можем приступить к исследованию. Отделаем по-военному, живо, пока еще засветло. Эй, понятые, сюда!..

Караульные крестьяне приблизились к начальству и все вместе двинулись к мертвому телу. Первым подошел очень развязно Безрылов и сразу отдернул весь полог.

Мы все отшатнулись при виде открывшейся при этом картины. Вся грудь убитого представляла одну зияющую рану, прорезанную и истыканную в разных направлениях. Невольный ужас охватывал душу при виде этих следов исступленного зверства. Каждая рана была бы смертельна, но было очевидно, что большинство из них нанесены мертвому.

Даже господин Безрылов потерял всю свою развязность. Он стоял неподвижно, держа в руке конец полога. Его щеки побагровели, а концы усов угрожающе торчали, как два копья.

— Ррак-ка-льи! — произнес он наконец и как-то глубоко вздохнул.

Быть может, в этом вздохе сказалось сожаление о том, что для господина Безрылова нет уже возврата с пути укрывательства и потачек.

Он тихо закрыл полог и обратился к Проскурову, который между тем уставился на него своими упорными глазами.

— Пожалуйста,— попросил заседатель, опуская

глаза,— опишем при вскрытии, завтра... Теперь исследуем обстановку и перенесем тело в Б.

— А там произведем допрос арестованному по этому делу,— сказал Проскуров жестко.

Глаза Безрылова забегали, как два затравленные зверька.

— Арестованному? — переспросил он.— У вас есть уже и арестованный?.. Как же мне... как же я ничего не знал об этом?

Он был жалок, но тотчас же попытался оправиться. Кинув быстрый, враждебный взгляд на крестьян и на своего ямщика, он обратился опять к Проскурову:

— Вот и отлично-с. У вас дело кипит в руках... заммечательно...

VIII. ИВАН ТРИДЦАТИ ВОСЬМИ ЛЕТ

Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию.

В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла; он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще, Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он посматривал на следователя с снисходительною улыбкой. Я уселся на другом конце стола.

— Прикажите ввести арестованного,— сказал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса.

Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы.

Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого я видел с Ко́стюшкой на перевозе задумчиво следящим за облаками.

Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была ровна и спокойна. Широкое лицо, с грубоватыми, но довольно

правильными чертами, выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубахе виднелись следы крови.

Проскуров передал мне «форму» и, подвинув перо и чернильницу, приступил к обычному опросу.

— Как зовут?

— Иван тридцати восьми лет.

— Где имеете место жительства?

— Без приюту... в бродяжестве...

— Скажите, Иван тридцати восьми лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?

— Так точно, ваше благородие, моя работа... Что уж, видимое дело...

— Молодец! — одобрил бродягу Безрылов.

— Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку?.. Не отопрешься.

— А по чьему научению или подговору? — продолжал следователь, когда первые ответы были записаны.— И откуда у вас те пятьдесят рублей тридцать две копейки, которые найдены при обыске?

Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами.

— Ну, уж это,— ответил он,— ты, ваше благородие, лучше оставь! Ты свое дело знаешь — ну, и я свое тоже знаю... Сам по себе работал, больше ничего... Я, да темная ночка, да тайга-матушка — сам-третей!..

Безрылов крякнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять уставился на бродягу, видимо любуясь его образцовою тюремною выправкой, как любуется служака-офицер на бравого солдата.

Проскуров оставался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги.

— Ну, а не желаете ли сказать,— продолжал он свой допрос,— почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?

Допрашиваемый смотрел на следователя с недоумением.

— Пырнул я его ножиком раз и другой... Более, кажись, не было... Свалился он...

— Десятник,— обратился Проскуров к крестьяни-

ну,— возьмите свечу и посветите арестанту. А вы взгляните в ту комнату.

Бродяга все тою же ровною походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу.

Вдруг жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противоположной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сломленной и подавленной фигуры.

Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом.

— Ваше благородие... хрестьяне православные,— заговорил он умоляющим тоном,— не делал я этого. Верьте совести — не делал!.. Со страху нешто, не помню... Да нет, не может этого быть...

Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз сверкнули.

— Ваше благородие,— заговорил он решительно, подходя к столу,— пишите: Костюшка это сделал — Костинкин — рваная ноздря!.. Он, беспременно, он, подлец!.. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело... Все одно: товарищ, не товарищ — знать не хочу!.. Пишите, ваше благородие!..

При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развертывать перед нами мрачную драму.

Он бежал из N-ского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его в одном заведении с Ко́стюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про покойного Михалыча: «Убивец, мол, такой человек, его ничем не возьмешь: ни ножом, ни пулей, потому заколдован».— «Пустое дело, господа,— я говорю,— не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь».— «А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду-племени?» — «А это, говорю, дело мое. Острог — мне батюшка, а тайга — моя матушка. Тут и род, тут и племя, а что не люблю слушать, когда, например, пустяки этакие говорят... вот что!» Ну, слово за

слово, разговорились, приняли они меня в компанию свою, полуштоф поставили, потом Костинкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с нами на *фарт* [1] идти?» — «Пойду», говорю. «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в логу беспременно дело сделать надо, потому что капиталы повезет тут господин из города большие. Только смотри, говорит, не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздуваним честь честью... Ну, а ежели убивец опять повезет,— мотри, убегешь». «Не будет этого, говорю, чтоб я убег».— «Ну, ладно, мол, ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек — за убивца можешь себе награду получить большую!..»

— Награду? — переспросил Проскуров.— От кого же?

— Ты вот что, господин,— сказал бродяга,— ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после... Ну, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главная причина — товарищи выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, сробел... Да он же, подлец, потом первый на смех меня поднял. Язвительный он, Костинкин то есть. «Ладно, говорю, идем опять. Да смотри, Костюша, убегешь ежели — сам жив от меня не останешься!» Три дня мы в логу этом прожили — все его дожидались. На третий день приехал он под вечер: значит, ночью ему назад ворочаться. Изготовились мы; слышим: едет тихонько на вершной. Выпалил Костинкин из ружья, пегашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня... прямо... Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу — все одно, мол: либо он, либо я!.. Изловчился, хвать его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого — обземь. Силен был покойник. Подмял; гляжу — пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся да опять его... под ребро... Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза... «А! — говорит.— Чуяло мое сердце!.. Ну, теперь ступай с богом, не тирань. Убил ты меня до смерти...» Встал я, гляжу: мается он... хотел было подняться — не смог. «Прости меня»,— говорю.— «Ступай,

[1] Фарт по-сибирски — удача, дело, обещающее выгоду.

отвечает, ступай себе... Бог простит ли, а я прощаю...» Я ушел и не подходил более, поверьте совести... Костинкин это, видно, после меня на него набросился...

Бродяга смолк и тяжело опустился на лавку. Проскуров быстро дописал. Было тихо.

— Теперь,— заговорил опять следователь,— докончите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чьего имени Ко́стюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?

Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно-рассеянный вид.

— Будет! — сказал он твердо.— Боле не стану... Довольно!.. Про Костюшку-то все записали?.. Ну̀, и ладно, вперед не пакости он! Прикажите, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу.

— Послушайте, Иван тридцати восьми лет,— сказал следователь,— считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете.

Бродяга пожал плечами.

— Это дело не наше. Мне все единственно.

Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.

IX. ХОД

Предстоит допрос свидетелей.

Они столпились кучкой у задней стены. Серая толпа с угрюмыми лицами стояла, переминаясь, в тяжелом молчании. Впереди всех был Евсеич. Лицо его было красно, губы сжаты, лоб наморщен. Он кидал исподлобья довольно мрачные взгляды, останавливая их то на Безрылове, то на следователе. По всему было видно, что в этой толпе и в Евсеиче, ее представителе, созрело какое-то решение.

Безрылов сидел на лавке, расставив широко ноги и пощелкивая пальцем одной руки по другой. Пока крестьяне входили и занимали места, он смотрел на них внимательно и вдумчиво. Потом, окинув всю толпу холодным, презрительным взглядом, он слегка, почти

незаметно, покачал головой и, усмехнувшись, обратился к Проскурову:

— Кстати, Афанасий Иванович, я ведь и забыл поздравить вас с приятною новостью... Уж извините... Все эти хлопоты... Просто из ума вон...

— С чем это? — спросил Проскуров, не отрываясь от чтения протокола.

— Как? — просиял Безрылов.— Значит, вам ничего неизвестно, и я, некоторым образом, первый буду иметь удовольствие сообщить вам это приятное известие? Очень, оч-чень приятно-с...

Проскуров поднял глаза на заседателя, который, между тем, подходил к нему, брякая шпорами и обворожительно улыбаясь.

— Вы получаете назначение исправляющим должность казначея в N-ск... Ну, да это, конечно, одна форма; без сомнения, вы будете утверждены окончательно. Поздравляю, голубчик,— продолжал Безрылов самым задушевным и благожелательным тоном, завладевая рукой удивленного Проскурова,— поздравляю от всего сердца.

Но Проскуров плохо оценил дружеское поздравление; он быстро отдернул руку и вскочил с места.

— По... позвольте-с, милостивый государь,— заговорил он торопливо и даже заикаясь.— Здесь шутить не место. Н-не место-с!.. Думаете, я не понимаю вашей тактики? Ошибаетесь, милостивый государь. Я не теленок... да-с, милостивый государь, не теленок-с!..

— Что вы, бог с вами, Афанасий Иванович! — изумился Безрылов и даже развел руками и оглянулся, как будто призывая всех присутствующих в свидетели черной неблагодарности Проскурова.— Смею ли я шутить?.. Официальное назначение... сам читал бумагу-с... Уверяю вас... Ну и местечко, я вам скажу! — продолжал он, изменив тон и вновь впадая в дружескую фамильярность.— Теперь уж вам не придется возиться с этими неприятными делами. Даже и настоящее дело нам, несчастным, придется, вероятно, кончать без вашего незаменимого содействия... Жаль, конечно!.. Зато за вас... приятно-с! Место тихое, спокойное... ха-ха-ха!.. Как раз... ха-ха-ха!.. по вашему нраву... И притом... от купечества... ха-ха-ха-ха-ха!.. благодарность...

Безрылов как будто перестал стесняться, и его смех, от которого сотрясалась вся его тучная фигура, становился даже неприличен... А Проскуров стоял перед ним

точно окаменелый, держась за стол обеими руками. Его лицо сразу как-то осунулось и пожелтело и на нем застыло выражение горестного изумления. В эту минуту — увы! — он действительно напоминал... теленка.

Я посмотрел на крестьян. Все они как-то подались головами вперед, только Евсеич стоял, низко нагнув голову, по своему обычаю, и слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

Дальнейший допрос не представлял уже в моих глазах ни малейшего интереса. Я вышел в переднюю...

Там, в углу на лавке, сидел жиган. Несколько крестьян-караульных стояли в сторонке. Я подошел к арестованному и сел рядом. Он посмотрел на меня и подвинулся.

— Скажите мне,— спросил я у него,— неужели у вас действительно не было никакой вражды к покойному Михайлову?

Бродяга вскинул на меня своими спокойными голубыми глазами.

— Чего? — переспросил он.— Какая может быть вражда? Нет, не видывал я его ранее.

— Так из-за чего же вы убили? Ведь уж наверное не из-за тех пятидесяти рублей, что при вас найдены?

— Конечно,— произнес он задумчиво.— Нам, при нашей жизни, вдесятеро столько — и то на неделю хватит, а так, что значит... может ли быть, например, эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять...

— Неужто из любопытства стоило убивать другого, да и себе жизнь портить?

Бродяга посмотрел на меня с каким-то удивлением.

— Жизнь, говоришь?.. Себе то есть?.. Какая может быть моя жизнь? Вот нынче я Михалыча прикончил, а доведись иначе, может, он бы меня уложил...

— Ну нет, он не убил бы.

— Твоя правда: мог он убить меня — сам жив бы остался.

— Тебе его жалко?

Бродяга посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул враждой.

— Уйди ты! Что тебе надо? — сказал он и потом прибавил, понурив голову: — Такая уж моя линия!..

— Какая?

— А вот такая же... Потому как мы с измалетства на тюремном положении...

— А бога ты не боишься?

— Бога-то? — усмехнулся бродяга и тряхнул головой.— Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался... А надо бы! Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленого осталось... Вот что, господин,— сказал он, переменив тон,— ничего этого нам не требуется. Что ты пристал? Говорю тебе: линия такая. Вот теперь я с тобой беседую как следует быть, аккуратно. А доведись, в тайге-матушке или хоть тот раз, в логу,— тут опять разговор был бы иного роду... Потому — линия другая... Эхма!

Он опять встряхнул своими русыми волосами.

— Нет ли, господин, табачку покурить? Страсть курить охота! — заговорил он вдруг как-то развязно; но мне эта развязность показалась фальшивой.

Я дал ему папиросу и вышел на крыльцо. Из-за лесу подымалось уже солнце. С Камня над логом снимались ночные туманы и плыли на запад, задевая за верхушки елей и кедров. На траве сверкала роса, а в ближайшее окно виднелись желтые огоньки восковых свечей, поставленных в изголовье мертвого тела.

1882

СОН МАКАРА

Святочный рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны,— тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебною стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык

и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса́, питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь,— говорил он,— господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая эта гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко,— так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый, он оставлял эти мысли, быть может, сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду»,— говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоенную, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя — что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.— Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе* старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжой и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька, застилая белою, волнующеюся массою холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

— Ча! — сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и,

пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

— Здоро́во! — сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чаю? — переспросил он.— Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он.— Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело,— ответил он.— Да ты почем узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю,— сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего,— сказал Макар успокоительным тоном,— съем в другой раз... Верно? — переспросил он.— В другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных срав-

нительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другой. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, а в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые

скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители — якуты, приехавшие молиться и пить горькую татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо, понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самою тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола,

когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом между тем несся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон...

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем

выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запушенных снегом... Мгновение — и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка-чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу — ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед — напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилось. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сто-

ронам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура — мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

— *Тытыма́* (не тронь)!.. Это мое! — крикнул Макар Алешке.

— *Тытыма́!* — отдался, точно эхо, голос Алешки.— Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

— *Тытыма́!* — крикнул он.— Это мое! — И сам побежал вслед за лисицей.

— *Тытыма́!* — опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным лицом. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало, точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушка́н (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара,— знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, погибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец, в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго — так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал,

что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошею смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

— Вставай, Макарушко,— говорил он.— Пойдем-ка.

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно, и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к *большому Тойону* [1].

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

— Он будет тебя судить,— сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кабы́сь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар.— Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужо!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

— Далеко ли идти? — спросил Макар.

— Далеко,— ответил попик сокрушенно.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл,— ответил попик, повернувшись к нему,— что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти.

---

[1] Т о й о н — господин, хозяин, начальник.

А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок [1], рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегало множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными перели-

---

[1] Падь — ущелье, овраг между горами. Сопка — остроконечная гора.



вами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки: как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина? Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большой готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдем к старосте,— кричал он,— это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

— Постой! — сказал на это татарин.— Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с коня, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный! — вскричал он.— Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает,— вскричал Макар, размахивая руками,— конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

— Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да, притом, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину:

— Ладно ужо! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догóр* (приятель), нет ли у тебя листоч-

ка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я! — сердито ответил Макар.—Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки,— сказал ему поп Иван.— За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь сто́ит!

— Постой,— сказал он.— Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись,— сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну,— сказал Макар.— Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет,— сказал попик,— он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденом коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз

ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона, большой ухастый бергес, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но, что хуже всего,— несмотря на свою старость,— он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

— *Капсе̂* (говори)! — сказал Макар приветливо.

— Нет,— ответил старик.

— Что слышал?

— Ничего не слыхал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже — сам он не знает, сколько лет назад,— он оставил Чалган и ушел на гору спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молол на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на гору и спасался. «Хорошо,— сказал Тойон,— а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

— Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на гору. Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы вдобавок она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догóру, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик со своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрялся кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабы́т* (отец),— сказал он,— как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

. . . .

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдем,— сказал он.— Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но — делать нечего — он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все

тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиною, заговорил с отцом Иваном:

— Говори!

— Нечего,— отвечал попик.

— Что ты слышал на свете?

— Ничего не слыхал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

— Привел вот одного.

— Это чалганец? — спросил работник.

— Да, чалганец.

— Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

— Видишь,— ответил поп несколько смущенно,— весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравновешивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не

было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идет,— сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь,— ответил Макар.— У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

— Говори сам, не молчи! — сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил

каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохою, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксутом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее — и стал читать.

— Загляни-ка,— сказал старый Тойон,— сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врет он! — крикнул Макар запальчиво.— Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

— Замолчи ты! — сказал старый Тойон.— Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

— Что говоришь напрасно! — ответил Макар.

— Вот видишь,— сказал Тойон,— я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю,— сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и,

подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою,— ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заездит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсáн* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар

отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, покалкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночиты — он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял? — спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что́ поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста,— ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

— Правду ли он говорит все это? — спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

— Чистую правду,— торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И притом две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленой мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это,— сказал он,— ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял

перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темное,— продолжал старый Тойон,— глаза мутные, и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие,— с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит,— забыл все, кроме своего гнева...

. . . .

Но старый Тойон сказал ему:

— Погоди, барахсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как пред его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше! . . . .
. . . .

1883

В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Из детских воспоминаний моего приятеля

I. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле,— никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-Городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-Западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционною заставой. Сонный инвалид, порыже-

лая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов, казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный за́мок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы, один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчи́ще»,— передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!» [1] — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки [2], пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замки или продав их на слом евреям, а в городишке,

---

[1] О горе мне! *(евр.)* — *Ред.*
[2] Бездельники *(пол.)*.— *Ред.*

расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду,— все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражени-

ем крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались,— вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся попрежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда наконец при молчаливом, но тем не менее довольно существенном содействии будочника порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих

товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшенною старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с до-

вольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали

стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой, они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка — город их не признавал, да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого Профессора. Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, повидимому без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. Профессор вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из «факторов», которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. Профессор покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но само по себе это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым «факторам», лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга Профессор только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючком!.. за самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный Профессор торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из замка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую Профессора, налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого Профессора, долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы задолго до их возникновения в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока наконец экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечения зрелищем своего несчастия и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе как пан писарь, когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывал шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла

с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; немудрено поэтому, что, когда Лавровский потупясь проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и каменьями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего

себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался наконец произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его стонах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями,— маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Уб-бью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз осенью даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и главным образом заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как Профессор и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствую-

щих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? а?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и остротах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей ресторации, в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия — ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; Генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если по какой-либо причине дня три Генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный Генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спе-

шили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С Генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

— Иду!.. Как пророк Иеремия... Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то немудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя реперту-

ар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза исступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую благодарность. Подойдя к исправницкому дому, выходившему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными как смоль волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает зачем-то нужным красить свои почтенные седины сапожною ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, Генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с заме-

чательною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты — и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута — черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и Генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките ура и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи главным образом на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливцами из замка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность

пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это — звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «Patres conscripti» [1] — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды — усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где

---

[1] Отцы сенаторы *(лат.).— Ред.*

говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию продолжительною скандовкой Виргилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди чуприны и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары трехвостной «дисциплины» святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты», то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий пугач [1] прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

---

[1] Филин.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удальцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял Профессор, шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я И МОЙ ОТЕЦ

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек,— вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лото́ки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзыва-

ющий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце,— просыпался с улыбкой счастия, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого

человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил *ее,* когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен,* но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня как на отпетого маленького разбойника воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро

я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем навстречу этому неведомому и таинственному во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни... Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, что не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурною славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты.

Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

IV. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевшим углом, в другом — скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого,— сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит,— заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако при помощи товарищей

я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахну́ло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Престол,— сказал он, вглядевшись в странный предмет на полу.

— И паникадило.

— Столик для Евангелия.

— А вон там что такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай, привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь? — спросил он тихо.

— Подойду,— ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в пролете, и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел

только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — послышался опять шепот.

— А вот погоди,— ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так,— ответил я.— Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже...— сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя? — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валек... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится,— сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад,— ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания,— сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно.— Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит,— сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь...— с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома.

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь к нам опять?

— Приду,— ответил я,— непременно!..

— Что ж,— сказал в раздумьи Валек,— приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка,— крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов.— А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу,— ответил я твердо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг,— заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ.— Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что,— ответил я тоном, не допускавшим сомнения,— разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во

сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, быва-

ло, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого,— говорили обо мне старшие,— руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой каплицы повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

— Вот, видишь,— сказал Валек,— она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а,— повторила девочка, точно слабое эхо,— это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь,— пояснил Валек, по-прежнему смотря на небо.— Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а,— опять повторила тихим эхо девочка,— Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция,— хотя я и не понимал их значения,— заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам»,— думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой каплицы, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших.

Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец,— ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит,— сказал он уже гораздо увереннее.— Он постоянно обо мне заботится, и знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит и тоже плачет,— прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит,— сказал я грустно.— Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда,— возразил Валек,— ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

— Что из-за них?

— Город из-за них еще не провалился,— так говорит Тыбурций,— потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный...— Потому что граф — не простой человек... Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это было правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ

Прошло еще несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только Профессор прошел раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу,— заторопился я,— даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего,— отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием.— Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе да густые

кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня.— Ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленью. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не

прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый Профессор, склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о сером камне, высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес Профессору. Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдем... уйдем отсюда,— дернул я Валека.— Уведи ее...

— Пойдем, Маруся, наверх,— позвал Валек сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек.— Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа врастяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо,— проговорил я затем в грустном раздумьи.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же,— спросил я с усилием,— почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?..

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже! — с уверенностью сказал Валек.— Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз,— где же запастись на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь? — спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VII. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИЙ

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более,— так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам,— ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну, что? Где же ваши? — спросил я.— Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся

живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземельи было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки,— предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

— Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека.— Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— Responde, ответствуй! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо.— Сейчас отпусти! — и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты

меня еще не знаешь. Ego — Тыбурций sum [1]. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция.— Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать.— Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно,— ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе.— Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому,— повторил я.

— Bene, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он — нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

---

[1] Я есмь Тыбурций *(лат.).— Ред.*

— Не буду судить Валека,— возразил я угрюмо.— Неправда!

— Он не будет,— вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперед не говори,— сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым.— Не говори, amice!..[1] Эта история ведется исстари, всякому свое, suum cuique; каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, amice, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня,— понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то как будто проникавшее в мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе,— что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится,— заговорил он, резко изменив тон,— запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... sub conditionem...[2] Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там,— указал он Валеку на большую

---

[1] Друг *(лат.)*.— *Ред.*

[2] Под условием *(лат.)*.— *Ред.*

корзину, которую, войдя, оставил у порога,— да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униатская каплица.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступиться, и Валек один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он.— Ну, и отлично. Садись, малый, с нами,— ты заработал свой обед... Domine preceptor![1] — крикнул он затем, обращаясь к Профессору.— Брось иголку, садись к столу.

— Сейчас,— сказал тихим голосом Профессор, удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное

---

[1] Господин наставник! *(лат.) — Ред.*

блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к Профессору со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот, domine, как немного нужно человеку,— говорил Тыбурций.— Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

— Ага, ага! — поддакивал Профессор.

— Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский капеллан,— я ведь тебя знаю... А между тем, не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

— Это вам дал клеванский ксендз? — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоща», бывавшего у отца.

— У этого малого, domine, любознательный ум,— продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к Профессору.— Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишен проницательности,— продолжал опять Тыбурций по-прежнему,— жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

— Ага, ага! — задумчиво промычал опять Профессор.

— Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвраща-

ясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем,— повернулся он вдруг ко мне,— ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

— А, все равно... *Ее* уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить этому обществу,

изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде принципа: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

— Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом,— говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только Профессор по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье. Остальные члены дурного общества жили в таком же подземелье побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди дурного общества и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял

кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожители-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях как балаганное представление — здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность — это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в ту-

манном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь бóльшую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен — я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей в последний раз перед наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого

гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! Это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

— Отец его прогнал,— заметил я в виде утешения.

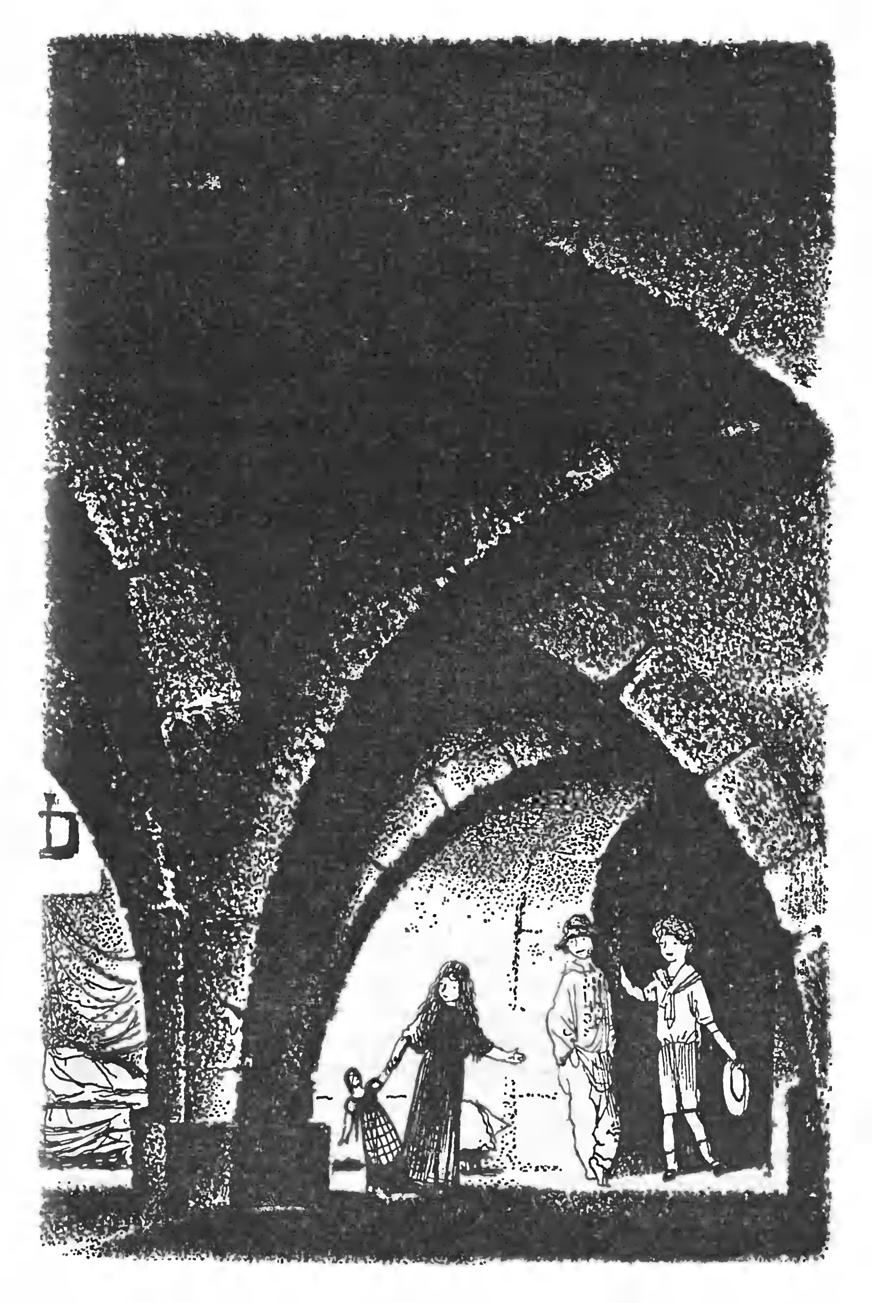
— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое curriculum vitae? [1] Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: curriculum vitae — это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

— Разве он... злой? — спросил я, вспомнив отзыв Валека.

— Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце; он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот

---

[1] Краткое жизнеописание *(лат.)*.— *Ред.*



господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой,— думалось мне,— но все же он меня не любит».

IX. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что

Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, попрежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще бóльшим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка

улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

— Да,— ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет,— сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло.— Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть.

— Ну, что ж ты?.. Говори! — И рука, де́ржавшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу,— ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу,— прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди навстречу его угрозам подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и исступленных руках. Что он со мной сделает? Швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою

любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так... пусть... тем лучше,— да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох — тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко.— Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но, видит бог, он не сделал дурного дела, и ес-

ли его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика,— повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову.— Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел — то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнородные чувства: гнев и любовь — так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

— Приходи к нам,— сказал он,— отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивле-

ния и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да,— ответил он задумчиво,— я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся...— ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе.— Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его — понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да еще скажи,— добавил отец, как будто колеблясь,— скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец...— И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземельи, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слег-

ка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя с помощью нескольких темных личностей гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Остались только Профессор, по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими Профессора напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастья. Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

1885

СОКОЛИНЕЦ

Из рассказов о бродягах

I

...Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.

Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи понемногу уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат якутского жилья простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе... Но вот и эти смутные очертания исчезли... Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвящий якутский мороз.

Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моею головой, и я спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда чужая сторона враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримою, неодолимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что в этот час как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды... А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко, в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и, среди мертвого затишья во

мраке, так явственно шепчет ужасные роковые слова: «навсегда... в этом гробу, навсегда!..»

Легкий, ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька, вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, продрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.

Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решился прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это — бог юрты, могучий огонь.

У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.

Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилье стояло на краю слободы, в некотором отдалении... Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину и замыкавшие ее горы, и огни слободских юрт, в которых жили давно объякутившиеся потомки русских поселенцев и, частью, ссыльные татары. Но теперь все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.

А вокруг все замерло. Горный берег реки, бедные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лугов, темная полоса тайги — все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты, с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавшеюся к моим ногам собакой, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана... Кругом — ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охваченная ужасом — чутким и напряженным.

Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу, по-видимому, тоже становилось страшно в виду наступающего царства мертвящего мороза; он прижимался ко мне и, задумчиво вытягивая острую морду,

настораживая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно-серую мглу.

Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий... В морозном воздухе издали несся слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.

Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбежал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий, торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.

Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жилье изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебегал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее, разыгравшееся пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубу камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой, и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.

Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суетится и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблеском пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.

Цербер уселся против камелька, уставился на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах

собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.

Но вот собака с неудовольствием отвернулась от огня и заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и пока он неистовствовал и заливался на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник, которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.

Я не ждал никого из знакомых. Якут едва ли приехал бы в слободу так поздно, а если б и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его догóры [1], а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать; пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут огненные змейки, все тише, все реже... Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять вольется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза,— глянет раз и другой, и... заснет. А я опять останусь один... один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.

Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать несчастненького, взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека.

---

[1] Догóр — друг, приятель.

Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались вьючные сумы-переметы, то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое переметов вызывало на размышления о способе его приобретения.

Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-якутски. На ногах у него были надеты торбаса из белой как снег конской шкуры. Широчайшие рукава якутской соны [1] подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль, вместе с острою верхушкой торчавшей над нею якутской шапки (бергес), была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.

Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полузастывшими руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свой треух на плечи, я увидал молодое, раскрасневшееся от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась вперед, обнаруживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудно уловимым, признакам я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.

Усталость, морозная ночь, а быть может, и тоска,

---

[1] Сона — верхняя одежда, кафтан, шуба и т. д.

которую испытывал одинокий путник, пробиравшийся среди непроницаемого тумана,— вот это несколько смягчило резкие очертания лица, залегло над бровями и в черных глазах выражением страдания, гармонировавшего с моим настроением в этот вечер, и внушило мне сразу невольную симпатию к незнакомому гостю.

Не раздеваясь дальше, он прислонился к камельку и вынул из кармана трубку.

— Здравствуйте, господин,— сказал он, вытряхивая трубку об уголок и в то же время искоса окидывая меня внимательным взглядом.

— Здравствуйте,— ответил я, продолжая в свою очередь пытливо осматривать незнакомую фигуру.

— Вы уж меня, господин, извините, что я так прямо к вам взошел. Мне вот только обогреться маленько да трубочку покурить — я и уеду, потому что у меня тут знакомые, которые меня во всякое время принимают, в двух верстах отсель, на заимке.

В его голосе слышалась сдержанность человека, очевидно не желавшего показаться навязчивым. Говоря это, он кинул на меня несколько коротких внимательных взглядов, как будто выжидая, что я скажу, чтобы сообразно с этим установить дальнейшие отношения. «Как ты со мной, так и я с тобой»,— казалось, выражали эти пристальные, холодные взгляды. Во всяком случае, приемы моего гостя составляли приятный контраст с обычною назойливостью якутского поселенца, хоть для меня и было очевидно, что если б он не рассчитывал остаться у меня ночевать, то не стал бы вводить лошадь во двор, а привязал бы ее к городьбе, снаружи.

— Кто вы такой,— спросил я,— как вас зовут?

— Меня-то? Зовут меня *Багылай,* то есть это, видите ли, по-здешнему, а настояще-то, по-рассейски — Василий... Может, слыхали? Байагантайского улусу.

— Родом с Урала, бродяга?..

На губах незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удовольствия.

— Ну, вот, вот! Он самый. Вы, стало быть, обо мне маленько наслышаны?

— Да, слышал от Семена Ивановича. Вы ведь с ним жили по соседству.

— Верно. Семен Иваныч меня довольно знают.

— Ну, рад гостю, милости просим. Оставайтесь у меня ночевать, кстати же я один. Сейчас самовар поставим.

Бродяга охотно принял приглашение.

— Спасибо, господин! Ежели уж вы приглашаете, то я останусь. Надо вот переметы с седла снять, кое-что в избу внести. Оно хоть, скажем, конь-то у меня во дворе привязан, а все же лучше: народ-то у вас в слободе фартовый, особливо татары.

Он вышел и через минуту внес в юрту две переметные сумы. Развязав ремни, он стал вынимать оттуда привезенные с собою припасы: круги мерзлого масла, мороженого молока, несколько десятков яиц и т. д. Кое-что из привезенного он разложил у меня на полках, остальное вынес на мороз, в сени, чтобы не растаяло. Затем он снял шаль, шубу и кафтан и, оставшись в красной кумачной рубахе и шароварах из бильбирета (род плиса), уселся против огня на стуле.

— Вот, господин,— поднял он голову и усмехнулся,— стану вам правду говорить: еду этто к вашим воротам, а сам думаю: неужто не пустит меня ночевать? Потому что я довольно хорошо понимаю: есть из нашего брата тоже всякого народу достаточно, которого и пустить никак невозможно. Ну, я не из таких, по совести говорю... Да вы, вот, сказываете, про меня слыхали.

— Действительно, слышал.

— Ну, вот! Живу, могу сказать, не похвастались, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь... Землю пашу, огород.

Бродяга говорил все это странным тоном, как-то раздумчиво глядя в одну точку, а при последних словах даже развел руками, как будто удивляясь: «А что, ведь и вправду, все это так и есть в действительности!»

— Да,— продолжал он тем же тоном,— работаю! То есть вполне даже как следует, по божьему приказанию. Что ж, я так понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наипаче еще разбойничать. Вот, скажем, хоть к этому примеру: еду я ночью, увидел огонь и заезжаю к вам... и сейчас вы мне уважение, самоварчик... Я это должен ценить. Так ли я говорю?

— Конечно,— подтвердил я, хотя, в сущности, бродяга обращался больше к себе самому, себя убеждал в преимуществах своей настоящей жизни.

Я действительно знал Василья по слухам от товарищей; это был бродяга-поселенец, уже два года живший в своем домике, среди тайги, над озером, в одном из

больших якутских *наслегов*[1]. В бесшабашной и потерянной среде поселенцев, бедствовавших, воровавших и нередко разбойничавших по наслегам, он был одним из немногих, предпочитавших трудовую жизнь, которая здесь давала легкую возможность подняться. Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь. Правда, что без этой помощи человеку, закинутому в суровые условия незнакомой страны, пришлось бы или в самом скором времени умереть от голода и холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотнее эта помощь оказывается в виде пособия на дорогу, посредством которого якутская община старается как можно скорее выпроводить поселенца куда-нибудь на прииск, откуда уже большая часть этих неудобных граждан не возвращается; тем не менее человеку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части также помогают стать на ноги. Василий получил от наслега избу, быка, и на первый год ему засеяли обществом шесть пудов хлеба. Урожай выдался хороший; кроме того, он выгодно нанялся у якутов косить сено, стал слегка торговать табаком, и года в два хозяйство его сложилось. Якуты относились к нему с почтением, поселенцы величали его в глаза Василием Ивановичем и только за глаза звали Васькой; попы, выезжая на требу, охотно заезжали к нему на перепутье и сами сажали его за стол, когда ему случалось приезжать к ним. Водил он также знакомство и с нашею братиею, интеллигентными людьми, заброшенными судьбой в эти далекие страны. Казалось бы, всем житье бродяге — оставалось только жениться; тут, конечно, встречалось маленькое затруднение, так как бродяг обыкновенно не венчают, но в той стороне, за небольшие деньги, за телку или хорошего жеребенка, можно было устроить и это.

И тем не менее, вглядываясь в энергичное лицо молодого бродяги, я все яснее различал в нем какую-то странность. Теперь это лицо нравилось мне уже несколько менее, чем в первую минуту, но все же оно было

[1] Якутская область в административном отношении разделяется на округи, соответствующие нашим уездам. Округ, в свою очередь, разделяется на у л у с ы, а улусы подразделяются на н а с л е г и. Если улус приравнять к русской волости, то наслег будет соответствовать отдельному обществу в среде волости. Деление это имеет характер отчасти родовой, отчасти административный.

довольно приятно. Темные глаза глядели по временам задумчиво и умно, все черты выражали энергию; обращение его было свободно, в тоне слышалось удовлетворенное самолюбие гордой натуры. Только по временам нижняя часть лица как-то нервно вздрагивала и блеск глаз потухал. Было видно, что Багылаю сто́ит некоторого усилия держать этот ровный тон, сквозь который что-то как будто силилось пробиться наружу, что-то горькое, подавляемое только напряжением воли...

Сначала я не мог отдать себе отчета, что именно это было. Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глубине души он сознавал,— хотя и подавлял пока это сознание,— что эта серая жизнь, жизнь на чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его ма̀нила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль. Так объяснил я себе эту черту впоследствии, но тогда я видел только, что бродягу, несмотря на кажущееся спокойствие, что-то гложет внутри, что-то прорывается наружу...

Пока я хлопотал с самоваром, Василий сидел против камелька, задумчиво глядя на огонь. Я окликнул его, когда все было готово.

— Спасибо, господин,— сказал он, подымаясь.— Много доволен и на ласковом слове. Ах, господин, господин! — обратился он вдруг ко мне как-то страстно,— поверишь ты: как завидел я твой огонек, сердце во мне взыграло,— право, не лгу! Потому что знаю: у рассейского человека этот огонь горит... Ехал этто лугами... темень, мороз... Юрта где задымится в сторонке — конь так и воротит к ней, так и воротит; известно, скотина якутская, лестно ей. Ну, а у меня сердце туда не лежит. Что мне в ней, хоть бы и в юрте? Конечно, согреют, может, и водка нашлась бы. Да нет!.. А твой огонь увидал — вот, думаю, куда заезжать, если примет. Спасибо, что не прогнал. В нашем наслеге, может, когда быть доведется,— милости просим ко мне. Найдем чем угостить, слава те господи! Примем как следует, честно!

II

Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииска или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур [1], проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребает снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогоднюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.

Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.

Василью нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь словами. Василий, или, как он уже привык называть себя — Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полену. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.

— Далеко! — сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.

— Что это? — спросил я.

— Наша-то сторона, Рассея... Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую — подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце сделается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту трескают... тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет: давай!

— Что ж, это у них обычай,— возразил я.— Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.

---

[1] Учур — река, приток Алдана, впадающего в Лену.

— Помогли, правда.

— Довольны вы своею жизнью? — спросил я, вглядываясь в лицо бродяги.

Он как-то загадочно улыбнулся.

— Да, жизнь...— сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.

Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.

— Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видал я в жизни своей хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться — и жизнь моя кончилась. С самых тех пор, я так считаю, что и на свете не живу вовсе. Так... бьюсь только понапрасну.

По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственною разбитою жизнью!

Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.

— Ну, да что тут... Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?

Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги.

III

В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.

На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.

«Нижний Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже.

Днем арестанты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях под палубой.

Обширная камера под низко нависшим потолком... Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и железная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально-вытянутою линией тускло горят фонари.

Вся жизнь серых пассажиров парохода проходит на виду, за этою решеткой. Стоит ли над морем яркое тропическое солнце, свистит ли ветер, скрипят и гнутся снасти, ударит ли волной непогода, разыграется ли грозная буря и пароход весь застонет под ударами шторма — здесь, все так же взаперти, прислушиваются к завыванию ветра сотни людей, которым нет дела до того, что происходит там, наверху, и куда несется их плавучая тюрьма.

Арестантов гораздо больше на пароходе, чем конвоя, но зато каждый шаг, каждое движение серой толпы введены твердою рукой в заранее намеченную железную колею, и экипаж обеспечен против всякой возможности бунта.

Впрочем, здесь принято во внимание все, даже и невероятное: если бы в толпе прорвался ожесточенный разъярившийся зверь и она в отчаянии стала бы кидаться на явную опасность, если бы выстрелы сквозь решетку не оказали действия и зверь грозил бы сломать свою железную клетку — тогда в руках командира оставалось бы еще одно могучее средство. Ему стоило только крикнуть в машинное отделение несколько слов:

— Рычаг такой-то... отдать!

— Есть! — и вслед за этим ответом в арестантское помещение были бы пущены из машины струи горячего пара, точно в щель с тараканами. Это страшное средство предотвращало всякую возможность общего бесчинства со стороны серого населения пароходного трюма.

Тем не менее и под давлением строгого режима это серое население жило за железными решетками своею обычною жизнью. И в ту самую ночь, когда пароход шлепал колесами по спокойному морю, дробясь в мрач-

ной зыбучей глубине своими огнями, когда часовые, опершись на ружья, дремали в проходах трюма и фонари, слегка вздрагивая от ударов никогда не засыпавшей машины, разливали свой тусклый, задумчивый свет в железном коридоре и за решетками... когда на нарах рядами лежали серые неподвижные фигуры спавших арестантов,— там, за этими решетками, совершалась безмолвная драма. Серое кандальное общество казнило своих отступников.

На следующее утро, во время переклички, три арестанта не поднялись с своих мест. Они остались лежать на нарах, несмотря на грозные оклики начальства. Когда вошли за решетку и приподняли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство убедилось, что эти трое никогда уже не поднимутся на перекличку.

Во всякой арестантской артели все важнейшие дела вершатся более влиятельным и сплоченным ядром. Для массы, по-арестантски шпанки, серой, безличной толпы, подобные события нередко тоже бывают совершенною неожиданностью. Пораженное мрачною ночною трагедией, население пароходного трюма вначале примолкло; под низким потолком стояла пугливая тишина. Только плеск моря доносился снаружи, бежали с рокотом вдоль ватерлинии разбиваемые грудью парохода волны, да тяжелое пыхтение машины глухо отдавалось вместе с мерными ударами поршней.

Но скоро начались среди арестантов разговоры и толки о последствиях происшествия. Начальство, очевидно, не намерено было замять неприятное дело, приписав смерть случайности или скоропостижным болезням. Признаки насилия были очевидны; пошли допросы. Арестанты отвечали единодушно; быть может, в другое время начальству и не трудно было бы найти несколько человек, которых страхом или обещанием выгоды можно бы склонить к доносу, но теперь, кроме чувства товарищества, языки были скованы ужасом. Как ни страшно начальство, как ни грозны его окрики,— артель еще страшнее: в эту ночь, там, на нарах, на виду у часовых, она показала свое ужасное могущество. Без сомнения, многие в ту ночь не спали; не одно ухо чутко ловило заглушенные звуки борьбы «под крышкой» [1],

[1] «Сделать крышку» — на арестантском жаргоне значит убить кого-либо в среде самой тюрьмы. При этом обыкновенно на голову жертвы накидывается халат с целью заглушить ее крики. Это и есть крышка.

хрипение и вздохи, не совсем похожие на вздохи спящих, но никто ни одним словом не выдал исполнителей страшного приговора. Начальству не оставалось ничего более, как приняться за официальных ответчиков: старосту и его помощника. В тот же день их обоих заковали в кандалы.

Помощником был Василий, носивший тогда другое имя.

Прошло еще дня два, и дело было обсуждено арестантами с полною обстоятельностью. На первый взгляд казалось, что концы спрятаны, виновных открыть невозможно и закованным представителям артели грозила лишь легкая дисциплинарная ответственность. На все вопросы у них был прямой и резонный ответ: «Спали!»

Однако при более тщательном рассмотрении дело стало возбуждать некоторые сомнения. Сомнения эти относились именно к Василью. Правда, в подобных случаях артель действует всегда таким образом, чтобы неприкосновенность к делу первых ответчиков кидалась по возможности в глаза, и в этом случае Василий мог легко доказать, что он не принимал в ночной трагедии прямого участия. Тем не менее, обсуждая положение помощника старосты, опытные арестанты, прошедшие и огонь, и медные трубы, покачивали головами.

— Слышь, парень,— подошел раз к Василью старый, бывалый в переделках бродяга,— как приедем на Соколиный остров, запасай ноги. Дело, братец, твое неприятно. Совсем табак твое дело!

— А что?

— Да вот то же!.. Ты в первый раз осужден или вторично?

— Вторично.

— То-то. А помнишь, покойный Федька на кого доносил? Все на тебя же. Ведь из-за него ты ходил неделю в наручнях, так ли?

— Было дело.

— Ну, а что ты ему тогда сказал? Солдаты-то ведь слышали! Ты как об этом думаешь? Ведь это есть угроза!

Василий и другие слушатели поняли, что тут было от чего почесаться.

— Ну, вот! Сообрази-ка ты все это, да и готовься к расстрелу!

В партии поднялся ропот.

— Не болтай, Буран,— заговорили арестанты с неудовольствием.

— Хлопает старик зря.

— От старости, видно, из ума выжил. Шутка ли чего сказал: к расстрелу!

— Не выжил я из ума,— сердито заговорил старик и плюнул с досады.— Много вы, шпанье [1], понимаете! Вы судите по-рассейски, а я по-здешнему. Я здешние-то порядки знаю... Верно тебе говорю, Василий: пошлют дело к амурскому генералу-губернатору — готовься к расстрелу. А ежели за великую милость на *кобылу* [2] велят ложиться, так это еще хуже: с кобылы-то уж не встанешь. Потому что ты понимай: это, братец, корапь! На корабле закон против сухопутья вдвое строже. Ну а впрочем,— глухо добавил старик, запыхавшийся от этой длинной речи,— мне все одно, хоть пропадите вы все пропадом...

Потухшие глаза старого, разбитого незадачливою жизнью бродяги давно уже глядели на мир тускло и с угрюмым равнодушием. Он махнул рукой и отошел к сторонке.

Среди арестантских партий встречается немало юристов, и если такая партия, во всем составе, по тщательном обсуждении данного дела, постановит свой предполагаемый приговор, то он почти всегда в точности совпадает с действительным. В данном случае все такие юристы согласились с мнением Бурана, и с этих пор было решено, что Василий должен бежать. Так как он мог пострадать из-за артельного дела, то артель считала себя обязанной оказать ему помощь. Запас сухарей и галет, образовавшийся из экономии, поступил в его распоряжение, и Василий стал сбивать партию желающих участвовать в побеге.

Старый Буран бегал уже с Сахалина, и потому первый выбор пал на него. Старик долго не раздумывал.

— Мне,— ответил он,— на роду уж написано в тайге помирать. Да оно, пожалуй, в тайге-то бродяге и лучше. Одно вот только: годы мои не те, поизносился.

Старый бродяга заморгал тусклыми глазами.

— Ну, ин сбивай артель. Вдвоем али втроем нечего и идти — дорога трудная. Наберется человек десять —

---

[1] Презрительная кличка от слова «шпанка» (объяснение выше).
[2] К о б ы л о й называют скамью особого вида, к которой привязывают наказываемого плетьми.

и ладно. А уж я пойду, поколе ноги-то носят. Хоть помереть бы мне в другом месте, а не на этом острову.

Буран заморгал еще сильнее, и по сморщенному, обветрелому лицу покатились старческие слезы.

«Ослаб старый бродяга»,— подумал Василий и пошел сбивать артель, подыскивать других товарищей.

IV

Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Арестанты толпились у люков и с тревожным любопытством смотрели на горные высокие берега острова, все выраставшие среди сумрака приближавшегося вечера.

Темною ночью подошел пароход к порту. Очертания берега надвинулись и встали черною громадой. Пароход остановился, команда выстроилась; стали выводить арестантов.

На берегу в темноте виднелись кое-где огни; море плескалось в берег, на небе висели тучи, а на сердце у всех такая же темная, такая же мрачная нависла тоска.

— Порт это,— тихо говорил Буран,— *Дуя*[1] называемый. Тут на первое время в казармах жить придется.

После проверки в присутствии местного начальства вывели партию на берег. Проведя несколько месяцев на море, арестанты впервые чувствовали под ногами твердую почву. Пароход, на котором они прожили столько времени, покачивался в темноте и вздыхал среди ночи клубами белого пара.

Впереди задвигались огни. Послышались голоса:

— Партия, что ли?

— Партия.

— Ступай сюда, в седьмую казарму!

Арестанты двинулись на огонь. Шли вразброд, в беспорядке, и всех поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толкает их прикладами.

— Братцы,— послышались удивленные голоса,— никак караулу-то с нами нету?

— Молчи! — угрюмо проворчал в ответ на это Буран.— Зачем тебе здесь караул? Небось и без караулу не убежишь. Остров этот большой, да дикой. В любом месте

---

[1] Порт Д у э, на западном берегу Сахалина.

с голоду поколеешь. А кругом острова море. Не слышишь, что ли?

Действительно, среди влажной ночи подымался ветер; огни фонарей неровно мерцали под его порывами, и глухой гул моря доносился с берега, точно рев просыпающегося зверя.

— Слышь, как ревет? — обратился Буран к Василью.— Вот оно: кругом-то вода, посередке беда... Беспременно море переплывать надо, да еще до переправы островом сколько идти придется... Гольцы, да тайга, да кордоны!.. На сердце у меня что-то плохо; нехорошо море-то говорит, неблагоприятно. Не избыть мне, видно, Соколиного острова, не избыть будет — стар! Два раза бегал; раз в Благовещенске, другой-то раз в Рассее поймали,— опять сюда... Видно, судьба мне на острову помереть.

— Авось не помрешь! — ободрил старика Василий.

— Молод ты, а я уж износился. Эх, море-то, море-то, как жалостно да сердито взыграло!

Из казармы номер семь вывели всех живших в ней каторжных и отвели ее новоприбывшим, приставив на первое время караул. Привыкши к тюремной неволе и крепким запорам, они непременно разбились бы по острову, как овцы, выпущенные из овчарни. Других, живших здесь подольше, не запирали: поглядевшись и ознакомившись с условиями, ссыльные убеждаются, что побег на острове — дело крайне рискованное, почти верная смерть, и потому на это дело отваживаются только исключительные удальцы, да и то после тщательных сборов. А таких, все равно, запирай не запирай — убегут, если не из тюрьмы, то с работы.

— Ну, Буран, советуй теперь,— приставал к Бурану Василий дня через три по приезде на остров,— ты ведь у нас старший будешь, тебе впереди идти, тебе и порядки давать. Чай, ведь запас нужно делать.

— Чего советовать-то,— ответил старик вяло.— Трудно... годы мои не те. Вот видишь ты: пройдет еще дня три, караулы поснимут, станут партиями в разные места на работы выводить, да и так из казармы выходить дозволяется. Ну, только с мешком из казармы не выпустят. Вот тут и думай.

— Ты придумай, Буранушка,— тебе лучше знать.

Но Буран ходил осунувшийся, угрюмый и опустившийся. Он ни с кем не говорил и только что-то бормотал про себя. С каждым днем, казалось, старый бродяга,

очутившийся в третий раз на старом месте, ослабевал все больше и больше. Между тем Василий успел подобрать еще десять охотников, молодец к молодцу, и все приставал к Бурану, стараясь расшевелить его и вызвать к деятельности. Порой это удавалось, но даже и тогда старик всегда сводил речь на трудность пути и дурные предзнаменования.

«Не избыть острова!» Это была постоянная фраза, в которой вылилась безнадежная уверенность неудачника бродяги. Тем не менее в светлые минуты он оживлялся воспоминаниями о прежних попытках, и тогда, в особенности по вечерам, лежа на нарах, рядом с Васильем, он рассказывал ему об острове и о пути, по которому придется идти беглецам.

Порт Дуэ расположен на западной стороне острова, обращенной к азиатскому берегу. Татарский пролив в этом месте имеет около трехсот верст в ширину; переплыть его в небольшой лодочке, понятно, нечего и думать, и потому беглецы поневоле направляются в ту или другую сторону по острову. Побег, собственно на острове, не труден. «Куда хошь ступай,— говорил Буран,— коли помирать хочется: остров большой, весь в гольцах, да в тайге. Гиляк инородец на что привычный человек, и тот не во всяком месте держится. На восток ежели пойдешь — заплутаешься в камнях: либо пропадешь, заклюет тебя голодная птица, либо сам к зиме опять сюда явишься. На полдень пойдешь — дойдешь до конца острова, а там море-окиян: на корабле разве переплыть. Одна нам дорога — на север, все берегом держаться. Море-то само дорогу укажет. Верст триста пройдем, будет пролив, узкое место; тут нам и переправу держать на амурскую сторону на лодках».

— Ну, только что скажу тебе, парень,— начинал Буран обычный унылый припев,— и тут трудно, потому что мимо кордонов идти придется, а в кордонах солдаты. Первый кордон Варки называется, предпоследний Панги, последний самый — Погиба. А почему Погиба? Больше всех тут нашему брату погибель. И хитро же у них кордоны поставлены: где этак узгорочек круто заворачивает, тут и кордон выстроен. Идешь, идешь да прямо на кордон и наткнешься. Не дай господи!

— Ну, да ведь уж два раза ходил, чай знаешь?

— Ходил, парень, ходил...— И потухшие глаза старика опять вспыхнули.— Ну, слушай меня, да делайте, как я велю. Станут скоро на мельницу на постройку

людей выкликать, вы все в то число становитесь; станут туда провизию запасать, и вы свои сухари да галеты в телегу складывайте. На мельнице-то Петруха сидит, из каторжных. От него вам и будет ход, с мельницы то есть. Три дня здесь вас не спохватятся, такой здесь порядок: три дня можно на перекличку не являться — ничего. Доктор от наказания избавляет, потому что, говорит, больница плохая; иной это притомится на работе, занеможет: чем ему в больницу идти, лучше он в кусты уйдет да там как-нибудь, на воздухе-то, и отлежится. Ну, а уж если на четвертый день не явился, то прямо считают в бегах. И сам после явишься, все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись.

— Зачем на кобылу? — сказал Василий.— Даст бог, уйдем, так уж охотой не вернемся.

— А не вернешься,— глухо заворчал Буран, и глаза его опять потухли,— не вернешься, так все равно воронье тебя расклюет в пади где-нибудь, на кордоне. Кордону-то небось с нашим братом возиться некогда; ему тебя не представлять обратно, за сотни-то верст. Где увидел, тут уложил с ружья — и делу конец.

— Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идем мы. Ты Боброву сказывай, чего надо,— артель отпустит.

Старик проворчал что-то в ответ и отошел, понурив голову, а Василий пошел к товарищам сказать, чтобы готовились. От должности помощника старосты он отказался ранее, и на его место уже выбрали другого. Беглецы уложили котомочки, выменяли лучшую одежду и обувь и на следующий день, когда действительно стали снаряжать рабочих на мельницу, они стали в число выкликаемых. В тот же день с постройки все они ушли в кусты. Не было только Бурана.

Отряд подобрался удачно. С Васильем пошел его приятель, который по бродяжеству носил кличку Володьки, Макаров, силач и хват, бегавший два раза с Кары, два черкеса, народ решительный и незаменимый в отношении товарищеской верности, один татарин, плут и проныра, но зато изобретательный и в высшей степени ловкий. Остальные были тоже бродяги, искусившиеся в путешествиях по Сибири.

Артель просидела в кустах уже день, переночевала, и другой день клонился к вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина в казарму; пробравшись туда тихонько, он вызвал старого арестанта Боброва, приятеля

Василья, имевшего в среде арестантов вес и влияние. На следующее утро Бобров пришел в кусты к беглецам.

— Что, братцы, как бы мне вам какую помощь сделать?

— Посылай непременно Бурана. Без него нам не ход. Да если чего просить станет из запасу — дайте. За Бураном у нас только и дело-то стало.

Вернулся Бобров в казарму, а Буран и не думает собираться. Суется по камере, сам с собою разговаривает да размахивает руками.

— Ты что же это, Буран, думаешь? — окликнул его Бобров.

— А тебе что?

— Как что? Почему не собрался?

— В могилу мне собираться, вот куда!

Бобров рассердился.

— Да ты что в самом деле! Ведь ребята четвертые сутки в кустах. Ведь им теперь на кобылу ложиться... А еще старый бродяга!

Заплакал от покоров старик.

— Отошло мое время... Не избыть мне острова... Износился!..

— Износился ты аль нет, это дело твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, за это никто не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек под плети, то обязан идти. Ведь мне стоит артели сказать, что тогда над тобой сделают?

— Знаю,— сказал Буран сумрачно,— сделают крышку, потому что сто́ю... Не честно старому бродяге помирать такою смертью. Ну, ин видно, идти мне доводится. Только вот ничего-то у меня не припасено.

— Все живою рукою будет. Что надо?

— А вот что: первым делом неси мне двенадцать хороших халатов, новых.

— Да ведь у ребят свои есть.

— Ты слушай меня, что я говорю,— заговорил Буран с сердцем,— знаю, что есть у них по халату, а надо по два. Гилякам за лодку с человека по халату придется. Да еще надо мне двенадцать ножей хороших, по три четверти, да два топора, да три котла.

Бобров собрал артель и объяснил, в чем дело. У кого были лишние халаты, все поступились в пользу беглецов. У всякого арестанта живуче какое-то инстинктивное сочувствие смелой попытке вырваться из глухих стен на вольную волю. Котлы и ножи нашлись частью

даром, частью за деньги у старожилов-ссыльных. Все было готово дня в два.

Со времени прибытия партии на остров прошло тринадцать дней.

На следующее утро Бобров доставил Бурана в кусты, вместе с запасом. Беглецы стали на молитву, отслужили нечто вроде молебна на этот случай по особому арестантскому уставу, попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу.

V

— Что же, небось весело было в путь отправляться? — спросил я, вслушиваясь в окрепший голос рассказчика, вглядываясь в его оживившиеся в этом месте рассказа черты.

— Да как же не весело! Как изошли из кустов, да тайга-матушка над нами зашумела — верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало. Один только Буран идет себе впереди, голову повесил, что-то про себя бормочет. Невесело вышел старик. Чуяло, видно, Бураново сердце, что не далеко уйти ему.

Видим мы с первого разу, что командёр у нас не очень надежный. Он хоть бродяга опытный и даже с Соколиного острова два раза бегал, да и дорогу, видно, знает: идет, знай, покачивается, по сторонам не глядит, ровно собака по следу,— ну, а все же нас с Володькой, с приятелем, сомнение берет.

— Гляди-ко,— говорит мне Володька,— с Бураном как бы на беду не напороться. Видишь: он не в себе что-то.

— А что? — говорю.

— А то, что старик как будто не в полном рассудке. Сам с собой разговаривает, голова у него мотается, да и распоряжениев от него никаких не видится. Нам бы давно уж хоть маленький привал сделать, а он, видишь, прет себе да прет. Не ладно, право!

Вижу и я, что не ладно. Подошли мы к Бурану, окликнули:

— Дядя, мол, а дядя! Что больно разошелся? Не пора ли привал сделать, прилечь, отдохнуть?

Повернулся он к нам, посмотрел да опять вперед пошел.

— Погодите, говорит, зачем торопитесь ложиться?

Вон в Варках, либо в Погибе уложат пулями — належитесь еще.

— Ах, чтоб те пусто было! — Ну все же спорить не стали, потому что он — старый бродяга. И притом сами видим, что не дело и мы затеяли: в первый-то день побольше уйти надо — тут не до отдыху.

Прошли еще сколько-то. Володька опять меня толкает.

— Слышь, Василий, дело-то все же не ладно!

— Что такое опять?

— До Варков-то, сказывали, двадцать верст; ну, уж мы восемнадцать-то верных прошли. Как бы на кордон не напороться.

— Буран, а Буран!.. Дядя! — кричим опять.

— Что вам?

— Варки, чай, близко.

— Далеко еще,— отвечает и опять пошел.

Была бы тут беда, да на счастие увидели мы — на речке челнок зачален стоит. Как увидели мы этот челнок, так все и остановились. Бурана Макар силой удержал. Уж ежели, думаем себе, челнок стоит, значит и житель близко. Стой, ребята, в кусты!

Вот вошли мы в тайгу, а на ту пору шли мы падью по речке; по одну сторону горы и по другую тоже горы, лиственью поросли густо. С весны с самой по Соколиному острову туманы теплые ходят, и в тот день с утра тоже туман был. А как взобрались мы на гору да прошли малое место верхами — дохнул из пади ветер, туман, как нарочно, в море и угнало. Смотрим мы: внизу за горкой кордон, как на ладонке, солдаты по двору ходят, собаки лежат, дремлют. Все мы тут ахнули: ведь без малого волку в пасть своею охотой не полезли.

— Как же, говорим, дядя Буран. Ведь это кордон.

— Кордон,— отвечает Буран.— Самые это Варки.

— Ну,— говорим мы ему,— уж ты, дядя, не прогневайся: хоть ты и старше нас всех, однако, видно, нам самим о себе промышлять надо. С тобой как раз беды наживешь.

Заплакал старик.

— Братцы! — говорит.— Стар я, простите ради Христа. Сорок лет хожу, весь исходился, видно; память временами отшибать стало: кое помню, а кое вовсе забыл. Не взыщите! Надо теперь поскорей уходить отсюда: не дай бог, за ягодой кто к кордону пойдет или ветер бродяжьим духом на собаку пахнёт,— беда будет.

Пошли мы дальше. Дорогой поговорили меж собой и все так порешили, чтобы за Бураном смотреть. Меня ребята выбрали вожатым; мне, значит, привалами распоряжаться, порядки давать; ну, а Бурану все же впереди идти, потому что он с дороги-то не сбивается. Ноги у бродяги привычные: весь изомрет, а ноги-то все живы — идет себе, с ноги на ногу переваливается. Так ведь до самой смерти все старик шел.

Шли мы больше горами; оно хоть труднее, да зато безопаснее: на горах-то только тайга шумит да ручьи бегут, по камню играют. Житель, гиляк, в долинах живет, у рек да у моря, потому что питается рыбой, которая рыба в реки ихние с моря заходит, *кыта́* называется. И столь этой рыбы много, так это даже удивлению подобно. Кто не видал, поверить трудно: сами мы эту рыбу руками добывали.

Так все и идем, нос-то по ветру держим. Где этак безопаснее, к морю аль к речке спустимся, а чуть малость сомневаться станем, сейчас опять на верхи. Кордоны-то обходим со всякою осторожностью, а кордоны-то стоят разно: где двадцать верст расстояние, а где и все пятьдесят. Угадать никак невозможно. Ну, все же как-то нас бог миловал, обходили все кордоны благополучно, вплоть до последнего...

VI

Рассказчик нахмурился и замолчал. Спустя некоторое время он поднялся с места.

— Что же дальше? — спросил я.

— Лошадь вот... Чай, уж просохла. Пора, пожалуй, спустить с привязи.

Мы оба вышли на двор. Мороз сдавал, туман рассеялся. Бродяга посмотрел на небо.

— Стожары-то высоко поднялись,— сказал он.— За полночь зашло.

Теперь юрты соседней слободы виднелись ясно, так как туман не мешал. Слобода спала. Белые полосы дыма тихо и сонно клубились в воздухе; по временам только из какой-нибудь трубы вдруг вырывались снопы искр, неистово прыгая на морозе. Якуты топят всю ночь без перерыва: в короткую незакрытую трубу тепло вытягивает быстро, и потому первый, кто проснется от наступившего в юрте холода, подкладывает свежих поленьев.

Бродяга постоял некоторое время в молчании, глядя на слободу. Затем он вздохнул.

— Вот и ровно бы село наше, право! Давно уж я села не видал. Якуты по наслегам живут, как звери в лесу, все в одиночку... Эх, хоть бы сюда мне перебраться, что ли. Может, и выжил бы здесь.

— Ну, а в наслеге разве не выживете? Ведь у вас хозяйство. Вот вы говорили, что довольны своим положением.

Бродяга ответил не сразу.

— Мочи моей нету, вот что! Не глядели бы глаза на здешнюю сторону.

Он подошел к коню, пощупал у него под гривой, потрепал по шее. Умный конек повернул к нему голову и заржал.

— Ну, ладно, ладно! — сказал Василий ласково.— Спущу сейчас. Смотри, Серко, завтра не выдай!.. В бега его завтра пущу с татарами. Конек хороший, набегал я его — теперь с любым скакуном потягается. Ветер!

Он снял недоуздок, и конь веселою рысцой побежал к сену. Мы вернулись в избу.

Лицо Василья сохраняло пасмурное выражение. Он как будто забыл или не хотел продолжать свой рассказ. Я напомнил ему, что жду продолжения.

— Да что рассказывать-то,— сказал он угрюмо,— не знаю, право... Нехорошо у нас вышло. Ну, да уж начал, так надо кончать...

...Шли мы уже двенадцать дён и все еще с Соколиного острова не вышли, а по-настоящему надо бы на восьмой день уже на амурскую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на командера своего надежды не имеем. Где бы ровным местом идти, берегом, а мы по верхам рыщем, по оврагам, по гольцам, да тайгой, да по бурелому... Много ли тут уйдешь? Вот и стала у нас провизия кончаться, потому что всего на двенадцать ден и запасали. Стали мы поначалу порции уменьшать; сухарей понемногу отпускали, и промышляй всяк для своей утробы как знаешь: ягоды-то по тайге много. И пришли мы таким родом к заливчику, лиман называемый. Вода в том заливчике соленая, а как припрет ину пору с Амуру, то и пресная бывает. Вот хорошо: надо в этом месте лодки добывать, на амурскую сторону переправу иметь.

Стали мы тут думать-гадать: где нам взять лодки? Приступили к Бурану: советуй! А Буран-старик прито-

мился у нас вовсе: глаза потускли, осунулся весь и никакого совету не знает. «У гиляков, говорит, лодки добывать надо», а где они, гиляки эти, и каким, например, способом лодки у них получить, этого не объясняет.

Вот и говорим мы с Володькой ребятам: «Погодите-ка вы здесь, а уж мы по берегу пойдем, может, на гиляков наткнемся: как-нибудь лодку ли, две ли промыслим. А вы тут, ребята, смотрите, ходите с опаской, потому что кордон, надо быть, поблизости находится».

Остались ребята, а мы втроем пошли по берегу. Шли-шли, вышли на утесик, глядим, а внизу, над речкой, гиляк стоит, снасть чинит. Бог нам его, Оркуна этого, послал.

— Это что же Оркун, имя, что ли? — спросил я рассказчика.

— Кто его знает? Может, и имя, а вернее, что старосту это по-ихнему обозначает. Нам неизвестно, а только как подошли мы к нему потихоньку (не сбежал бы, думаем), окружили его, он и стал тыкать себя пальцем в грудь: Оркун, говорит, Оркун; а что такое Оркун — мы не понимаем. Однако стали с ним разговаривать. Володька взял в руки палочку и начертил на земле лодку; значит, вот нам от тебя какой предмет требуется! Гиляк сообразил сразу; замотал головой и начинает нам пальцы казать: то два покажет, то пять, то все десять. Не могли мы долго в толк взять, что такое он показывает, а потом Макаров догадался:

— Братцы, говорит, да ведь это ему надо знать, сколько нас, какую лодку готовить.

— Верно! — говорим и показываем гиляку, что, мол, двенадцать нас всех человек. Замотал головой — понял.

Потом велит себя к остальным товарищам вести. Взяло нас тут маленько раздумье, да что станешь делать? Пешком по морю не пойдешь! Привели. Возроптали на нас товарищи: «Это вы, мол, зачем гиляка сюда-то притащили? Казать ему нас, что ли?..» — «Молчите, говорим, мы с ним дело делаем». А гиляк ничего, ходит меж нас, ничего не опасается; знай себе халаты пощупывает.

Отдали мы ему запасные халаты, он их ремнем перевязал, вскинул на плечи и пошел себе вниз. Мы, конечно, за ним. А внизу-то, смотрим, юртенки гиляцкие стоят, вроде как бы деревушка.

— Что ж теперь? — сумлеваются ребята.— Ведь он в деревню пошел, народ сгонять станет!..

— Ну, так что ж,— говорим мы им.— Их всего-то четыре юрты — много ли тут народу наберется? А ведь нас двенадцать человек, ножи у нас по три четверти аршина, хорошие. Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек — хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!

Ну, все-таки, надо правду говорить, маленько и у меня по сердцу скребнуло: не было бы какого худа. Вот, мол, и край Соколиного острова стоим, а приведет ли бог на амурской-то стороне побывать? А амурская-то сторона за проливом край неба горами синеет. Так бы, кажись, птицей снялся да полетел. Да, вишь, локоть и близок, а укусить — не укусишь!..

Вот хорошо. Подождали мы маленько, смотрим, идут к нам гиляки гурьбой. Оркун впереди, и в руках у них копья. «Вот видите,— ребята говорят,— гиляки биться идут!» — Ну, мол, что будет... Готовь, ребята, ножи. Смотрите: живьем никому не сдаваться, и живого им в руки никого не давать. Кого убьют, делать нечего — значит, судьба! А в ком дух остался, за того стоять. Либо всем уйти, либо всем живым не быть. Стой, говорю, ребята, крепче!

Однако на гиляков мы это подумали напрасно. Увидел Оркун, что мы сумлеваемся, обобрал у своих копья, одному на руки сдал, а с остальными к нам идет без оружия. Тут уж и мы увидали, конечно, что у гиляков дело на чести, и пошли с ними к тому месту, где у них лодки были спрятаны. Выволокли они нам две лодки: одна побольше, другая поменьше. В большую-то Оркун приказывает восьмерым садиться, в маленькую — остальным.

Вот мы, значит, и с лодками стали, а только переправляться-то сразу нельзя. Повеял с амурской стороны ветер, волна по проливу пошла крупная, прибой так в берег и хлещет. Никак нам в этих лодочках по этой погоде переехать невозможно.

И пришлось нам из-за ветру прожить на берегу еще два дня. Припасы-то между тем все прикончились, ягодой только брюхо набиваем, да еще Оркун, спасибо ему, четыре ю́колы дал — рыба у них такая. Так вот юколой этой еще сколько-нибудь питались. Честных правил, отличный гиляк был, дай ему, господи! И по сю пору о нем вспоминаю.

День прошел, все мы на берегу томимся. И до чего

досадно было, так и сказать невозможно. Ночь переночевали, на другой день — все ветер. Тоска донимает, просто терпеть нельзя. А амурская-то сторона из-под ветру-то еще явственнее выступает, потому что туман с моря согнало. Буран наш как сел на утесике, глазами на тот берег уставился, так и сидит. Не говорит ничего и ягод не собирает; сжалится кто над стариком, принесет ему ягоды в шапке — ну, он поест, а сам ни с места. Загорелось у старика бродяжье сердце. А может, и то: смерть свою увидал... Бывает!..

Наконец всем уже невтерпеж стало, и стали ребята говорить: ночью как-никак едем! Днем невозможно, потому что кордонные могут увидеть,— ну, а ночью-то от людей безопасно, а бог авось помилует, не потопит. А ветер-то все гуляет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, *старички* (птица такая, вроде чайки) над морем летают, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном стонет, море на берег лезет!

— Давайте, говорю, ребята, спать ляжем. Луна с полночи взойдет, тогда что бог даст, поплывем. Спать уж тогда немного придется, надо теперь силы наспать.

Послушались ребята, легли. Выбрали мы место на высоком берегу, близ утесу. Снизу-то, от моря, нас и не видно: деревья кроют. Один Буран не ложится: все в западную сторону глядит. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до ночи далеко. Перекрестился я, послушал, как земля стонет, как тайгу ветер качает, да и заснул.

Спим себе, беды и не чаем.

Долго ли, коротко ли спали, только слышу я: Буран меня окликает. Проснулся от сна, гляжу: солнце-то садиться хочет, море утихло, мóроки над берегом залегают. Надо мною Буран стоит, глаза у него дикие.

— Вставай, говорит, пришли уж... по душу, говорит, пришли!..— рукой этак в кусты показывает.

Вскочил я тут на ноги, гляжу: в кустах солдаты...

Один, поближе, из ружья целится, другой, подальше, подбегает, а с горки этак еще трое спускаются, ружья подымают. Мигом сон с меня соскочил; крикнул я тут громким голосом, и поднялись ребята сразу все, как один. Только успел первый солдат выстрелить, мы уж на них набежали...

Глухое волнение сдавило голос рассказчика; он по-

нурил голову. В юрте стояла полутьма, так как бродяга забыл подкладывать поленья.

— Не надо бы рассказывать,— сказал он тоном, в котором слышалось что-то вроде просьбы.

— Нет уж, все равно, кончайте! Что же дальше?

— А дальше... да что уж тут... сами подумайте: ведь их всего-то пять человек, а нас двенадцать. Да еще думали они нас сонных накрыть, все равно как тетеревей, а вместо того мы им и оглянуться-то и собраться в кучу не дали... Ножи у нас длинные...

Выстрелили они по разу наспех — промахнулись. Бегут с горки, и удержаться-то трудно. Сбежит вниз, а тут внизу мы его и принимаем...

— Верите вы? — как-то жалостливо проговорил рассказчик, поднимая на меня глаза с выражением тоски.— И оборониться-то они нисколько не умели: со штыками этак, как от собак, отмахиваются, а мы на них, мы на них, как лютые волки!..

Пхнул один солдат штыком меня в ногу, оцарапал только, да я споткнулся, упал... Он на меня. Сверху еще Макаров навалился... Слышу: бежит по мне кровь... Мы-то с Макаровым встали, а солдатик остался...

Поднялся я на ноги, гляжу — последние двое на пригорок выбежали. Впереди-то Салтанов, начальник кордона, лихой, далеко про него слышно было; гиляки — и те его пуще шайтана боялись, а уж из нашего-то брата не один от него смерть себе получил. Ну, на этот раз не пришлось... Сам себя потерял...

Было у нас два черкеса, проворны, как кошки, и храбрость имели большую. Кинулся один к Салтанову навстречу, в половине пригорка сошлись. Салтанов в него из револьвера выпалил; черкес нагнулся, оба упали. А другой-то черкес подумал, что товарищ у него убит. Как бросится туда же... Оглянуться мы не успели, он уж Салтанову голову напрочь ножом отмахнул.

Вскочил на ноги, зубы оскалил... в руках голову держит. Замерли мы все тут, глядим... Скрикнул он что-то по-своему, звонко. Размахал голову, размахал и бросил...

Полетела голова поверх деревьев с утесу... Тишина у нас настала, стоим все ни живы ни мертвы и слышим: внизу по морю плеск раздался — пала голова в море.

И солдатик последний на пригорке стоит, остановился. Потом ружье бросил, закрыл лицо руками и убежал. Мы и не гонимся: беги, бог с тобой! Один он,

бедняга, на всем кордоне остался, потому что было двадцать человек. Тринадцать на амурскую сторону за провизией поехали, да из-за ветру не успели еще вернуться, а шестерых мы уложили.

Кончилось все, а мы испугались, никак сообразиться не можем, друг на друга глядим: что же, мол, это такое — во сне али вправду? Только вдруг слышим: сзади, на том месте, где спали мы, под деревом, Буран у нас стонет...

А Бурана нашего первый солдат из ружья убил. Не вовсе убил — помаялся старик еще малое время, да недолго. Пока солнце за гору село, из старика и дух вон. Страсть было жалко!..

Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дождаться, а то как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».

— Что ты, что ты, дядя Буран! — говорю ему.— Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем... Бог с тобой.

— Нет уж, братец,— отвечает старик,— против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острову, видно. Так пусть уж... чуяло сердце... Вот всю-то жизнь почитай все из Сибири в Рассею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острову проклятом...

Подивился я тут на Бурана — совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.

— Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать, да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно — пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Рассее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь — эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне



рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острову с гиляками, заехал с товарами в горы, да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застукали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки... В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот заслышали мы, что русской человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. «Должон я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать...» И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его — счастливы будете и всякую помощь получите.

Вот рассказал нам старик все дороги, наставления дал, а потом говорит:

— Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!

Послушались мы.

Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роем; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сравняли.

Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки... За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедра стоит...

VII

Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова... вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой

головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему, каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь...

Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, ворота заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим: вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»

— Бродяжки, говорим, от Бурана Стахею Митричу поклон принесли.

А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии — сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, все удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»

А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.

— Ах, братцы, говорит, не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!

— Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном.

— А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?

— Попал, говорим, да приказал долго жить.

— Ну, царство ему небесное... Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?

— Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-от свое имя забыл, потому что бродяге не к чему.

— То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать, и то не знает, как на-

звать... тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки.

— Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей...

— Горькая ваша жизнь — ох, горькая!

— Чего горше: едим прошеное, носим брошеное, помрем — и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне — зверь сожрет, птица расклюет... Кости — и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?

Пригорюнились мы... Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим,— потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит,— ну, а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать... в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да точно нечисть болотная с петухами от крещеных людей хорониться.

— Ну, однако, ребята,— говорит приказчик,—пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению, что следует, получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану — трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчету. А то как бы с вами беды не нажить... Смотрите, в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. «Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов-соколинцев изымаю». Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите.

Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько, да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать — до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.

Ох, и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая... дождем тебя моет, ветром тебя сушит и на всем-то, на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту... Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает.

А начальства-то много, да начальство-то строго... Долго ли на родине погуляешь — опять тюрьма!

Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право... Вот и в ту ночь идем-идем, вдруг Володька и говорит:

— А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?

— Это ты про кого, мол?

— Да наши, на Соколином острову, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут... Эх, не надо бы и ходить-то...

Прикрикнул я на него. «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий,— на других тоску нытьем нагоняешь».

А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем — дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами — нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь... Потянусь — и сна не бывало...

Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало — ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.

Проснулся я от этого сна — кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской — глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымется, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает — значит, скоро заря, и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то — может, и сами слышали,— никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет... Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему не привычны.

Стали ближе к Николаевскому подаваться; заимки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не то что человек — зверь не прорыщет, птица не пролетит.

Николаевск-город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это вольная команда[1] с сетями рыбу ловит. Ну, и мы без страху подходим.

— Здорово, мол, господа, вольная команда!

— Здравствуйте,— отвечают.— Издалеча ли бог несет?

Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:

— Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова «накрыли»?

Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хошь и свой брат, да в этаком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например, перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком — он ведь вольный. В тюрьмах у нас все фискалы наперечет — чуть что, сейчас уж знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?

Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:

— Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это,— право,— беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше... Пройдете мимо — счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?

— Пожалуй, говорю, лишний не помешает.

— Берите артельный... Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать.

Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются... Плачем... И то дорого, что припасами наделил, а еще

---

[1] Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами.

пуще того дорого, что доброе слово услыхали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.

Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.

Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил... над рекой... Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж к вечеру подошло, глядишь и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.

Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и следует.

На счастье наше, жил в то время в городу старичок чиновник. Был он в прежнее время в N тюремным смотрителем. А в N тюрьма большая, народу в ней перебывало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное, только ругаться любил... Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, и никакого страху от него не было. Уважали ему, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копейкой артельной не прибытчился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была не малая... Имел доход порядочный...

В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокое, в собственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем време-

нем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»

Проходили тут двое из вольной команды, подозвал он их и спрашивает:

— Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?

— Нет,— говорят те,— не в Дикманской пади. Ноне им повыше надо быть. Да и то, никак, вольной команде нонче в город возвращаться.

— То-то вот и я думаю... А видите, вон, огонек за рекой горит?

— Видим.

— Кому же у того огня быть? Как, по-вашему?

— Не могим знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие.

— То-то, проходящие... Нет у вас, подлецов, догадки о своем брате подумать, все я об вас обо всех думай... А слыхали, что исправник третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече... Не они ли это, дурачки, огонь развели?

— Может статься, Степан Савельич. Не диво, что и они развели.

— Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзавцев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку...

Вот, сидим мы у огня, ухи дожидаемся — давно горячего не видали. А ночь темная, с окияну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо... Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь — родная матушка; на небе темнее — на сердце веселее.

Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокарда поблескивает.

— Ну, говорю, ребята, пропали наши головы... Исправник!

Вскочили все, котлы опрокинули — в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбегаться. Посмотрим, мол,

что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:

— Что, дурачки, разбежались? Небось выйдете все,— я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают, как зайцы!

Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.

— Слышь, говорит, Василий? Чудное дело: голос у исправника будто знакомый.

— Молчи, говорю, что еще будет. Немного их.

Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:

— Эй, вы, не бойтесь!.. Кого вы в здешнем остроге знаете?

Притаили мы дух, не откликаемся.

— Да что вы это, лешие! — окликает тот опять.— Сказывайте, кого вы в здешнем остроге знаете, может и нас узнаете тоже.

Отозвался я.

— Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видать, может, и нам, и вам лучше бы было. Живьем не дадимся.

Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро — сила-то наша. Беда только, думаю, как начнут из револьверов палить,— в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать! Без бою все-таки не дадимся.

Тут старик сам заговорил:

— Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?

Дарьин опять меня толкнул:

— Верно! Кажись, это N-ской смотритель... А что,— спрашивает громко,— вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?

— Как, мол, не знать — старостой у меня в N находился. Федотом, кажись, звали.

— Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш.

Тут все мы вышли.

— Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся.

— Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали, прямо против города огонь развели?

— Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик.

— Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше исправника вышел на крылечко, трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то... Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, востры, даром, что Салтанова поддели, кан-нальи этакие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!

Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся. Потом перестал кричать и говорит:

— Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного, да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может доведется кому в Тобольске побывать — поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать, потому что за женой дом у меня взят... Ну, и стар уж... А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну, а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?

— Одиннадцать,— говорим.

— Ну, и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всею партией и прете.

Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подальше в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздуванили припасы и распрощались — старика-то послушались.

Мы с Дарьиным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы, или помер кто. Про татарина слыхал, будто тоже сюда прислан, а верно ли — не знаю.

В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьиным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней заимке взлаяла.

А как стало солнце всходить, мы уж верст десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим — колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим, бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.

Перекрестились мы тут с Дарьиным: слава те господи, что вечор его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал.

VIII

Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова, и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.

Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетавшие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.

Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И ото всей этой молчаливой, объятой холодом картины веяло в душу снисходительною грустью — казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: далеко, далеко!

Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал и в юрте слышалось его ровное дыхание.

Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Его грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что надо мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге, а между моим глазом и белою стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах

гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.

Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме — не трудностью пути, не страданиями, даже не лютою бродяжьей тоской, а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахну́ло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимым желанием чаши?

Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю... Куда?

Да, куда?..

В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы... Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая, тяжелая туча... Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари, да где-то далеко, под задумчиво синеющими горами, стоит огонек...

Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающею во мраке могилой?..

Заснул я очень поздно.

IX

Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.

Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запрег коня в маленькие саночки и выехал из

своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но... все в мире относительно, и то самое, что в других местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступавшей весны. Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми, неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы,— их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.

Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и так как в тот день у татар был праздник, то улица имела довольно оживленный вид. То и дело где-нибудь скрипели ворота, и со двора выезжали дровни или выбегали рысцой верховые лошади, на которых, раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета не особенно строго блюдут запрещение Корана, и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственною фигурой, волочась на вожжах. Не сдержать коня и вывалиться с дровней — это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.

Но вот прямая, как стрела, улица приходит в какое-то особенное, суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие сторонятся, татарки в красных чадрах, нарядные и пестрые, сгоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.

На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал *бега,* до которых и якуты, и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались, как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня, как ветер.

Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и не-

истово кричали, отдавшись всем корпусом назад, почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-рассейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучавшие резко, как удары хлыста. Серый конек почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.

Сочувствие улицы, как всегда в этих случаях, склонилось на сторону победителя.

— Эх, удалой молодца! — вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дикого спорта, приседали и хлопали себя по коленам, в такт ударам лошадиных копыт.

В половине улицы Василий догнал меня, возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.

Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже выпивши.

— Закутил! — крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.

— Дело ваше...— ответил я.

— Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, переметы мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану — не давай! Слышишь?

— Слышу,— ответил я холодно,— только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.

— Не придем,— ответил бродяга и хлестнул коня концом повода. Конек захрапел, взвился, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне.

— Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!

— Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?

— Продаю — подошла линия!

Он опять хлестнул коня и опять удержал его.

— Собственно, потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх, мил-лай! Посмотри вон, татарин едет, вон на чалом жеребчике... Эй, ты,— крикнул он ехавшему сзади татарину,— Ахметка! Подъезжай-ка сюда.

Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем

татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.

Плутоватая рожа Ахметки вся расцветала широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на собеседника с плутовской фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга,— как будто говорил каждому этот взгляд.— Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом ловким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.

— Товарища! — кивнул он головой на Василья.— Вместе бродяга ходил.

— А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.

— За бумагам пришел. Приискам ходим, спирту таскаем [1].

Я взглянул на Василья. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.

— Уйду с ним в тайгу... Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!..

Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице, вместе с частым топотом лошадиных копыт.

Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.

1885

---

[1] Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел — спиртоносов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы, и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей же братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы.

ФЕДОР БЕСПРИЮТНЫЙ

Из рассказов о бродягах

I

Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на «возгорок».

По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц взбегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги; но на склоне, меж дерев и ветвей, виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах...

Вечерело. На землю налегала прохлада; кругом все как-то стихло, темнело, заволакивалось синевой, и только кусок широкой дороги меж зеленью елей и лиственниц весь будто шевелился, кишел серыми арестантскими фигурами, звенел кандалами.

Партия растянулась почти на версту. Арестанты разбрелись по сторонам, избегая дорожной пыли, которую взбивала главная масса, двигавшаяся по тракту. Впереди всех, в голове отряда, шли кандальные; телеги с женщинами, детьми и больными перемешались с пешеходами. По опушкам придорожной тайги слышались голоса, хотя и не особенно оживленные. Партия шла вольно; солдаты частью спали в телегах, свесив оттуда ноги в сапогах бураками, частью же мирно беседовали друг с другом, беспечно покуривая на ходу цигарки из простой бумаги с махоркой; офицера совсем не было видно. Партия шла на слово старосты Федора, по прозванию Бесприютного...

Голова партии дотянулась уже до вершины холма. Федор Бесприютный взошел туда и, остановившись на гребне, откуда дорога падала книзу, окинул взглядом пройденный путь, и темневшую долину, и расползшуюся партию. Затем он выпрямился и крикнул арестантам:

— Ну, подтягивайся, ребята, подтягивайся! Недалече уже! Хлестни лошадей, подводы! Хлестни лошадей... Близко!..

Под влиянием этого окрика партия зашевелилась быстрее.

Из кустов выбегали арестанты, телеги встряхнулись, и сапоги бураками заболтались на рысях в воздухе.

Серые разбросанные кучки, оживлявшие дорогу,

стягивались в одну плотную массу, которая катилась кверху, туда, где, рисуясь на холодевшем небе, виднелась фигура высокого сгорбленного человека.

II

Обок дороги шел по траве молодой человек, одетый не в арестантское, а в свое собственное платье. Уже это обстоятельство выделяло его из остальной серой массы: его клетчатые брюки, запыленные ботинки, круглая шляпа котелком, из-под которой выбивались мягкие белокурые волосы, синие очки — все это как-то странно резало глаз, выступая на однообразном фоне партии. Но — помимо этого — фигура была несколько странна: молодой человек в круглой шляпе шел ровным шагом, выступая немного по-журавлиному, как ходят люди, выработавшие свою походку в кабинете. Теперь он, видимо, сознавал, что он уже не в кабинете, и прилаживал свой шаг к ходу партии. Ему это удавалось, и он был доволен, что сказывалось во всей его фигуре. Он не просто шел, а как бы свершал нечто важное, и это сознание придавало всей солидно и широко шагавшей фигуре оттенок неотразимого комизма. Черты его лица были тонки, губы легко складывались в какую-то нервную, несколько кривую, но все же очень добрую улыбку. Но синие глаза всегда глядели серьезно, задумчиво, а высокий лоб придавал верхней части лица характер спокойной, ничем не возмутимой мысли.

Его отношения к партии тоже были отмечены характером двойственности и противоречий. Барину полагалась подвода, но он ею никогда не пользовался, и партия завладела телегой для своих надобностей. Его присутствие как будто игнорировалось, но месте с тем, когда чудной барин подходил к кому-нибудь одному или к целой кучке арестантов, люди как будто смущались и робели. Когда думали, что он не видит,— то подталкивали друг друга локтями и смеялись, но всякий, на ком останавливался этот задумчивый взгляд, как-то терялся и будто чувствовал, что где-то что-то не ладно.

— Почему вы делаете то или другое? — спрашивал он иногда об артельных порядках, далеко не всегда, по его мнению, соответствовавших справедливости.

— Да ведь оно уже заведено,— мямлили арестанты.

Молодой человек задумывался и через несколько минут произносил:

— Но ведь это несправедливо.

— Д-да уж... не очень чтобы правильно, что говорить...

— Значит, надо переменить,— замечал молодой человек, как бы удивляясь, что логическая победа далась так легко, даже без спора.

— Да ведь как уж... не нами заведено... невозможно менять,— возражали арестанты, и губы молодого человека нервно вздрагивали. Он смотрел на людей своим испытующим взглядом, как будто разыскивая в них что-то затерянное. Этот взгляд очень смущал партию: все чувствовали, что этот барин в сущности младенец, но вместе с тем чувствовали также, что среди них есть человек, который обдумывает каждый их поступок, чуть не каждое слово. Это стесняло партию, но никто не чувствовал против барина недоброжелательства. Вначале выходили иногда споры, так как он сам решительно отказывался подчиняться тем правилам, о которых шла речь, как о несправедливых и неразумных. Но впоследствии на молодого человека махнули рукой. Даже более — смеясь за глаза над барином как над юродивым, партия незаметно меняла тон своих отношений. Цинизм и разгул стихали порой не в силу сознания, но просто потому, что ощущение пристального анализирующего взгляда разлагало непосредственные чувства грубой толпы и умеряло широту размаха.

Так этот странный человек совершал свой путь с людьми и вместе одинокий. Он вместе с другими выходил поутру с этапа и вечером, усталый, запыленный, приходил на другой, всю дорогу думая о чем-то, наблюдая, порой дополняя свои размышления расспросами. Вопросы были непонятны арестантам, а когда, получив ответ, он кивал головой, будто утверждаясь в своей догадке,— собеседники переглядывались друг с другом. А молодой человек шел опять своей дорогой, не глядя по сторонам, весь поглощенный какой-то внутренней работой.

Теперь рядом с молодым человеком, держась за его руку, шел мальчик лет пяти, одетый не совсем по росту. Рукава какой-то кацавейки были завернуты на детских руках, талия перевязана белым платком; таким же платком перевязан подбородок, большой картуз, с об-

ширным козырьком, из-под которого глядели простодушные синие глаза ребенка. Он старался шагать широко, чтобы не отставать от остальных.

— Так тебя, значит, зовут Мишей? — спрашивал молодой человек, глядя вперед и о чем-то думая.

— Мишей,—повторил мальчик.

— Чей же ты?

— Мамкин... Вот,— указал ребенок на одну из телег, где сидела женщина с ребенком на руках. Она кормила ребенка грудью и в то же время следила взглядом за Мишей, который разговаривал с барином. Эта женщина примкнула к партии на одном из ближайших этапов, недавно оправившись от болезни.

— Куда же вы идете? — спросил опять молодой человек.

— К тятьке идем,— ответил мальчик с детской беспечностью в тоне.

— А кто твой тятька?

Этот вопрос несколько затруднил мальчишку.

— Тятька-то? — переспросил он.

— Да... кто твой тятька?

— Тятька!..— ответил мальчик просто, с полной уверенностью, что этим сказано все, что нужно.

— Глупый, не умеешь барину ответить,— наставительно вмешался шедший невдалеке чахлый арестант и как-то снисходительно-заискивающе улыбнулся барину.

— Глуп еще, не понимает,— пояснил он за ребенка, пользуясь случаем, чтобы вступить в разговор.— А ты говори: посельщик, мол, тятька, вот кто.

Мальчишка вскинул глазами на говорившего и, как будто недоумевая, почему к имени его тятьки прибавляют незнакомое слово,— опустил опять глаза и проговорил угрюмо:

— Нет, тятька он...

Семенов (так звали молодого человека) утвердительно кивнул головой, как будто находя ответ вполне удовлетворительным.

— Глупый младенец, дозвольте вам сказать,— вмешался опять чахлый арестант тем же заискивающим тоном. Он тоже примкнул к партии недавно. Если бы не это обстоятельство, он знал бы, что Семенов, если и барин, то не такой, от которого можно поживиться. Но, не успев узнать этого, чахлый арестант все время терся около барина, подыскивая удобный случай для уни-

женной просьбы, в надежде получить полтину-другую ради своего сиротства. Теперь он желал помочь в том же смысле младенцу.

— Кабы ты не глуп был,— наставлял он,— ты бы сказал барину: к посельщику, мол, идем... должна наша жизнь быть теперича самая несчастная, вот что.

Семенов нервно повел плечами и, повернувшись к арестанту, сказал:

— Идите, пожалуйста, своей дорогой.

Чахлый арестант съежился и отошел в сторону, а мальчишка, еще ниже опустив голову, повторил упрямо:

— К тятьке, к тятьке...

— Верно,— сказал молодой человек, и в его голове зароились невеселые мысли.

«Да,— думал он, шагая вдоль дороги,— вот целая программа жизни в столкновении двух взглядов на одного и того же человека: тятька и посельщик... Для других это — посельщик, может быть, вор или убийца, но для мальчишки он — отец и больше ничего. Ребенок по-прежнему ждет от него отцовской ласки, привета и наставления в жизни. И так или иначе он найдет все это... Каковы только будут эти наставления?..»

Молодой человек оглядел бойко шагавшего мальчишку своим задумчивым взглядом.

«Да,— продолжал он размышлять,— вот она, судьба будущего человека. Она поставила уже мальчишку на дорогу. Тятька и посельщик... Две координаты будущей жизни... Любовь сына, послушание отцу — две добродетели, из которых может выработаться целая система пороков. Житейский парадокс, и этот парадокс, быть может, воплотится в какую-нибудь мрачную фигуру, которая возникнет из этого мальчика с такими синими глазами...»

Дальнейшая нить размышлений молодого человека была прервана окриком арестантского старосты. Партия зашевелилась, и Семенов посадил Мишу на телегу рядом с матерью. Сам он на мгновение остановился и посмотрел в том направлении, где виднелась фигура Бесприютного. Казалось, фигура эта вновь вызвала в его голове новую нить размышлений.

III

Трудно сказать почему, но именно эта минута, именно этот кусок пути запечатлелся в его памяти с особенной яркостью, и каждый раз, когда он вспоминал впоследствии о Федоре Бесприютном, в его воображении тотчас оживали холмик, и расстилавшиеся у его подножья луга, тихо лежавшие под лучами заката, и холодок близкой ночи, и высокий силуэт человека, стоявшего вверху... И этот голос, звучавший своеобразным, странным призывом.

«Близко!..» Что же близко? Этап, один из многих сотен этапов на расстоянии тысячеверстного длинного и трудного пути! Странное утешение! Солнце закатывается, день отходит, партия тянется по дороге. И завтра, и через неделю, и через месяц — то же солнце увидит тех же людей на такой же, только, быть может, еще более трудной дороге — что за дело? Что за дело, если путь бесконечно длинен, если он пролегает через знойное лето и через холодную страшную сибирскую зиму? Что за дело, если старик, который теперь еле выносит летнее путешествие, наверное не вынесет осеннего. Что за дело, если ребенок, рожденный на этапе весной, умрет на другом этапе осенью. Что за дело и до того, что в конце пути для тех, кто его выдержит, лежит каторжный труд или горькая доля изгнания!

Что за дело! Солнце садится, и отдых близок! — вот что слышалось Семенову в голосе вожака арестантской партии.

Молодой человек ускоренной, но ровной походкой обогнал телеги и подошел к Федору.

— Скоро придем? — спросил он.

— Недалече,— ответил Федор.— Вот в эту падушку [1] спустимся, да опять на узгорочек подымемся. Там от кривой сосны за поворотом всего полверсты будет.

— Да уж Бесприютный знает,— льстиво заговорил тот же чахлый арестант, поспевший за барином.— Чать, Бесприютному этой дорожкой не впервой иттить.

Арестант, очевидно, хотел польстить опытному бродяге, но суровое лицо Бесприютного, с резкими чертами, с морщинами около глаз, осталось таким же неподвижно суровым. Он осматривал внимательным взглядом свою ватагу. Он знал, конечно, что в партии, которую он

[1] От слова п а д ь — долина.

вел, не может быть побега. Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т. д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом. Но, не опасаясь побегов, Бесприютный боялся, что шпанка разбредется по лесу, пожалуй, кое-кто заблудится и отстанет, и таким образом партия явится к этапу не в полном составе. А этого он не любил. Он дорожил своею репутацией; ему было бы неприятно, если бы про Бесприютного сказали, что у него в партии беспорядок.

Но этого не случилось; все были налицо; вот, звеня кандалами, подходят каторжане; громыхая, подъезжают подводы с женщинами и детьми; сгрудившись плотной кучей, всходят на пригорок пешие арестанты. И Бесприютный, окончив осмотр, опять двинулся вперед своей развалистой, характерной походкой бродяги.

Шестьдесят верст на круг в сутки — такова была эта походка. Так идет человек, у которого нет ближайшей цели. Он не торопится, чтобы прийти до ночи, чтобы не опоздать к обедне в храмовой праздник, чтобы поспеть к базару. Он просто — идет. Дни, недели, месяцы... По хорошей и по дурной дороге, в жару и слякоть, гольцами и тайгой, и ровною Барабинскою степью, бродяга все идет к своей неопределенной далекой цели... Он не торопится, потому что торопиться всю жизнь невозможно. Самое страстное, самое горячее стремление — в эти долгие месяцы и годы уляжется в привычные, размеренные, бессознательно рассчитанные движения. Туловище подается вперед, будто хочет упасть, но следующий шаг несет его дальше, и так, покачиваясь на ходу, уставившись перед собой глазами, согнув спину с котелком и котомкой,— отмеривает бродяга шаг за шагом эти бесконечные и бесчисленные версты... Эта ровная, неторопливая, хотя и довольно быстрая походка входит в привычку, и теперь, когда Семенов смотрел на фигуру шедшего впереди Бесприютного, ему виделось в этой сгорбленной фигуре что-то роковое, почти символическое. Молодой человек опять кивнул головой: «Понимаю,— подумал он,— выражение этой походки состоит в том, что человек не идет по своей воле, а как будто

отдается с полным фатализмом неведомому пространству».

Серые халаты с тузами и буквами на плечах — вообще нивелируют всю эту массу. В первое время свежему человеку все эти люди кажутся будто на одно лицо, точно бесконечное повторение одного и того же тюремного экземпляра. Но это только первое время. Затем вы начинаете под однообразной одеждой замечать бесконечные различия живых физиономий; вот на вас из-под серой шапки глядят плутоватые глаза ярославца; вот добродушно хитрый тверитянин, не переставший еще многому удивляться и то и дело широко раскрывающий голубые глаза; вот пермяк с сурово и жестко зарисованными чертами; вот золотушный вятчанин, прицокивающий смягченным говором. Вы начинаете различать под однообразной оболочкой и разные характеры, и сословия, и профессии — все это выступает, точно очертания живого ландшафта из-под серого тумана.

Но, смотря на Бесприютного, трудно было решить — что это за человек, кем был он раньше, пока не надел серого халата. Тогда как на большинстве арестантов казенное платье сидело как-то неуклюже, не ладилось, топорщилось и слезало — на Бесприютном все было впору, сидело ловко, точно на него шито. Большие руки, дюжая фигура, грубоватые движения... как будто крестьянин. Но ни одно движение не обличало в нем пахаря. Не было заметно и мещанской юркости, ни сноровки бывшего торговца. Кто же он? Семенов долго задавался этим вопросом, но наконец теперь, поняв по-своему выражение его походки, он решил, что перед ним бродяга.

Бродяга — и ничего больше! Все характерные движения покрывались одной этой бродяжной походкой. Глаза Федора глядели не с мужицкой наивностью, в них заметна была своего рода интеллигентность. Ни роду, ни племени, ни звания, ни сословия, ни ремесла, ни профессии — ничего не было у этого странного человека. Он, как и мальчишка, с которым Семенов только что беседовал, пошел в Сибирь за отцом, бывшим крестьянином. Рос он дорогой, окреп в тюрьме, в первом побеге с отцом возмужал и закалился. Тюрьма и ссылка воспитали этого человека и наложили на него свой собственный отпечаток. Пройти столько, сколько прошел бродяга, видеть стольких людей, скольких он видел,— это своего

рода школа, и она-то дала ему этот умный наблюдательный взгляд, эту немужицкую улыбку. Но эта школа была трагически одностороння: люди, которых он изучал, были не те, что живут полной человеческой жизнью; это были арестанты, которые только *идут*, которых только *гонят*. Правда, во время бродяжества он сталкивался и с сибиряками, живал по деревням и на заимках. Но опять и тут настоящая жизнь для бродяги была закрыта. Его дом — не изба, а баня на задах; его отношения к людям — милость или угроза. Он знал, в какой стороне чалдон живет мирный и мягкосердный; в каких деревнях бабы ревут ревмя, заслышав заунывный напев «Милосердной» [1], и где бродяге надо идти с опаской; знал он, где для бродяжки готов хлеб «на поличке» и где встретят горбача винтовкой. Но жизнь семьи, круговая работа крестьянского года, житейские радости, печали и заботы — все это катилось стороной, все это миновало бродягу, как минует быстрое живое течение оставленную на берегу продырявленную и высохшую от солнца лодку.

Эти характерные бродяжьи черты в Федоре Бесприютном соединились с замечательной полнотой, и немудрено: ведь он не знал другой жизни — жизнь сибирской дороги владела его душевным строем безраздельно. Но, кроме этих характеристических черт, было в фигуре Бесприютного еще что-то, сразу выделявшее его из толпы. Каждая профессия имеет своих выдающихся личностей.

Бесприютный представлял такую личность бродяжьей профессии. Каторжная, скорбная дорога овладела в его лице недюжинной, незаурядной силой.

В волосах Федора уже виднелась седина. На лбу прошли морщины; резкие морщины обрамляли также глаза, глядевшие из глубоких впадин каким-то особенным выдержанным взглядом. Казалось, человек, смотрящий этим странным взглядом, знает о жизни нечто очень горькое... Но он таит про себя это знание, быть может, сознавая, что оно под силу не всякому, и, быть может, именно в этом сдержанном выражении, глядевшем точно из-за какой-то завесы на всякого,

---

[1] «Милосердная» — арестантская песня с чрезвычайно унылым напевом. «Партионные» и бродяги запевают ее, проходя по улицам деревень и выпрашивая подаяния.

к кому обращался Федор Бесприютный с самыми простыми словами, скрывалась главная доля того обаяния, которое окружало вожака арестантской партии.

— Бесприютный знает! Бесприютный зря слова не скажет,— говорили арестанты.

И каждое слово человека, глядевшего этим спокойным, сдержанным, знающим взглядом, приобретало в глазах толпы особенную авторитетность. Ко всякому самому простому слову Федора (он был вообще неразговорчив), кроме прямого его значения, присоединялось еще нечто... Нечто неясное и смутное прикасалось к душе слушателя, что-то будило в ней, на что-то намекало. Что это было — слушатель не знал, но он чувствовал, что Федор Бесприютный что-то знает... Знает, но не скажет, и поэтому в каждом его слове слышалось нечто большее обыкновенного смысла этого слова.

В лицо он знал в партии всех, но друзей и товарищей у него не было. Ближе других сошлись с ним два человека, но и с теми соединяли его особые отношения. Первым был старый бродяга, Хомяк, вторым — барин.

Бродяга Хомяк был дряхлый старик. Сколько ему было лет — сказать трудно, но он не мог уже ходить и следовал на подводе. Одна из телег, именно та, на которой помещался старик, служила предметом особенных попечений старосты. Он сам настилал в ней солому, прилаживал сиденье, сам выносил с этапа и усаживал старого бродягу. В продолжение пути он то и дело подходил к этой телеге и подолгу шел рядом с нею. Никто не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Бесприютный только пощупывал сиденье и шел, держась за переплет телеги. Хомяк сидел, свесив ноги, боком к лошадям, и смотрел неизменно перед собою неподвижным взглядом. Его руки лежали на коленях, ноги бессильно болтались, спина была сгорблена. Густая шапка только наполовину седых волос странно обрамляла темное обветренное лицо, на котором тусклые глаза совсем терялись, что придавало лицу выражение особенного бесстрастия. Картина за картиной менялись, появляясь и исчезая, но эти выцветшие глаза смотрели на все одинаково равнодушно. Старик мог видеть и слышать, но как будто не хотел уже ни глядеть, ни прислушиваться. Он мог говорить, но до сих пор Семенов ни разу еще не слыхал звуков его голоса. От всей фигуры веяло каким-то замогильным безучастием; не было в ней даже ни одной черты страдания: в холод и жар, в дождь

и непогоду — он сидел одинаково сгорбившись и по временам только постукивал пальцем одной руки по другой. Это было единственным проявлением жизни в этой старчески невозмутимой фигуре.

Арестанты говорили, что Федор Бесприютный приходится Хомяку товарищем по прежним бродяжествам.

IV

На одной из телег, среди всякой арестантской рухляди, лежал белый чемоданчик, принадлежавший Семенову. Иногда на этапе он просил старосту принести чемодан, чтобы переменить белье и взять что нужно, и Федор, исполнявший очень внимательно все его просьбы, обыкновенно сам приносил просимое. Этот чемодан и послужил первым поводом для их сближения.

За несколько дней до описываемого случая молодой человек попросил принести чемодан. Федор принес и отошел было, как всегда, пока молодой человек разбирался, но, оглянувшись как-то, староста увидал, что Семенов открыл одну из крышек и стал разбирать книги. Вынув одну их них, он закрыл чемодан и лег с книжкой на нарах. Федор посмотрел несколько секунд будто в нерешительности, потом подошел к Семенову и сказал:

— Книжки у вас?

— Книжки,— ответил Семенов и, взглянув на Федора из-за страницы, спросил: — А вы читаете?

— Мерекаю самоучкой,— сказал бродяга, приседая у чемодана и без спроса открывая крышку. Семенов смотрел на это, не говоря ни слова. Федор стал раскрывать одну книгу за другой, просматривая заглавия и иногда прочитывая кое-что из середины. При этом его высокий лоб собирался в морщины, а губы шевелились, несмотря на то, что он читал про себя. Видно было, что чтение стоило ему некоторого усилия.

— Нельзя ли и мне какой-нибудь книжечки почитать? — спросил он, продолжая перелистывать книги одну за другой.

Молодой человек приподнялся.

— Возьмите,— сказал он живо и как будто обрадовавшись,— не знаю только, найдете ли вы что-нибудь интересное.

— Ну, ничего,— сказал снисходительно бродяга,—



все-таки время провести. Конечно, и в книгах тоже... настоящего нету.

— Настоящего? — удивился Семенов.— Как это странно! Каждая книга говорит о каком-нибудь одном предмете, и, если бы у меня их было побольше, вы, вероятно, нашли бы, что вам нужно.

Бродяга слегка усмехнулся, и в его глазах промелькнул мгновенно огонек, опять в них засветилось такое выражение, как будто бродяга знает и по этому предмету кое-что, но возражать не желает.

— Читал я их,— продолжал он, помолчав и попрежнему рассматривая книги,— немало читал. Конечно, есть занятные истории, да ведь, поди, не все и правда... Вот тоже у поселенца одного, из раскольников, купил я раз книжку; называется эта книжка «Ключ к таинствам природы»... Говорил он, в ней будто все сказано, как есть...

— Ну, и что же?

— Да нет, толку мало. Неотчетливо пишет этот сочинитель. Читаешь, читаешь, в голове затрещит, а ничего настоящего не понимаешь. Вечная единица, треугольники там, высшая сила... а понять ничего невозможно. Конечно, я человек темный, а все же, думаю, обман это, больше ничего.

— Я тоже думаю, что вам попалось не то, что нужно...

— То-то и я думаю. Надо чем-нибудь кормиться хоть бы и сочинителям.

Перебирая книги одну за другой, он вдруг со вниманием остановился на одном заглавии.

— Это что же такое? — сказал он, поворачивая заглавие.

Это были «Вопросы о жизни и духе» Льюиса.

— Это насчет чего? — спросил бродяга, с любопытством осматривая со всех сторон книгу.

Молодой человек затруднился ответом. Если заглавие непонятно, то что же сказать в объяснение? Как пояснить содержание трактата о сложных проклятых вопросах, над которыми, быть может, никогда не задумывался этот человек, с трудом разбирающий по складам?

— О жизни и духе!..— задумчиво повторил между тем бродяга и опять с видом удивления стал поворачивать книгу во все стороны, осматривая и корешок, и коленкоровый переплет, и даже самый шрифт. Каза-

лось, он удивлялся, что книга с таким заглавием так проста на вид. Быть может, он ожидал встретить вопросы о духе в каком-нибудь фолианте, переплетенном в старинный сафьян.

— Это насчет жизни и, например, о душе?.. Так, что ли?

— Да,— ответил молодой человек нерешительно.

Бродяга пытливо посмотрел на него.

— И все тут сказано?.. Явственно?..

— Как вам сказать?.. Конечно, все, что мог сказать этот писатель. Но явственно ли?.. Знаете что! Лучше возьмите какую-нибудь другую книжку.

Бродяга с живостью отдернул книгу, к которой молодой человек протянул было руку.

— Нет уж, дозвольте мне этой книжки почитать... Ежели тут насчет души и о прочем...

— Извольте,— неохотно ответил молодой человек.— Если встретится вам что-нибудь непонятное, слово какое-нибудь, выраженье, я с удовольствием постараюсь вам разъяснить...

— Нет, что выражение, выражение ничего не составляет. Конечно, мало ли их, слов-то непонятных. Ну, да все же прочитаешь раз, прочитаешь другой, оно и видно, к чему что идет. Так можно?

— Можно.

— Спасибо,— сказал он и опять взглянул в книгу.— «Вопросы о жизни и духе»,— прочитал он еще раз с расстановкой.— Должно быть — она самая!..

Он встал, но, подымаясь, раскрыл книгу на предисловии и зашевелил губами, прочитывая кое-что на выдержку. Одна фраза остановила на себе его внимание. Что-то вроде удовлетворения мелькнуло в его лице и в глазах, когда он взглянул на молодого человека.

— Вот,— сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: — «Наш век страстно ищет веры». Это верно,— подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, махнув головой.

Молодой человек усмехнулся.

— Верно,— подтвердил бродяга,— сколько теперича этих самых молоканов да штундистов с партиями гонят. И что ни дальше, то больше. Ну, спасибо. Эту книгу я теперича беспременно прочитаю.

И он ушел.

Когда наступила ночь, в камере этапа не спало только два человека. Бесприютный, полулежа на нарах,

при свете сального огарка, поворачивал страницу за страницей. Лицо его выражало сильное, почти болезненное напряжение мысли, морщины на лбу углубились, и по временам, когда бродяга отрывался от книги и, устремив глаза в потолок, старался вдуматься в прочитанное,— на лице его явственно виднелось страдание.

Не спал и молодой человек. Лежа под открытым окном — это было его любимое место,— заложив руки за голову, он задумчиво следил за читавшим. Когда бродяга углублялся в книгу и лицо его становилось спокойнее — на лице молодого человека тоже выступало спокойное удовлетворение; когда же лоб бродяги сводился морщинами и глаза мутились от налегавшего на его мысли тумана — молодой человек беспокоился, приподымался с подушки, как будто порываясь вмешаться в тяжелую работу.

Он был утомлен дневным переходом. Все члены ныли от усталости, и он чувствовал потребность в успокоении. Но голова его горела, глаза тоже были охвачены будто кольцами лихорадочного жара, он беспокойно метался каждый раз, когда шелест перекидываемой страницы долетал до его слуха среди сонных звуков камеры.

«Что-то он найдет в моей книге,— думал он,— этот наивный вопрошатель? Найдет ли хоть частицу того, что ему нужно?»

И молодому человеку глава за главой вспоминалась вся книга. Живучесть проклятых вопросов. Определение метафизики. Метод научный, метод эмпирический, метэмпирический метод... Что же тут почерпнет этот самоучка, что он поймет во всех этих определениях, зачем ему вся эта история бесплодных исканий, это блуждание за заблудившимися в бесконечном лабиринте?

Молодой человек смотрел теперь на труд мыслителя с особенной точки зрения; он хотел представить себе, что может почерпнуть из него человек, незнакомый со специальной историей человеческой мысли, и он метался беспокойно, боясь, не дал ли он просившему камень вместо хлеба. Эта работа внимания и воображения утомила Семенова. Голова его отяжелела, тусклый свет огарка стал расплываться в глазах, темная фигура маячила точно в тумане.

V

И приснился молодому человеку странный сон. Видел он густой темный лес ночью... Во мраке качались гигантские ветви, старые стволы стояли, точно великаны-призраки, и ни одна звезда не заглядывала в чащу, ни один луч не освещал темноты. Толпа людей билась в этом лесу, разыскивая, где выход к вольному простору и свету. Долго шла толпа, расчищая путь, прорубая просеки, прокладывая в лесу дороги. Куда вести эти дороги, так ли направлены просеки, кратчайшим ли путем приведут они к выходу, туда, где солнце золотит нивы,— люди не знают. Лишь только бледная заря разольется по лесной глуши — люди встанут ото сна и поведут дальше работу. Сзади за ними теряется в бесконечном лесу пройденный путь, вперед призывает работа, и пот выступает на лбу, и ноют усталые члены, а люди рубят деревья, стелют мосты, жгут и уничтожают чащу. Ночной отдых сменяет усталость дневной работы. Приходит смерть, и люди ложатся в могилы, в темноте чащи, обращаясь головами туда, откуда — они верят — свет светит и лежит страна, которую они ищут. Там ли она, так ли направили они свою тяжелую работу — они не знают. Знают другие. Им известно только, что они тяжко трудились, что заслужили отдых, чтобы завтра трудиться опять, или смерть, чтобы успокоиться навеки.

Толпа спит спокойным трудовым сном. Но в ней есть люди, которых члены не ноют, над которыми сон не налег так тяжело, как над остальными, потому что их работа легче. У них были глаза острее, слух чутче, и потому они не рубили дерев, не копали землю лопатами, не настилали мостов. Они проверяли пути, они ходили вперед, они ставили позади вехи и вечно думали о той стране простора и света, куда стремились. Иногда они подымались на высокие деревья... Но оттуда только бесконечное море древесных вершин колыхалось и шумело листвой... То самое море, на дне которого, там, назади — в тесных могилах — полегло столько людей, искавших выхода... И люди спускались опять в чащу, исследовали и меряли путь, а сердца их нередко сжимались от боли, их душу тяготило чувство ответственности, но члены их не ныли и ноги не подкашивались от утомления.

И вот раз в глухую полночь они поднялись от сна и,

оставив спящую толпу, пошли в чащу. Одних неодолимо влекло вперед представление о стране простора и света, других манил мираж близости этой страны, третьим надоело тянуться с «презренной толпой, которая только и знает, что спать да работать руками», четвертым казалось, что все идут не туда, куда надо. Они надеялись разыскать путь своими одинокими усилиями и, вернувшись к толпе, сказать ей: вот близкий путь. Желанный свет тут, я его видел...

И эти люди пошли, а толпа еще спит. До зари далеко, кругом темно. Далеко зашли ушедшие, и многим уже не вернуться. Они сбивались с пути, возвращались, встречались друг с другом и расходились опять. Они менялись опытом своих неудач и успехом, они ставили свои вехи, делали свои зарубки, условные знаки, понятные другим искателям. Иногда кто-нибудь из них натыкался на какой-нибудь символ, смысл которого не давался пониманию. Тогда сходились другие и по большей части разглядывали знак: знамение неведомой гибели и незнакомой доселе опасности. И так прошло много дней и ночей. Толпа осталась где-то далеко, продолжая прежде намеченный путь, а те, что ушли вперед,— всё шли, у них выработался свой условный язык, свои знаки...

И вот в одну ночь, когда отдыхавшая толпа спала, как прежде, еще один человек поднялся задолго до зари и, беспокойно оглядевшись, тоже пустился в чащу. И чаща замкнулась за ним. Он искал пути, как и другие, но был один. Ему непонятен условный язык. Он остановился у громадного столетнего дерева и, подняв свой фонарь, с тоской рассматривает зарубку... Знак, когда-то высеченный твердой рукой, стоит перед ним неведомым иероглифом, и, несмотря на это указание, чаща стоит вокруг него, полная прежней тайны, и мрак кажется еще глубже, лесная глушь еще враждебнее и страшнее... Зачем он поднялся, что его разбудило?

Молодой человек спал плохо. Он метался, и весь этот сон проходил в его мозгу, как это нередко бывает, то в виде образов, то будто написанный где-то, то как воспоминание о чьем-то рассказе, звучавшем в его ушах и отдававшемся в сердце скорбными нотами какого-то незнакомого голоса... Только лицо человека, стоявшего перед знаком на дереве, вдруг встало в его воображении с такой знакомой яркостью, что он проснулся и окинул камеру мутным взглядом... Действительность не сразу овладела сознанием. В обширной камере вповалку спала

толпа, и один человек склонился у самого огарка над книгой с выражением тоскующего недоумения...

Молодой человек быстро отвернулся. В нем шевельнулась досада. «Что это такое,— думал он,— или я в самом деле становлюсь болен и начинаю бредить?.. Чем я виноват и что мне за дело?.. Я не бросал спящей толпы, я не уходил от нее в чащу, и, наконец, не я и разбудил этого человека... Не я виновен, что путь мысли труден, что они не понимают условных знаков на пути... Я сам родился где-то на глухом бездорожье и сам вынужден искать пути в глухой чаще...»

И молодой человек заснул...

Между тем бродяга прекратил чтение; он посидел некоторое время отуманенный, с выражением разочарования, затем оглядел книжку со всех сторон удивленным и насмешливым взглядом, точно удивляясь, как мог он ждать от нее чего-либо и тратить на нее так много времени... Если бы молодой человек видел все это, то его сон был бы менее спокоен и на его лице едва ли горела бы улыбка...

На следующий день была дневка, затем опять два дня пути с остановками только для ночлегов, и опять дневка. Все это время Бесприютный не заговаривал о книге и как будто избегал Семенова.

VI

Когда теперь на гребне холма Семенов подошел к старосте, на лице Бесприютного виднелось сдержанное и холодное выражение.

— Ну, как вам понравилась книга? — спросил молодой человек.

— Ничего, книга хорошая,— сказал Федор, но в его тоне слышалось полное осуждение книги; он говорил о ней так же, как отзывался раньше о тех, которые помогают провести время; вслед за тем он неожиданно заговорил о другом предмете:

— Которая в этой книге вложена карточка — это кто такие вам приходятся?

Семенов вспомнил, что действительно он вложил в книгу фотографию и, забыв об этом, после не мог разыскать карточку.

— Это, должно быть, моя сестра,— ответил он.

— Сестра,— проговорил Бесприютный задумчиво,

и Семенова поразил особенный тон, каким звучало в устах бродяги это слово; казалось, все, что можно соединить любовного и нежного с идеальным представлением о сестре,— все вылилось в голосе Бесприютного.— Сестра... так... у меня тоже есть сестра... две сестры было...

— Было? А теперь?

— Да, чай, и теперь есть.

— Вы их давно не видали?

— Давно. Мальчонкой по улице вместе бегивали. С тех пор... Чай, теперь такая же, как и ваша. Только моя — крестьянка. Ну, да ведь все равно это... Все ведь равно — я говорю?

Семенов невольно посмотрел в лицо Бесприютного при этом повторенном вопросе. Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный страстным созерцанием. Семенову казалось тоже странным, что бродяга говорит о сестре, тогда как у него были сестры, как будто представление о личности стерлось в его памяти и он вспоминал только о том, что и у него есть сестра, как и у других людей.

— А мальчик,— спросил он опять,— чать, сынок ейный?

— Да.

— Вам, значит,— племянник?

— Конечно.

— Чать, и у моей тоже... племянник...— сказал он по-прежнему тихо и с тем же затуманенным взглядом.

Пройдя несколько саженей, он встряхнулся и резко вернулся к началу разговора.

— Не совсем и эта книга хороша. Недоговаривает сочинитель.

— Чего недоговаривает?—удивился Семенов.

— Нет настоящего...— И, видя, что молодой человек ждет пояснений, Бесприютный заговорил серьезно и с расстановками: — Недоговаривает!.. Да!.. Как, то есть, надо понимать. Вот у вас племянник. Чать, у него отец с матерью?

— Да.

— Ну, подрастет, станут наставлять... потом в школу, потом к ремеслу аль к месту. Верно?

— Конечно,— ответил молодой человек, недоумевая, к чему клонится этот разговор.

— Ну, вот. Это ведь всегда так. Взять хоть скотину: гонят ее, например, по дороге к околице. Станет теленок брыкаться, с дороги соскакивать, сейчас его пастух опять на дорогу гонит. Он вправо — он его справа кнутиком, он влево — его и слева. Глядишь — и привык, придет в возраст, уж он ни вправо, ни влево, а прямо идет, куда требуется. Верно ли?

— Верно.

— То-то. Так вот и с человеком все равно. Только бы с малых лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установили — не собьется.

— Это верно все, но к чему вы это говорите?..

— А к тому и говорю, что племянник-то ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на дорогу, научат, и пойдет он себе жить благородно, по-божьему. А вот Мишка, с которым вы сейчас шли,— с малых лет все по тюрьмам да на поселении. Так же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом да как мать померла, я, может, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слыхал. Откуда мне было в понятие войти? Верно ли я говорю?

— Что же дальше?

— Ну вот! Может,— спросили бы меня теперь,— я бы согласнее в младых летах свою жизнь кончить, чем этак-то жить. И верно, что согласился бы. Так ведь у меня никто не спрашивал, а сам я был без понятия... Положи сейчас кусок хлеба, пущай мимо голодная собака бежит. Ведь должна она этот хлеб схватить. Ну, так и я. Вот и вырос. Жить мне негде, к работе не приучен. Идешь по бродяжеству — тут всего бывало: где подают, ну а где и сам промышляешь. Помню, этто, в первый раз мы с отцом да со стариком вон с тем шли. Оголодали. Вот подошли ночью к амбару, в амбаре оконце. Ломать ежели амбар — услышат. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, пробуй, Федька, пролезет ли голова. Голова пролезет, так и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре-то темно, да еще, может, и чалдон сторожит где-нито за углом. А тоже ослушаться не смею. Сунул голову. «Не лезет», говорю (а голова-то ведь лезет!). Вот и слышу, говорит отец Хомяку: «А что, брат Хомяк, ничего не поделаешь — видно, ломать придется».— «Плохо,— тот отвечает,— услышат на заимке, или собака взлает. Народ здесь — варвар,— убьют».— «Да ведь как быть,— отец отвечает,— мочи моей нет. Ведь я вторые сутки не ел, вчерась

свой кусок мальчонке отдал...» Повернулось у меня сердце, куда и страх девался. Сунул голову в оконце. «Тятька, кричу, тятька! Голова-то пролезла!» Ну, вот... А там и пошло; со временем все больше да больше... Вот она — наука-то моя. Поставили меня на линию тоже... А теперь должон я за это отвечать?.. Это как?

— Что же,— заметил Семенов,— если бы вас судили судом присяжных, то, вероятно, все это приняли бы во внимание...

Но тотчас он понял, что сказал ужасную глупость. Бесприютный окинул его быстрым взглядом, в котором он прочел удивление, а затем что-то вроде пренебрежения. И тотчас точно луч блеснул в уме молодого человека: он сообразил теперь, о какой ответственности говорил бродяга, в чем этот человек сомневался, чего добивался от книги.

— Продолжайте,— сказал Семенов,— я ошибся, но теперь понимаю.

По-видимому, бродяга убедился, что недоразумение действительно рассеяно.

— Каждый человек поставлен на линию,— подтвердил он,— вот что. Как же теперь понимать, за что отвечать человеку? Шел два года назад арестант один, так тот так понимает, что ничего этого нет. Помер человек, и кончено. Больше ничего. Все одно — как вот дерево: растет, качается, родится от него другая лесина. Потом, например, упадет, согниет на земле — и нету... И растет из него трава. Ну, опять на это я тоже не согласен...

Он прошел несколько шагов молча и опять, как Семенову показалось сначала, заговорил о постороннем:

— Третий раз я бежал в ту пору. Отец у меня уже помер, товарища не было — пошел один. Ну, скучно было. Тайгой иду, и все вспоминается, как мы тут с отцом шли. Только раз ночью бреду себе знакомой тропкой, запоздал шибко, до ночлега. Хотел в шалашике ночевать, который шалаш мы с отцом когда-то вместе строили. Только подхожу к шалашику — гляжу: огонек горит, и сидит у огонька старик бродяга. Исхудалый, глаза точно у волка. Кидает он на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом — оголодал, и одежа на нем рваненькая. Почитай нагишом совсем... Вот хорошо, я даже этому случаю шибко обрадовался — думаю, товарища встретил. Покормил я его, чем богат,

чайком обогрел. Посидели, потолковали — спать!.. Лег я, халат под голову положил... полежал — слышу: встает мой старик, из шалаша вон выходит.— «Куда?» — спрашиваю. «Да так, говорит, не спится что-то. Пойду к ручью, водицы в котелок возьму да сучьев натаскаю: завтра пораньше чай варить. Да ты что же, молодец, головой-то под самый навес уткнулся — чай, ведь душно...» А меня покойник отец учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать, пуще всего голову береги. В живот хоть, может, и ткнет, все же труднее убить. А по голове ничего не стоит. Вот я, хоть насчет старика этого и в уме у меня не было, а все же завет отцовский берегу. «Ничего, говорю, в привычку мне этак, и комар не ест». Хорошо!.. Ушел старик к ручью, не идет да не идет. Ночь, помню, темная была, на небе тучи, да еще и неба сквозь дерев не видать. Огонек у входа эдак дымит, потрескивает, да листья шелестят. Тихо. Вот лежал я, лежал — и вздремнул, да не очень крепко. Только слышу — вдруг отец меня окликает: «Федор, не спи!» Так это будто издалека слышно. Открыл я глаза, гляжу опять — огонек дымит, да ветка качается. Я опять заснул. Только слышу опять, будто идет кто к шалашу и даже так, что вижу — за огоньком эдак кто-то стоит. И опять: «Эй, Федор, не спи!» Вот я опять и проснулся. Что, думаю, такое это? Ну, как за день я сильно притомился, то и не могу вовсе проснуться — глаза так и слипаются. Заснул опять, да, видно, еще того крепче. Прошло сколько-то времени. Опять слышу — подходит отец, стал в дверях шалашика, руки эдак упер, сам наклонился ко мне в дыру-то: «Слышь, Федор, не спи, а заснешь — навеки!» Да таково явственно сказал, что сон с меня вовсе соскочил. Гляжу: нет никого, огонек погас почитай вовсе, по листьям дождик шумит. И будто за костром кто-то маячит — так помаячил и исчез. Поднял я голову: «Что бы это, думаю, могло обозначать? Видно, неспроста. А где, мол, старик проходящий, что это он в дождь по тайге ходит?» И вдруг опять кто-то крадется тихонько к шалашику. Подошел этот старик, остановился у самого того места, куда я головой улегся, потом слышу — шарит осторожно, хворост разворачивает. Встал я незаметно, выхожу из шалашика.— «Что это, мол, ты делаешь, почтенный?» — А у него, подлеца, уже и шелеп изготовлен: в тайге вырезал здоровенную корягу... Да, вот оно дело какое. Как же теперь надо понимать: ведь уж это явственно ко мне отец приходил

с того свету. Кабы с другим было — может быть, и не поверил, а ведь со мной...

Несколько шагов они прошли молча.

— Рассказать вам, что после у меня с этим стариком вышло? — спросил бродяга, кинув искоса взгляд на молодого человека.

— Расскажите.

— Да, вот я вам расскажу, а вы подумайте, как оно бывает иногда. Потому: вы еще молоды. Книжек-то вы читали много, ну а все же пожили бы с мое, увидали бы такое, чего и в книжках нету. Вот, когда услышал старик такие мои слова — сейчас бросил свою корягу, сел к огню и говорит: «Ну, бей, говорит, ты человек молодой и в силе. Мне с тобой не справиться, а без одежи да без пищи я все равно в тайге смерть приму. Так уж лучше сразу...» Посмотрел я на старика этого: ноги у него в кровь изодраны, одежонка рваная, промок, дрожит весь: борода лохматая, лицо худое, а глаза горят, все равно как угли. Видно, лихоманка к нему привязалась не на шутку. Жалко мне его стало.— «Ты что же это, говорю, на подлости пошел? Я тебя хотел заместо товарища взять, весь бы запас разделил пополам, а ты что задумал?» — «Не хватит,— говорит старик,— все одно на двух-то...» А запасу, правду сказать, и у меня было немного. Тайгой этой идти надо было еще ден шесть, а то и больше, а мне одному-то на три дня в силу хватит. Ну, думал себе, ягодой, мол, станем пробавляться да корнем — как-нибудь выберемся. А как увидел его поступки, тут уж какое товарищество, конечно... Однако отделил сколько-то сухарей, да чаю, да табаку немного и говорю: «Бери! Я на тебе зла не помню». Взял он, сгреб все обеими руками, сам на меня глазами уставился — не стану ли отнимать... Вижу я: в глазах у него точно огонь бегает. Даже страшно. Собрался я, подвязал котомку и котелок — пошел. Прошел сколько-то, оглядываюсь: старик мой тоже собирается. Завязал все кое-как в узел, айда за мной... Верите, сколько я с ним муки принял, так это и рассказать невозможно. Ни отдохнуть, ни поспать — сейчас он тут как тут. Видели вы летом слепую муху, как она к скотине привяжется? Ну, так и этот старик. И ведь не думайте, нисколько моего добра не помнил: чуть, бывало, прилягу к ночи, прислушаюсь: уж он тут... крадется в тайге и все с корягой. Как только поспевал за мной — удивительно! Я иду скоро, как могу, а он не отстает, да и только. Вот подошел я к нему раз

и говорю: «Что тебе надо? Отстань, а коли не отстанешь, тут и жизни твоей конец...» Хотел запугать, да где тут! Отошел я версты три, к вечеру дело было, и думаю: «Дай схоронюсь за дерево, обожду», а сам огонек разложил небольшой в другом месте, подальше. Только, этак через полчаса времени, гляжу, выходит мой старик на тропку... идет, как медведь переваливается, глаза горят, сам носом по воздуху так и водит. Завидел мой огонек — и сейчас в тайгу, да стороной-то, да крадучись, так и ползет к огню с корягой... Что мне тут делать: парень я молодой, непривычный, кругом, может, на сколько верст души человеческой нету, только лес один, на сердце и без того тоскливо, а тут этот старик увязался. Заревел я тут, просто сказать, по-бабьи, да ну бежать. Бежал, бежал, сколько было мочи, наконец притомился, лег и заснул. Сколько-то проспал, просыпаюсь — опять старик тут. Впоследствии времени уж он и стыд потерял. Я к нему усовещевать, а он на меня с корягой так и кидается, так и наскакивает. Ах ты господи! Выбился я на вторые сутки из сил, вижу: либо мне, либо ему не жить. Стал супротив его на тропке, дожидаюсь. Увидел он, что я стою, да, видно, не испугался: так сослепу с корягой и лезет. А я стою, голосом реву, слезами плачу, вышел уже изо всякого терпения, нет моей мочи. Подскочил он ко мне, замахнулся — бац шелепом по голове. Изловчился-таки достать порядочно... Ну, тут уж я ожесточился, вырвал корягу, ударил раз и другой... Да тут же и сам свалился, заснул. Ночью проснулся — так мне и кажется, что опять старик крадется в тайге потихоньку. Да нет: лежит на тропке, не шевельнется. Схватил я тут котомку да опять бежать. Ни сна, ни отдыху; иду-иду, а самому кажется, что никогда мне из этой тайги не выйти; и все сзади будто старик идет, сопит, переваливается, нагоняет... Как уж я вышел к деревне — и сам не знаю: подняли меня сибиряки у поскотины замертво... Да, так вот оно, дело-то... Иной человек и век проживет без греха. Сходит к празднику в церковь, оттуда домой придет, о божественном разговаривает с детьми, потом пообедает, ложится спать... Совесть, думает, чиста у меня, не как у прочих других. А между прочим, может, и совесть потому у него чистая, что горя он не видал да на линию такую поставлен. А вот моя линия совсем другая... И совесть у меня нечиста, а иной раз так даже и места себе не найду... И по сию пору, бывает, старик этот не дает мне покою. Потому что, не иначе, думаю я,

только что был он тогда вроде как в горячке. А я его, больного человека, убил... Как же теперь, по вашему-то: должон я за это отвечать или нет?..

VII

Не дожидаясь ответа, Бесприютный вдруг сошел с дороги и остановился. Невдалеке виднелась уже кривая сосна. Этапные проходили мимо, и староста занялся счетом людей, не обращая более внимания на молодого человека, который остановился с ним рядом.

Последняя телега поравнялась с ними. На ней сидело несколько женщин, и старый Хомяк глядел с нее своими оловянными глазами. Староста подошел к телеге.

— Что, старичок божий, хорошо ли сидеть-то? — спросил он, взявшись по обыкновению за переплет телеги.

Старые губы прошамкали что-то невнятное.

— Стар дедушка,— сказал Семенов.

— Не очень, должно быть,— насмешливо возразил Федор.— Год назад еще его в Одессе отодрали. Ничего — выдержал. Стало быть, еще молодец.

— Что вы это, Федор, говорите?

— То и говорю, что было. По закону оно, конечно, не надо бы, да про закон вспомнили, когда уже всыпали. Ну, что же тут поделаешь — назад не вернешь.

Старый Хомяк закачал головой, его морщинистое лицо пришло в движение, глаза заморгали, и в первый раз Семенов услышал его голос. Он повернулся к Бесприютному, уставился на него глазами и сказал:

— Ничего не поделаешь, парень! Да, ничего не поделаешь.

Он говорил ровным дребезжавшим голосом, бесстрастным, как его тусклый взгляд, хотя, по-видимому, находился в состоянии оживления, на какое только был способен. Долго еще шамкали и двигались бескровные губы, голова шевелилась, даже полуседые волосы, торчавшие из-под шапки, казалось, задорно подымаются, и среди невнятного шамканья слышалась все та же фраза:

— Ничего не поделаешь!

При этом Бесприютного старик называл парнем или малым, вероятно, по старой памяти.

— То-то и я говорю, ничего не поделаешь — всыпали, так уж назад не высыпешь,— ответил Федор с выра-

жением грубоватой насмешки; была ли это действительно насмешка, или под ней скрывались горечь и участие, Семенов не мог разобрать. Резкие черты Федора были довольно грубы, и не особенно подвижная обветренная физиономия плохо передавала тонкие оттенки выражения.

За поворотом от кривой сосны действительно открылся и этап. Высокий частокол с зубчатым гребнем скрывал крышу здания; лес подступал к нему с трех сторон. Невдалеке, под темной стеной тайги, небольшая деревушка искрилась несколькими красными огоньками, между тем как дома уже терялись в тумане. Невеселый сибирский пейзаж охватывал кругом печальные здания этапа; вечерний сумрак делал картину еще грустнее, но партия весело и шумно огибала угол частокола и входила в отворенные ворота: ужин манил изголодавшихся, широкие нары — усталых.

Один Бесприютный не изменил походки, не прибавил шагу. Он только окинул этап быстрым, угрюмым взглядом, как бы желая убедиться, что все осталось без перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз.

Все было по-прежнему; только разве лес несколько отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочковатое болото, да частокол еще более потемнел, да караулка еще более покосилась. И бродяга отвел глаза от знакомого здания. Да, все здесь в порядке... здания сгибаются от старости, как и люди, старые окна глядят так же тускло, как и старые очи... Он знал это и прежде.

Посмотрев еще раз кругом на оставшуюся сзади только что пройденную дорогу, на темнеющий лес, на огоньки деревушки, на стаю ворон, кружившихся и каркавших над болотом, и проводив в ворота последнюю телегу, на которой сидел Хомяк,— староста сам вошел во двор этапа, где уже слышались шум голосов и суета располагавшейся на ночевку партии.

VIII

Первая суета стихла в старом этапном здании. Места заняты, споры об этих местах покончены. Арестанты лежат на нарах, сидят кучками, играют в три листика, иные уже дремлют. Из отдельных, семейных камер слышится крик ребят, матери баюкают грудных детей, а в окна и открытые двери глядит сырая, но теплая

сибирская ночь, и полная луна всплывает красноватым шаром над зубцами частокола.

Часа через полтора после прибытия партии два арестанта-кашевара внесли в общую камеру на шесте ушат со щами. Бесприютный вошел вместе с ними из кухни и стал у стола, чтобы наблюдать за раздачей партии горячей пищи. Арестанты засуетились, разбились на кучки. Каждая кучка посылала от себя человека с посудой, который, подходя к столу, произносил: пятеро, четверо, шестеро,— и соответственно с этим получал пять, шесть, четыре больших ложки щей. Больные и женщины, кормившие грудью детей, имели при раздаче преимущество, и Бесприютный внимательно и деловито следил за правильностью раздачи.

В это время в ночном воздухе, там, за оградой, послышался топот приближавшейся к этапу тройки. Тройка катила лихо, но под дугой заливался не почтовый колокольчик, а бились и шаркотали бубенцы.

— Эй, подтянись, ребята, смирно! — высунулся головой один из караульных.— Чай, это инспектор приехал.

Среди арестантов произошло невольное движение, которое Бесприютный прекратил спокойным замечанием:

— Подходи, ребята, подходи, полно!

И раздача продолжалась прежним порядком, а Бесприютный стоял у стола с тем же равнодушным видом человека, мало заинтересованного всем происходящим.

Раздача еще не совсем кончилась, когда на пороге, выступая из темноты, появилась полная фигура немолодого уже полковника.

— Здорово, ребята! — сказал он тем бодрым и добродушно-веселым тоном, которым приветствуют обыкновенно подчиненную толпу добрые и благодушные начальники.

— Желаем здравия, ваше скородие,— нестройно ответили в камере, и арестанты повстали с мест, с ложками в руках. Иные стали вылезать из-под нар.

— Оставь, ребята, оставь, ничего! — махнул он рукой, входя в камеру. За ним вошел начальник этапа, болезненный и худой офицер, да еще два-три молоденьких прапорщика конвойной команды. Фельдфебель, молодцевато выпятив грудь, вынырнул из темноты и мгновенно прилип к косяку вытянутой фигурой.

— Хлеб-соль, ребята! — продолжал полковник, об-

ходя кругом средних нар.— Не имеете ли претензий?

— Никак нет, ваше скородие,— послышались опять голоса.

— Ну и отлично, ребятушки! А каковы у вас щи? Хороши ли? — И с этими словами он направился к тому концу, где стоял Бесприютный у опорожненного почти ушата. Полковник среди раздававшейся толпы арестантов шел тяжеловатой, но свободной походкой человека, который знает, что эта толпа уже заранее к нему расположена, что на него обращены одобрительные взгляды. Казалось, он испытывал самодовольное чувство от сознания, что он добрый начальник, что он знает, как можно говорить с этими преступными людьми, что он умеет с ними ладить.

Староста стоял на своем месте, и его глаза по-прежнему следили за ложкой разливальщика, причем ни один мускул не шевельнулся при входе и приближении начальника. На мгновение только его быстрый испытующий взгляд остановился на толстой фигуре полковника с тем же выражением, с каким он исследовал за несколько часов перед тем покосившиеся этапные постройки. Казалось, расплывшаяся и несколько обрюзглая фигура инспектора доставила бродяге материал для нового, хотя и не неожиданного заключения. Затем он равнодушно отвел глаза и занялся своим делом.

Но полковник, заметивший бродягу еще на половине своего пути, оказал ему более внимания. Он прибавил шагу, потом, приблизившись, быстро и внезапно остановился, причем ножны его сабли с размаху ударили по коротким ногам. Откинув назад голову с широким добродушным лицом, он взглянул на бродягу из-под громадного козырька и хлопнул себя рукой по бедру.

— Панов! Бесприютный! Да никак это ты!

— Я самый,— ответил бродяга, опять кидая на полковника равнодушный короткий взгляд.

— Вот! Сразу узнал,— не без самодовольства обратился полковник к следовавшей за ним кучке подчиненных.— А ведь имейте в виду: уже более двадцати лет я его не встречал. Так, что ли? Да ты меня, братец, узнал ли?

— Как не признать,— ответил Бесприютный спокойно и затем прибавил: — Да! Чать, не менее двадцати-то лет...

— Двадцать, двадцать, я тебе верно говорю! Уж я не

ошибусь,— у меня, братец, память! Д-да. Имейте в виду, господа,— это было два года спустя после моего поступления на службу,— как мы с ним встретились первый раз. Как же! Мы с ним старые знакомцы. Много, братец, много воды утекло.

— Так точно, ваше высокородие,— ответил бродяга равнодушно. Казалось, он не видел особенных причин к тому, чтобы радоваться и этой встрече, и вызванным ею воспоминаниям.

— Ну, каково поживаешь, братец, каково поживаешь? — И добряк полковник присел на угол нары с очевидным намерением удостоить бродягу благосклонным разговором.

Бесприютный ничего не ответил, но это не остановило словоохотливого полковника. Повернувшись в свободной и непринужденной позе фамильярничающего начальника к стоящим за ним офицерам, он сказал, указывая через плечо на бродягу большим пальцем:

— Русская поговорка, гора, дескать, с горой не сходится!.. Да-с... Вот она, судьба-то, сводит. Имейте в виду, господа, двадцать лет назад я вел партию в первый раз. Понимаете, молодой прапорщик, первый мундир, эполеты, одним словом — начинал карьеру. А он в то время бежал во второй раз и был пойман. Он молодой, и я молодой... Оба молодые люди у порога, так сказать, жизни... И вот, судьба сводит опять... Знаете, для ума много, так сказать... Понимаете, для размышления...

Почувствовав некоторое затруднение в точной формулировке тех философских заключений, которые теснились под его форменной фуражкой, полковник быстро повернулся опять к бродяге и измерил его с ног до головы пристальным и любопытным взглядом.

Фигура Бесприютного как-то потемнела; он насупился и как будто слегка растерялся. Но полковник, не замечавший, по-видимому, ничего, кроме своего собственного прекраснодушия, продолжал осматривать своего собеседника и при этом слегка покачал головой.

— Постарел, братец, постарел. А что! Я, брат, слышал, что ты с тех пор еще несколько раз бегал. Небось раз десять пускался, а?

— Тринадцать раз,— глухо ответил Панов.

— Ай-ай-ай. Имейте в виду,— повернулся опять полковник к молодым офицерам,— и все неудачно!

Инспектор покачал опять головой с видом глубокого сожаления. И это сожаление было совершенно искренно.

Конечно, в то время, когда он конвоировал партию, и после, будучи начальником этапа, он не только не отпустил бы Панова на волю, но даже, пожалуй, усилил бы в иных случаях надзор за ловким бродягой. Конечно, и теперь в случае побега он постарался бы с особенным усердием устроить облаву, потому что этого требовали прямые интересы его службы. Но ведь Панов-Бесприютный мог убежать не у него (у него вообще не бегали); он мог уйти с каторги или поселения, и в этом случае встретившись с ним где-нибудь на тракту, полковник без сомнения дал бы ему рубль на дорогу и проводил бы старого знакомца добрыми пожеланиями. Теперь он искренно жалел человека, с которым его связывали воспоминания о давнем прошлом. Когда он начинал свою карьеру молодым урядником конвойной команды — Бесприютный начинал карьеру бродяги, и теперь в сердце полковника ожили давние приятные ощущения. Он был тогда молод, усики только что пробились над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как и новый мундир и погоны; все это наполняло его жизнь радостью и блеском. С тех пор он подвигался вперед и вперед по ровной, проторенной и верно расчищенной дороге. Молодому прапорщику жизнь представлялась целой лестницей повышений. Если во столько-то лет он достигнет чина поручика, то, наверно, умрет полковником... а при успехе... Теперь полковник оглядывался назад на пройденное пространство и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безусому фендрику: вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих молодых мечтаний. Он уже полковник, и все, чего удастся добиться по службе, будет сверхсметным подарком судьбы. И старик инспектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при начале пути; дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картежник, как многие другие. А исполнив все это, он спокойно сомкнет глаза перед последним часом, потому что и *там,* в другом мире, его формуляр — в этом он твердо убежден — заслужит полное одобрение.

Да, вот какова его жизнь! А ведь не все умеют так устраивать ее. Полковник испытывал в глубине сердца — под сожалением к бродяге — еще то особенное чувство, которое заставляет человека тем более ценить свой уютный угол, свой очаг, когда он вспоминает об

одиноком и усталом путнике, пробирающемся во тьме, под метелью и ветром, безвестной и нерадостной тропой.

Хорошо полковнику, согревшему свою жизнь светом общепризнанных солидных добродетелей. А вот он — старый бродяга — стоит перед ним, сгорбившись, в том же сером халате, с тем же тузом на спине, с сединой в волосах, с угрюмой лихорадкой во взгляде. Да, карьера Панова, связанная в воспоминании полковника с началом его собственной карьеры,— не удалась. Несмотря на всю силу и удаль, несмотря на то, что имя Панова гремит по всему тракту, что об его ловкости и влиянии сложились целые легенды, что его имя от Урала и до Амура известно всем гораздо более, чем знают имя полковника, даже в районе его служебного влияния,— все же к этому имени всюду прибавляется один эпитет — несчастного, незадачливого бродяги.

Полковник опять повернулся к своим спутникам, и во взгляде, который он бросил им, заключалось целое невысказанное наставление. Наставление, очевидно, было понятно, потому что молоденький урядник, державший в руках новенькую папаху с кокардой, тоже посмотрел на бродягу и покачал головой; за ним так же укоризненно покачали головами два его сотоварища. Только один смотритель этапа, худой, с раздражительным и угрюмым лицом, не обращал на слова философствовавшего начальника никакого внимания, и вся его фигура обличала по меньшей мере равнодушие и пассивное неодобрение. Впрочем, может быть, это происходило оттого, что Степанов, немолодой уже поручик, и вообще-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, был еще вдобавок с похмелья.

— Удалось ли хоть побывать на родине? — спросил опять полковник бродягу.

— До своей губернии доходил два раза,— говорит бродяга и затем добавляет глуше: — В своем месте не бывал ни разу.

— Ай-ай-ай! — закачал опять головой полковник, и затем, усевшись поудобнее на нарах, он положил локти на коленях и, сложив руки ладонями, подался туловищем вперед, как человек, располагающийся побеседовать подольше. Раздача была кончена, ушат убрали, у Бесприютного не было больше дела у стола, но он стоял на том же месте. Теперь у него не было уже того равнодушно-горделивого вида, как прежде. Окруженный ку-

чей арестантов, стоявших на почтительном отдалении, бродяга стоял с несколько растерянным видом прямо перед сидевшим в свободной позе инспектором.

— Ну,— произнес тот, усевшись,— скажи ты мне, куда ты все бегаешь?

Бродяга еще больше растерялся, и, если бы полковник был несколько наблюдательнее, у него, вероятно, не хватило бы духу продолжать свой допрос. Но он принадлежал к числу тех людей, для которых самодовольное прекраснодушие застилает все происходящее перед их глазами. В этом была его несомненная сила, и Бесприютный как-то растерянно ответил:

— Да как же, ваше высокородие, в свою сторону хочется все...

— Так! — сказал полковник.— А давно ли ты оттуда?

— Дитёй оттуда, ваше высокородие.

— Отец твой ведь помер в Сибири?.. Ну, а мать-то жива?

— Нету. Ранее еще померла, без матери вырос,— сказал Бесприютный, и затем как-то робко, будто высказывая последний аргумент и вместе боясь за него перед лицом этого беспощадно здравомыслящего человека, он добавил: — Сестра у меня родная...

— Сестра! Пишет она тебе письма?

— Где уж писать!

— Может, и она умерла давно.

— Две было,— протестует бродяга.

— Ну, пусть. Ну, допустим, обе они живы. Так ведь они теперь замужем, своя семья у них, дети. И вдруг явишься ты, беспаспортный, беглый из Сибири... Думаешь — обрадуются? Что им с тобой делать?.. Имейте в виду, господа,— повернулся опять полковник с своим поучением к молодежи,— я знаю этих людей: чем опытнее бродяга, чем больше исходил свету, тем глупее в житейских делах.

Было что-то ужасное в этой простой сцене. В голосе полковника звучала такая полная уверенность, что казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его несколько заплывших глаз; между тем опытный бродяга, тот самый Бесприютный, который пользовался у сотен людей безусловным авторитетом, стоял перед ним и бормотал что-то, как школьник. Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. На одной из нар сидел в своей обычной позе Хомяк, и даже

он как будто прислушивался к громкому голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного.

— Эх вы! — махнул полковник рукой.— Недаром говорится: горбатого исправит могила!

И затем, переменив тон, он добавил благодушно:

— А постарел ты, братец, сильно постарел. Да и то сказать, все к могиле идем. И я не тот, что был: женился, пятеро детей; старший учение кончает, дочь невеста... Вон меньший карапуз во дворе играет.

Взгляд Бесприютного, который он поднял на полковника, стал как-то тяжел и мутен. Но полковник теперь не глядел на бродягу. Полковник знал про себя, что он добр, что его любят арестанты за простоту. Вот и теперь он приехал сюда со своим мальчишкой, и семилетний ребенок играет на дворе с собакой среди снующей по двору кандальной толпы. Прислушавшись, инспектор различил среди наступившей в камере тишины игривое урчание собаки во дворе и звонкий детский смех.

— Васька, эй, Васька! — крикнул полковник.

— Василь Ваныч,— повторил почтительно стоявший у дверей фельдфебель.

На пороге открытой двери появился краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение заслепил его голубые глаза; мальчик с улыбкой закрыл их рукавом, но затем, разглядев отца, он бросился к нему с веселым смехом среди расступающихся арестантов. Физиономия старого полковника расплылась благодушной улыбкой; с нее исчезли последние признаки философского глубокомыслия; он поставил около себя своего любимца и, положив ему на голову свою руку, повернул лицо мальчика к бродяге.

— Вон какой растет,— произнес он.— Это у меня самый младший, а ведь тогда, как мы с тобой в первый-то раз шли,— я еще сам молокосос был.

Мальчика не пугала серая толпа, окружавшая его со всех сторон в этой камере,— он привык к этим лицам, привык к звону кандалов, и не одна жесткая рука каторжника или бродяги гладила его белокурые волосы. Но, очевидно, в лице одиноко стоявшего перед отцом его человека, в его воспаленных глазах, устремленных с каким-то тяжелым недоумением на отца и на ребенка, было что-то особенное, потому что мальчик вдруг присмирел, прижался к отцу головой и тихо сказал:

— Папа, пойдем отсюда!.. Папочка!..

— В самом деле пора. Мальчишка набегался за день, поневоле спать захочет. Ну, Бесприютный, прощай. Спокойной ночи, ребята, счастливый путь!

— Вам также,— послышалось откуда-то несколько голосов. Ближайшие арестанты молчали.

Кажется, мальчик на этот раз, по счастливому инстинкту, оказался благоразумнее опытного и «знающего этот народ» инспектора. Когда отец и сын направились к выходу, Бесприютный провожал их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стиснутыми зубами.

IX

Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро и, вероятно, очень крепко, потому что очень долго шум, стоявший в камере, не мог его разбудить. Однако мало-помалу крепкий сон стал переходить в беспокойство, потом над ним нависло какое-то дремотное полусознание. Молодой человек слышал неприятный гул голосов, сквозь который прорывался то чей-то оклик, то клочок песни, и опять все эти звуки удалялись, тонули, чтобы опять выделиться с беспокоящею резкостью. Особенно неприятным казался ему один голос, звучавший громче других. Он как будто узнавал его сквозь сон, и от этого ему еще более не хотелось проснуться, не хотелось убедиться в том, что он не ошибся.

— Пей, мамка,— пей!.. Эй, жги, нажигай, молодка!

Семенов открыл отяжелевшие веки, и в сизом тумане душной камеры перед ним обрисовалось красное лицо с горящими глазами. Кто-то сидел на нарах, обнявшись с пьяной простоволосой арестанткой, которая покачивалась и, нагло ухмыляясь по временам, заводила пьяную песню. Большинство арестантов спало, но в центре камеры шла попойка. Увидев все это, Семенов тотчас же опять сомкнул глаза, и двоившееся сознание затуманилось. «Это был только сон»,— думалось ему во сне об этой картине из действительности.

Но вдруг шум усилился. Молодой человек проснулся и некоторое время не мог отдать себе отчета в том, что перед ним происходило,— в камере кто-то плакал, както дико и с причитаниями. Это был голос Бесприютного, и к нему примешивались пьяные причитания арестантки.

— Феди-инька, горемышно-ой!.. О-ох-ох-хо-оо!..

И пьяная простоволосая баба тянулась руками, стараясь приподнять голову Бесприютного, припавшего к нарам, а сам Бесприютный как-то глухо и протяжно ревел. Это не был плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося горя. Это был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гробовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга.

Вдруг Бесприютный поднял голову и обвел взглядом всю камеру. Казалось, водка не оказала на него обычного действия: его глаза не затуманились, черты не расплылись. Напротив, бледное лицо стало как будто суше и резче, а взгляд горел.

Он тяжело приподнялся, опираясь руками на нары, и все искал кого-то блуждающим взором. Вдруг он увидел Семенова, который смотрел на бродягу вдумчиво и с участием. Во взгляде Бесприютного мелькнуло определенное выражение.

— А, барин! — крикнул вдруг Бесприютный, подаваясь всем могучим корпусом вперед, и скверное циничное ругательство сорвалось с его языка.

— Ва-апросы,— продолжал с горькой язвительностью,— я, брат, и сам спрашивать мастер... Нет, ты мне скажи: за что я отвечать должон — вот что. А то ва-апросы! На цигарки я твою книгу искурил... ха-ха!.. Сестра! У меня у самого сестра.

И опять ругательства полились уже по адресу сестры, на этот раз еще более циничные и ожесточенные. Казалось, он чувствовал особое, злобное наслаждение, втаптывая в грязь свою мечту о мифической сестре; и вместе с тем безумный огонь в его глазах разгорался еще сильнее, а из груди вырывался сухой кашель, похожий на глухие стоны.

Он замолчал и опустил голову. Когда он поднял ее, выражение лица изменилось.

— Из лесу выйду,— заговорил он опять, глядя куда-то в пространство тоскующим взглядом,— люди этта в полях копошатся, чего-то работают, стараются... А я гляжу на них, точно волк из кустов... А что делают, для чего стараются... не знаю!..

Гробовое молчание камеры, казалось, стало еще

глубже. Освещенная сальным огарком, она вся замерла, хотя не спал в ней никто, и отрывистые жалобы и проклятия бродяги с какою-то тяжелою отчетливостью падали в испуганную, взволнованную и сочувственную толпу. Даже пьяная арестантка прекратила свои причитания и уставилась на Бесприютного мутным застывшим взглядом.

Вдруг среди тишины раздался дребезжащий голос старого Хомяка. Уже несколько минут назад старик, кряхтя и охая, медленно сполз с нары и направился к Федору. Теперь он остановился по другую сторону нар и произнес своим обычным тоном:

— Ничего не поделаешь, парень... Д-да!..

И затем прибавил с более определенным выражением:

— Терпи, Федор, терпи, паренек. Ничего не поделаешь.

Помутившийся от внутренней боли взгляд Федора повернулся к Хомяку.

— А ты, старый сыч! Молчи, поротая собака!.. Что? Думаешь, и я эдак же? И меня в девяносто лет... пороть... Н-нет же!..— стукнул он кулаком по нарам так, что дерево затрещало, и в то же мгновение в камере началась невообразимая возня. Семенов видел только, как в руках Бесприютного сверкнуло что-то, как ближайшие арестанты кинулись на него. Завязалась борьба. Федор рвался и бился, как бешеный зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво боролась с одним человеком. Более робкие повскакали на нарах, крестясь и вздыхая.

Наконец толпа осилила. Несколько тел грузно рухнулись на пол.

— Берегись, братцы, ножик!

Отнятый у Панова и кинутый чьей-то рукой из толпы — ножик с лязгом упал на пустые нары. Из груди Бесприютного вырвался стон, и затем он только храпел и глухо рыдал. Его вязали.

– Господи, царица небесная,— пугливо причитал чахлый арестант, глядевший на всю эту сцену широко раскрытыми лихорадочными глазами.

Когда, привлеченные шумом, в открытые настежь двери камеры вошли конвойные солдаты, все было кончено. Панов, весь опутанный веревками, принесенными наскоро со двора, где висело белье, уже лежал на нарах. Он глухо рычал и безумно озирался, крепко стиснув

губы, на которых виднелась красноватая пена. Лицо страшно побледнело, и на нем резко виднелись черные огромные глаза, в которых теперь исчезло всякое выражение. С какой-то ужасающей размеренностью бродяга поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. По всем вероятиям, он никого не видел; однако, когда молодой человек почувствовал на себе этот упорный взгляд, ему сделалось жутко.

Понемногу разговоры стихли; усталые, измученные борьбой арестанты улеглись по нарам, оставив около связанного троих караульных. Хомяк подошел было к нему, но, увидев его, Федор заметался так враждебно, что старик отошел. Кряхтя и охая, он уселся в обычной позе невдалеке от Федора, но так, что тот не мог его видеть, и все стихло. В окна глядела ночь, свеча нагорела и вздрагивала, по временам стонал и ворочался связанный бродяга, да храпел уже кое-кто из арестантов. Молодой человек тоже забылся, но его дремота странно сливалась с бодрствованием: он все время сознавал на себе тяжелый взгляд лежавшего насупротив бродяги.

Много ли времени прошло таким образом, сказать было бы трудно, но вдруг молодой человек встрепенулся, и его дремоты мгновенно как не бывало. Прямо против него на нарах сидел Федор, по-прежнему опутанный веревками, но теперь его глаза смотрели сознательно.

— Барин, а барин! — тихо звал Семенова бродяга, и этот тихий возглас разбудил молодого человека. По-видимому, его услышал также старый Хомяк. Он раскрыл глаза и, тяжело кряхтя, спустился с лавки. Остальные арестанты крепко спали; спали даже приставленные к Федору караульные, прислонившись спинами к колонке и низко свесив головы.

Хомяк подошел к Федору, вздохнул и сказал со старческим сожалением:

— Эх, паренек, паренек!..

Покачав головой и вздохнув, он прибавил обычную сентенцию:

— Что тут поделаешь, терпи! — и затем стал развязывать дрожащими руками веревки.

— Барин, помоги развязать,— сказал Федор Семенову.

Тот подошел и, вынув перочинный ножик, разрезал веревку в нескольких местах. Лицо бродяги было блед-

но; глаза глядели хотя и угрюмо, но совершенно сознательно, так что молодой человек нисколько не колебался исполнить обращенную к нему просьбу Бесприютного. Последний встал на ноги, кивнул головой и, потупясь, быстро вышел из камеры. Протягивая перед собой руки, пошел за ним и Хомяк.

Молодой человек посмотрел им вслед и затем, улегшись на наре, выглянул в окно. На дворе было темно. Две фигуры медленно ходили взад и вперед, о чем-то разговаривая. Семенов не слышал слов, и только грудной голос Бесприютного долетал до его слуха. Казалось, бродяга жаловался на что-то, изливая перед стариком наболевшую душу. Временами среди этой речи дребезжали старческие ответы, в которых молодому человеку слышалась неизменная безнадежная формула смирения перед судьбой.

Наконец Федор подвел старика к стене, подостлал свой халат и уложил старого бродягу. А сам уселся на ступенях крыльца, так что молодому человеку была видна вся его фигура.

И долго сидел этот человек, опустив голову и не шевелясь, и молодой человек, крепко прижавшись горячей головой к холодному железу решеток, смотрел на него и думал.

А ночь все лежала над двором, безмолвная и темная.

X

Этапный двор казался угрюм и неприветлив. Ровная, с прибитой пылью, площадка замыкалась забором. Столбы частокола, поднявшись рядами, встали угрюмой тенью между взглядом и просторною далью. Зубчатый гребень как-то сурово рисовался на темной синеве ночного неба. Двор казался какой-то коробкой... в тени смутно виднелся ворот колодца и еще неясные очертания каких-то предметов. Глухое бормотание и дыхание спящих арестантов неслись из открытых окон...

Сверху темнота налегла на эту коробку плотной непроницаемой крышкой. Где-то, далеко в вышине, вглядевшись, молодой человек различил неясные очертания белесоватого облака, тихо плывшего над этой коробкой. Но очертания были нежны, смутны; казалось, этот бесцветный призрак облака тонул и терялся в густой темноте, наводя своим неопределенным движением грустные, тоскливые грезы...

И молодому человеку показалось в эту темную безлунную ночь, что весь мир замкнулся для него этой зубчатой стеной... Весь мир сомкнулся, затих и замер, оградившись частоколом и захлопнувшись синеватою тьмою неба. И никого больше не было в мире... Был только он да эта темная неподвижно сидевшая на ступеньках фигура... Молодой человек отрешился от всего, что его волновало гневом, надеждами, запросами среди шума и грохота жизни, которая где-то катилась там... далеко... за этими стенами...

Это было когда-то давно. Теперь ему ни до чего не было дела, кроме одной мрачной и неподвижной фигуры...

И по неясной для него самого аналогии в его воспоминании наряду с этой темной фигурой возникала другая, вставал в душе эпизод далекого детства.

Отца его все любили. Он был добр и великодушен — сердит, да отходчив. За обиду он вознаграждал всегда очень щедро, и многие сами напрашивались на обиду, чтобы потом воспользоваться великодушием сожаления. Однажды отец нанял молодого лакея. Говорили, что это сирота, что ему выпало счастье в виде места у доброго барина. Это был странный человек, не похожий на остальную дворню, чуткий и гордый. Отец вспылил както, разгневался и при всех ударил молодого лакея. Потом оказалось, что отец был совершенно не прав. Семенов вспоминал болезненное, горькое, исполненное недоумения выражение на лице оскорбленного. На другой день молодой слуга ушел. Связал свои вещи в узелок, надел узелок на палку, вышел за ворота и тихо, не оглянувшись, ушел по дороге. Мальчик долго глядел, и на глазах его были слезы, потому что он не знал, откуда пришел этот Павел и куда он ушел, он знал только, что ему было плохо и будет еще хуже... Но он ушел, потому что над ним совершена несправедливость. Отец предлагал ему денег, извинялся перед ним, уговаривал его, но он, отвернув глаза в сторону, твердил одно: «Прощайте, пан, пойду». И пошел.

Но раньше, чем уйти, всю ночь до утра он просидел на крыльце, и мальчик долго смотрел на него из окна. Павел сидел точь-в-точь так, как теперь сидел бродяга: опустив голову, не двигаясь, точно будто он окаменел или спит непробудным тяжелым сном. Он не спал, а только тосковал о том, что добрый человек, которого все любили и которого он тоже начал любить, совершил над

ним жестокую неизгладимую несправедливость. И мальчик никогда не мог забыть этого ночного часа, и этой фигуры, и совершенной над этим человеком несправедливости. Он не примирился с нею, и даже теперь, когда он вспоминал об отце,— к его любви и к его грусти примешивалось воспоминание о тяжкой, неизгладимой и неизглаженной неправде.

И вот опять такая же ночь и такая же фигура. Но теперь не отец виноват в тяжкой неправде... Виноват кто-то другой, тоже любимый и тоже для многих других великодушный и щедрый... Жизнь над бродягой совершила эту страшную несправедливость...

И молодой человек с горечью отворачивался от того, что называют жизнью, яркой, веселой, сверкающей, гремящей, живой и неудержимо катящей свои волны. Душа одного человека — это целый мир, и вот этот мир в душе бродяги отравлен тяжкой неправдой. За что?

Теперь эта душа открылась перед молодым человеком; он понял, чего искал бродяга своим темным умом; понял, что и перед человеком с грубыми чертами могут вставать проклятые вопросы. Жизнь оскорбила этого человека — вот он восстал, и он ставит эти вопросы, обращая их к жизни, требуя у нее ответа.

То, что другим дается как подарок, с рождения, что составляет как бы воздух, которым грудь дышит даже без сознания этого блага, то для бродяги — иллюзия. «У меня тоже сестра!» *Тоже,* как и у других, как у всех людей!.. Да, в устах бродяги это только иллюзия, это надежда, миф, идеал. *Как у всех!* Бродяга мечтал о том, чтобы быть *как все*, мечтал наивно, и эта мечта разбивалась, как все недосягаемые иллюзии.

Уйти? Но куда же? Павел — тот вскинул свою палку на плечи, шел, шел по прямой дороге, все уменьшаясь, мелькнул беленькой точкой у самого леса, который составлял для мальчика грань видимого мира. Мелькнул еще раз и скрылся. Будет ли ему там хорошо или дурно, найдет ли он там забвение горькой обиды, спокойствие, счастье или тягчайшие, еще более жестокие обиды?..

Сегодня, после того как последние иллюзии жизни разбиты практическим полковником,— бродяга тоже пытался *уйти,* совсем рассчитаться с жизнью. Но куда бы он ушел? Что встретил бы там, за краем видимого мира?.. За что он должен ответить и кто перед ним отве-

тит? Забвение ждет его или награда за страдания? Или в самом деле — ничего, этот мир — душа человека, мир, отравленный ядом незаслуженного страдания,— промелькнул и исчезнет, оставив в общем балансе природы одно ничем не вознагражденное, ничем не уравновешенное страдание?..

Вот как понимал молодой человек теперь все вопросы бродяги, его поиски в книгах, его иллюзии. Вот о чем он думал, глядя с переполненным сердцем на темную неподвижную фигуру.

О чем же в эту ночь думал сам бродяга? Быть может, он ни о чем теперь не думал, а только ощущал в сердце тяжесть от обломков разбитых надежд и боялся пошевелиться, чтобы вместе с ним не зашевелилась глухая тоска. И потому он сидел опустив голову и с закрытыми глазами.

А между тем ночь бежала и убегала своим обычным путем, и мир начинал пробуждаться. Жизнь тихо, неслышно, но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. Сначала темная крышка, плотно надвинувшаяся сверху, стала будто приподниматься. Дыхание утра легко развеяло сумрачную серую тьму ночи... Небо засинело, стало прозрачнее, взгляд молодого человека уходил все дальше и дальше ввысь. Мир сверху раздвигался, маня синим простором.

Потом розовые лучи разлились по небу с восточной стороны и, смешавшись с сумерками, заиграли на зубцах частокола. Это розовое сияние упало вниз на землю, где прежде лежала густая тень, мягко легло на дерево колодца, на прибитую росою пыль, заиграло в капельках на траве и разливалось все обильнее и дальше.

Затем белая тучка выглянула краем из-за зубцов частокола. Она будто заглянула во двор и понеслась вверх, все выше и выше. За ней другая, третья. И чем быстрее неслись они, играя и переливая лучами, тем яснее было видно, как они высоко, как бесконечно велик свод...

Встрепенувшись от холода и росы, жаворонок, спавший за кочкой вне ограды, вдруг поднялся от земли и, кинувшись вверх, точно камень, брошенный сильной рукой, посыпал оттуда яркой, нежной, веселой трелью. И вслед за тем мысль молодого человека перешагнула за ограду, и опять сверкающий, манящий, живой мир развернулся перед его воображением. Он увидел, как тихо колышутся ветки елей под дуновеньем утреннего

ветра. Там вьется меж деревьев еще спокойная и безмолвная дорога, там ручей журчит и бормочет под белой пеленой утреннего тумана... И речка, и луга, и горы — все встало в воображении молодого человека и потянулось вдоль необозримой, бесконечно разнообразной перспективой.

Свежее дуновение утра коснулось также и неподвижной фигуры сидевшего на крыльце человека. Бесприютный вздрогнул от холода, пробежавшего по спине, повел плечами и поднял голову. Затуманенным взглядом он посмотрел на небо.

Из семейной камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину свежего утра.

Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Месяца два назад она родила, и теперь в дороге, несмотря на все трудности, на собственные страдания, она с материнской неутомимостью и энергией отстаивала юную жизнь. И, по-видимому, старанья не оставались безуспешны: достаточно было прислушаться к звонкому, крепкому и настойчивому крику ребенка, чтобы получить представление о здоровой груди и хороших легких.

Нельзя было того же сказать о матери. Некрасивое, испитое и изможденное лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко и окружить ребенка возможными в этом положении удобствами. Теперь она стояла на крыльце, слегка покачиваясь на нетвердых ногах. Она, казалось, все еще спала, и если двигалась, то лишь под впечатлением детского крика, который управлял ею, помимо ее сознания.

Бесприютный поднялся.

— Матрена! — окликнул он женщину.— Тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза, увидела Бесприютного, и довольное, доброе выражение появилось на ее сонном лице.

— А, ты здеся, Федор? Никак уже встал? Да, Федорушко, молочка бы ему: слышь, как заливается.

Федор направился к небольшому домику, где помещались караулка и кухня. Каждый раз с вечера он заготовлял молоко для партионных ребят, и не было еще случая, чтобы он забыл об этом. Не желая будить кашеваров, так как было еще рано, Бесприютный вышел из кухни во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Через минуту синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку; арестантка, все еще сонная, с выбившейся из-под платка косой, стояла тут же.

— Ишь, заливается, орет,— произнес Бесприютный,— ты бы хоть грудь дала.

— Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

— Ишь, бутуз. В кого он такой уродился? Ась?

Арестантка слегка потупилась.

— Да, чать, в Микиту Тобольского, с ним я в ту пору жила,— ответила она грустно.— А ты, Федор, вечор пошумел маленько.

— Пошумел,— ответил Бесприютный,— на вот, тащи. Покорми дите скорея...

Арестантка ушла. Бесприютный поднялся и прислушался, как мальчишка тянул теплое молоко, жадно ворча и чмокая. Лицо бродяги стало спокойнее.

А между тем день совсем разгорелся. Выкатилось на небо сияющее солнце, лес вздыхал и шумел, шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очеп колодца.

Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили надежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как те облака, что бежали в синеве небес...

Бродяга глядел своим обычным взглядом. Выражение горечи опять спряталось куда-то в глубь его спокойных, задумчивых глаз, и в движениях явилась привычная уверенность авторитетного старосты.

Он разбудил кашеваров, потом вошел в общую камеру.

— Ну, вставай, ребята, вставай. Переход ноньче дальний.

— А много ли?

— Тридцать верст до лукояновского этапу.

— Тише, ребята, не возись,— добавил он, взглянув в сторону, где было место молодого человека.— Барин

вон заснул... Чай, всю ночь не спал — не буди! Уходить станем, тогда побудим.

Действительно, молодой человек спал. Он вздыхал полной грудью; чистое бледное лицо было спокойно, и ветер, врываясь в окно, слегка шевелил его белокурые волнистые волосы...

1886

СКАЗАНИЕ О ФЛОРЕ, АГРИППЕ И МЕНАХЕМЕ, СЫНЕ ИЕГУДЫ

I

В то время Рим вознесся могуществом над всеми народами, а его владычество простерлось от края и до края земли.

В Европе римляне победили галлов и крепких телом германцев и бриттов, огражденных, кроме океана, еще стеною, и горную Испанию, охваченную морями. А также Греция, и народы, живущие около Понта, и многие другие признали власть орла.

В Африке от Столпов Геркулеса и до Чермного моря, Карфаген и бесчисленные эфиопы подчинились силе оружия и обязались поставлять запасы, которыми в течение восьми месяцев питался римский народ.

В Азии пятьдесят городов поклонялись правителю Рима, глядя на ликторские пучки, окружавшие консулов.

Египет и Аравия, народы Индии, и мидяне, и парфяне, и гордые киринеяне, ведущие свой род от лакедемонян, и мармаридяне, и страшные сиртяне, и насамоны, и мавры, и нумидяне, и многие другие народы, сложив оружие, склонились под ярмо и трепетали... Трепетали уже не перед мечом завоевателей, но перед пучками ликторских розог, которые напоминали народам об их постыдном рабстве.

Стихло сопротивление захвату, руки борцов упали в бессилии смерти, смежились очи, обращавшиеся к свободе, смолкли голоса, звучавшие призывом к защите... Над затихшим в ужасе миром взвился римский орел, и владычество Рима легло над порабощенной землей...

И мир на время наступил в мире. Но он нес с собою не процветание, а зло. Не маслина цвела на ниве жизни, а волчец и терн, потому что нива жизни поливалась не благодатным дождем, а кровавым пóтом рабства, и над землею от края до края стоял стон угнетенных...

И гордый Рим питался плодами рабства, как орел-стервятник питается падалью; от этих плодов яд разливался в народе, которым прежде всего отравились правители.

Первые кесари, встречая отпор и сопротивление народов, еще не забывших свободу, часто вспоминали о благоразумии; мерами кротости привлекали они тех, чьи руки могли еще мечами защищать вольность; под цветами человеколюбия скрывали они цепи рабства, чтобы не вызвать в гордых сынах свободы — желания смерти в бою.

И потому, завоевав Иудею, они оставили народу отеческие законы и веру в Единого, и собственное правление. А вторгаться воинам в пределы храма запретили под страхом смерти.

Но вот клики борьбы за свободу повсюду стихли, пало сопротивление насилию завоевателей, мир склонился в изнеможении, кой-где только в бессилии потрясая цепями. И так шли годы. Римляне привыкали повелевать, мир привыкал повиноваться. В сердце Рима росло высокомерие и гордость. Он думал: «Кто посягнет ныне на мое владычество?» И отвечал: «Никто». А в остальном мире рабство укореняло привычки страха и низкого преклонения.

И Рим в безмолвии общего рабства рычал на вселенную, как хищный лев ночью среди ливийской пустыни. А вселенная, как пустыня, со страхом внимала рычанию насильника, помня страдания отцов, но забывши их доблесть.

И по мере того как в народах смолкало святое чувство гнева — в Риме терялась мера благоразумия.

После кесарей Юлия и Августа воцарился свирепый Тиверий, а за ним Кай — безумец, мечтавший о том, чтобы обезглавить вселенную в лице самого Рима. И, наконец, после слабоумного Клавдия — жесточайший из людей Нерон попирал законы бога и природы с высоты кесарского престола, на виду у вселенной. «На

вершине горы поставил он ложе разврата», смеялся над добродетелью и кровью невинных напоил содрогавшуюся землю...

В Иудее же не было давно ни кроткого Петрония, ни даже Пилата, который некогда вынес из священного города знамена с изображением кесаря, чтобы не оскорбить народного чувства. Но Албин, правитель, человек алчный и жестокий, подобный разбойнику, свирепствовал над беззащитными, так что не было злодеяния, которое бы он оставил несовершенным. «Копиеносцев своих, назначенных к поддержанию порядка, употреблял к разграблению тихо живущих. Вольность слова была отнята, и возвысить голос к осуждению или к жалобе не смел никто, тогда как владычествовали многие» [1]. Никто уже не в силах был оказать справедливую защиту, но к грабежу и к обиде имел возможность всякий, кто только обладал силой.

Так возрастало страдание смиренно покорявшихся игу...

Так возрастало страдание, но предела еще не достигло.

Вступивший на место Албина, Гессий Флор показал, что в сравнении с ним и Албина можно было считать кротким. В то время как Албин свои злодейства совершал тайно и с укрывательством, Флор кичился ими, подражая Нерону. В делах, требовавших милосердия, он был бесчеловечен, дела же гнусности оставлял без наказания и сам являлся в них первым зачинщиком и покровителем.

Так росло дерево насилия на почве слабости и гордость на почве смирения. И не было народу надежды и исхода, так как источники правосудия были закрыты.

Случилось, что в праздник опресноков приехал в Иерусалим Кестий Галл — правитель Сирии, имевший силу у римлян. Тогда огромная толпа иудеев, окружив вельможу, с криком и слезами жаловалась на притеснения Флора, прося правосудия и защиты.

И Кестий стоял на возвышении среди простиравшего к нему руки народа и думал.

Он был суровый воин и не боялся смерти, но гнева

[1] Иосиф Флавий «О войне Иудейской».

своих повелителей боялся. Его сердце не билось учащеннее в сече, но трепетало перед взглядом немилости кесаря. Таковы сердца тех, кто служит насилию.

И Кестий думал: «Если окажу им защиту — могу подвергнуться немилости Нерона, так как Флор силен при дворе, а Нерон давно забыл правду. Если же не заступлюсь — мера терпения народа исполнится, и он восстанет. Тогда произойдет кровопролитие, и мне придется вести против них свои легионы. Последнее лучше. Легионы созданы на то, чтобы биться и побеждать».

И пока он так думал, народ простирал к нему руки, а Флор стоял рядом и явно смеялся народным слезам и народной надежде. Он знал, что не найдут правосудия.

Приказав народу замолчать, Кестий сказал им с лицемерием, чтобы они успокоились, так как он знает, что Флор и сам уже намерен оказать народу милость.

О правосудии же не сказал ни слова и уехал, а Флор выехал с ним, чтобы проводить его до Кесарии, в знак своего расположения к вельможе, сохранившему с ним согласие.

Затем, прислав в Иерусалим своих воинов, приказал им взять семнадцать талантов из сокровища храма, которое хранилось в башне, называемой Антония.

Такова была милость насильника. Флор посягнул на святыню, стремясь к ограблению храма и всего народа.

Был среди римлян некто именем Авл Катулл, начальник тысячи. Это был седой воин, помнивший времена борьбы и поступки суровых, но благоразумных вождей... Проникнув намерения Флора, он возвысил голос перед легионами и сказал:

— Помнишь ли ты, Гессий Флор, зачем ты прислан в эту страну? Затем ли, чтобы утеснять народ и самому безмерно обогащаться, или, наоборот,— чтобы мудрым правлением поддерживать единство империи? Когда же утесненный народ восстанет, а за ним восстанут другие — какой ответ дашь перед сенатом?

Но Флор, опьяненный властью и презрением к иудеям, смеялся словам Авла Катулла и говорил:

— Я знаю иудеев. Этот ли презренный народ подымется против нас, храбрых римлян? Нет, римская держава от них не поколеблется, а только мы, храбрые, получим легкую добычу. Иудеи трусливы и несогласны. Если даже восстанут, то при легкой победе представится

случай к большей корысти, без страха перед кесарем и сенатом. Если же будут все сносить с обычным смирением, то мы захватим сокровища храма и возвратимся на родину богачами, предоставив новым легионам искать новой добычи. Корысть — жребий храбрых, а жребий смиренных — работа для других... Ты, Катулл, малодушен, и потому недостоин командовать мужами, но должен стать в ряды простых воинов, а другие поведут легионы к богатству.

Тогда среди римлян послышались громкие крики. И хотя были воины, любившие Катулла и думавшие, как он, но таких было мало, и потому не смели противиться. Катулл снял знаки начальника и стал в ряды простых воинов.

А в Иерусалиме среди народа тоже настало великое смятение. Будучи несогласны между собою, люди шумели и спорили. Одни говорили:

— Долго ли нам терпеть насилия и оскорбления святыни? Разве не видно, куда влечет Флора корысть и злое сердце!.. Не остановится, пока не захватит святыню, а захватив — получит новое побуждение к дальнейшим насилиям. Ибо как легионы стоят вокруг знамени, так наш народ — вокруг святыни. И если знамя захватит неприятель, то легион побеждается и неприятель побивает бегущих с большею легкостью. Так и Флор скажет себе: если этот народ не мог отстоять свою святыню, то чему же после этого воспротивится? Того ли желаем? Желаем ли, чтобы легионеры, возвращаясь на родину, отягченные добычей, говорили своим товарищам: «Идите в Иудею. Там народ с малой душой, и воину не предстоит опасности в сражении, а только одни приятности: иудеи не защищают своих, но отцы со смирением приводят дочерей несозревших к ложу солдата».

Так говоря, разжигали в народе мятежные чувства, и многие говорили: «Лучше смерть у порога Антонии, на защиту святыни и чести. Флор хочет меча, будет иметь меч. Мы не видим правосудия у кесаря, так пусть же Бог, управляющий бранью, рассудит нас с Флором».

Таковы были многие из народа, а также и из ученых многие мудрецы и между другими — Менахем, сын Иегуды Гамалиота, пролившего кровь в борьбе за свободу отечества.

Отец завещал сыну свою любовь и свою ненависть. Его любовь была любовь к свободе, а его ненависть — вражда к угнетению. Менахем говорил, подобно своему отцу: «Недостойно кланяться перед алтарями римских кесарей, потому что кесари — люди; преклонение же подобает единому Богу, создавшему людей для свободы».

Кроме того, мудрый Менахем, скорбя о бессилии своего народа, углублялся в книжное изучение и познавал из книг завета и из книг иноземных все, что происходит на свете, и что есть зло и добро, и в чем сила народов сильных, и откуда идет слабость ослабевших. В учении он был велик и не походил ни на гордых фарисеев, ни на смиренных ессеев, ни на саддукеев, кормившихся от храма. Но пытливым умом искал неустанно истину, обращая стремления души своей вперед, а не назад.

И слава Менахема разошлась среди народа, и даже иноземцы называли мудрого Гамалиота острым философом, потому что язык его был подобен мечу, поражавшему лживые измышления. В сердце же Менахема любовь и ненависть горели, как яркое пламя.

Любовь была пламенем, а ненависть ветром. Ибо по мере того как ненавистный гнет усиливался, Менахем отдавал свое сердце народу — сердце, горевшее любовью.

Если же сравним ненависть с пламенем, то любовь была бы ветром, потому что от любви к угнетенным разгоралась ненависть к угнетателям.

И теперь Менахем могучим голосом призывал к оружию иерусалимлян, и галилеян, и гадаритян, и быстрых в нападении идумеев. «Встаньте,— говорил он,— и тогда час божий пробьет над Флором».

Но другие в Иерусалиме были противного мнения.

«Так как,— говорили они,— Флор ищет войны, то мы, наоборот, должны сохранять кротость и терпение, чтобы не потерять и того, что еще у нас осталось».

Таковы были священники и вельможи, и все, кормившиеся от храма, и богатые, боявшиеся потерять богатство; они ходили меж народа, припадая к ногам даже простых людей и смиренно обнимая их колена, чтобы склонить к поступкам кротким и к терпению.

И им удалось склонить народ на сторону смирения.

Между тем Флор приближался с отрядом, возвращаясь из Кесарии. Народ иерусалимский, выйдя из города, встретил его на дороге с приветом и принес легиону доброжелательные поздравления. Но Флор осердился.

— Презренные! — сказал он с гневом.— Знаю, что в сердце своем каждый из вас меня ненавидит, на устах же ваших привет лицемерия... С оружием в руках встретили бы вы нас, если бы были мужами чести и правды. Смотри, Авл, на этих людей, которых ты боишься.

И он приказал своим воинам броситься на иудеев. Тогда случилось, что смиренные люди, пришедшие поздравить римлян, бежали к городу, подобно испуганному стаду, римляне же настигали их, как волки. И так спустилась над городом ночь среди криков, смятения, убийства, хохота и стонов...

Наутро же Флор приказал воинам разграбить торговую площадь, называемую Верхней, и воины грабили, а встречавшихся побивали без милосердия. В городе сделалось великое бегство по улицам, и убийство людей, и насилие жен, и истязание невинных. Всех же с женами и детьми избито в тот день шесть тысяч триста иудеев.

Тогда собралось на Верхней площади великое множество смущенного народа, так что некуда было упасть яблоку. Мятежные люди, собравшись вокруг Гамалиота, разжигали в народе огонь негодования и мести за невинно погубленных. Вся же толпа с великими воплями оплакивала убитых.

Флор, собрав воинов, заперся в своем дворце, выжидая, что станут делать. Римляне говорили теперь вместе с Авлом: «Ожесточили мы этот народ свыше меры!.. И вот, над головами нашими, как туча, висит праведная месть». А Флор молчал.

Но знатнейшие граждане и первосвященники опять бросились в среду народа и опять, унижая себя перед простыми людьми, умоляли обратиться к смирению. «Флор,— говорили они,— уснул теперь, как тигр, пресытившийся кровью. Не будите же тигра в его берлоге, дабы не возбуждать свирепого зверя к новым напастям».

И опять народ послушался и, утишив плач, стал расходиться. Напрасно мятежный Гамалиот возвышал голос, призывая к оружию. Он был подобен льву пустыни, у которого ускользнула добыча. Напрасно скрежещет он зубами и когтями роет землю.

———

Начальники же и первосвященники, придя к дому Флора и будучи к нему допущены, сказали свирепому римлянину: «Вот, мы опять усмирили народ. Неужели ты забудешь наше смирение?»

А Флор со смехом повернулся к сотникам и начальникам тысяч и сказал: «Вот видите!» Иудеям же ответил ласково, замышляя вновь злейшее коварство:

— Вижу, что вы смиренны, но не знаю еще, до какой степени. Чтобы убедить нас всех — выйдите опять с народом на дорогу и приветствуйте возвращающиеся из Сирии легионы.

Сам же заранее послал тем воинам свои наставления.

Священники и начальники смутились. Они знали, что теперь предстоит самое трудное. Поэтому, войдя в храм, облачились во все украшение, в котором совершается служба, а также взяли священные сосуды и, захватив с собой певцов и гусляров, со всеми их орудиями, пошли по улицам, привлекая народ зрелищем великолепия.

Когда народ собрался, стали вновь склоняться перед ним, прося еще раз смириться и не доводить римлян до того, чтобы они все эти сосуды разграбили. Первосвященники рыдали, склоняя головы, посыпанные пеплом, с разодранными одеждами и обнаженной грудью. «Сохраните нам эти сосуды! — молили они.— Не предавайте отечества своим непокорством в руки тех, которые стремятся к конечному разграблению. Если еще раз окажете покорность и вновь встретите воинов с кротким приветом, тогда у Флора не останется никакого предлога для нападения, вы же спасете отечество и сами ничего уже более не претерпите!»

Так говорили они. А Гамалиота не было в Верхнем городе; отойдя к могиле первосвященника Иоанна, что за городскою стеной,— Менахем готовился уйти в Галилею с учениками и приверженцами из галилеян и идумеев. Но прежде он предложил священникам: «Идите, но позвольте и нам идти за вами. Если вас не тронут, наш меч останется в ножнах. А если опять кинутся на беззащитных, то встретят собственную гибель». Священники же отвергли его предложение и сказали: «Мы победим покорностью».

Тогда Гамалиот тронулся в путь со своим отрядом, как уходит лев между собаками: римляне сторонились, когда, сверкая копьями, идумеи шли за своим вождем, а молодые галилеяне смотрели на римских воинов бес-

страшными глазами. И когда они проходили мимо римских шатров, старый Авл Катулл крикнул:

— Привет смелым! Уважение сыну Иегуды!..

А священники и старейшины вывели народ на кесарийскую дорогу, и все с тихою робостью и в порядке пошли навстречу сирийским легионам.

Среди пыли и топота ног подошли к ним суровые римские воины и стали в молчании; и на привет свой иудеи не слышали ответа. Когда же из их среды раздался голос, просивший у воинов снисхождения к народу, чтобы не поступали подобно Флору,— тогда римляне вновь кинулись на иудеев, с мечами и копьями, и вновь беззащитные побежали.

И опять кровь обагрила дорогу: римляне настигали бегущих оружием и давили конями. В воротах же от теснившейся толпы причинилась иудеям окончательная гибель, так что не осталось из вышедших ни одного человека, которого могли бы узнать ближайшие сродники.

Воины же, разгоряченные запахом крови и стонами людей, бросились через Везефу и, пронеся с собой смерть по улицам города, устремились к Антонии, мечтая среди смятения достигнуть и захватить сокровище храма. И Флор, выйдя из дворца, весело отдался сече, говоря своим воинам: «Напрасно вы боялись этого народа. Вот теперь мы, две горсти храбрых людей, гоним тысячи и можем захватить сокровище без большого труда».

Так еще раз заплатили римляне иудеям за их смирение. Но захватить сокровище не успели, так как люди Гамалиота услышали стоны сограждан, кинулись навстречу римлянам и задержали их в улицах, ведущих к Антонии и храму. Потом, подрубив переходы, ведущие от храма к Антонии, заградили римлянам путь в башню и утишили таким образом сребролюбие Флора. Ободрившиеся же иудеи, став на высоте переходов, кидали в римлян камнями сверху. Легионы устрашились и отступили. Иудеи же, как толпа охотников на бегущего зверя, ринулись на отступавших, и многие из грабителей пали на улицах, звеня щитами и окровавленное оружие валяя в пыли.

И Флор, мрачно сдвинув брови, отступал вместе с другими, защищая свою жизнь против разъярившихся иудеев и стыдясь Авла и его сторонников.

И так спустилась ночь, но и ночью на улицах и над храмом, и по всем площадям и переходам стоял гул голосов, а полная луна освещала движение восставших. Гнев народа переполнил чашу терпения.

Римляне развели костры у дворца Флора, и воины стояли в мрачном молчании на площади. Они увидели, встретив отпор, что поступили неблагоразумно и жестоко. Они смотрели на небо и видели предзнаменование: луна, склонясь к земле, краснела, как будто погружаясь в кровавые волны; и стены храма отсвечивали багряным светом, как будто кровь убитых разлилась по земле и по небу и вместе с воплями восставшего народа сгущалась тяжелым облаком, которое простиралось над холмами Иерусалима.

И вспомнили легионы слова благоразумного Авла, а его приверженцы возвысили голос:

— Старый тысяченачальник был прав,— говорили они,— Флор привел нас к позору.

И, собравшись вокруг Авла, послали его к Гессию сказать от имени войск:

— В настоящую минуту мы тебе еще повинуемся, но знай, жестокий человек, что мы сами принесем на тебя жалобу сенату. Взгляни — кровь наша и кровь иудеев, пролитая по твоей вине, взывает к небу.

Это были слова немногих благоразумных, которые теперь получили значение, а дерзкие насильники, стоявшие прежде за Флора,— молчали. Потому большинство склонилось на сторону благоразумных.

А багряный свет все более и более заливал небо и землю.

Когда луна скрылась, над землей простерся мрак и вторая стража ночи сменила первую — Флор угрюмо вышел из дворца с потупленными от стыда глазами и повел в молчании легионы из города.

Наутро в священном городе Иудеи не было римлян.

II

Над городом Гамалой садилось солнце...

Тихий вечер спускался над всей Иудейской землей, осеняя эту землю благодатью покоя...

Вечерние тени кое-где уже трепетали в долинах, но

ночь не зажигала еще своих блестящих лампад. И еще не было видно огненного меча, который вот уже несколько ночей всплывал в синем эфире и горел в небе, заставляя сердца людей биться тревожным ожиданием.

Грозная звезда, как пламенный меч ангела, каждую ночь тихо плыла в беспредельных пространствах, и люди чувствовали, что так же неуклонно идут в мир великие события и великое горе...

Но теперь, в этот час тихого заката,— мир, казалось, забыл о звезде, вестнице горя, и отдавался беспечно спокойствию отдыха. Горы синели, алел закат золотыми багрянцами, тихо таяли в вышине белые тучки, роскошные пальмы поникли головами в истоме, и дальняя пыль клубилась на дороге, играя переливами последних лучей...

Ничто не говорило людям о грядущих бедствиях...

И только там, в вышине, над звездами сонмы ангелов, предстоявших престолу Иеговы, закрывали глаза крыльями и восклицали неслышными для смертного уха голосами:

— Горе вам, о Иерусалим и Гадара, и несчастная самоубийственная Иотапата!..[1]

Но смертные не слышали этих воплей, и завеса близких времен не поднималась перед их взорами. Внизу, на земле, обвеянной сумраком заката, существовало лишь настоящее. Бог судил смертным — не видя грядущего, самим искать впотьмах пути своей жизни, пытливо исследуя, где зло и где благо...

И слепой род ликовал. Отступили легионы Флора, и Кестий потерпел неудачу. Казалось, невзгоды миновали, и дочери Галилеи сплетали венки и пели песни. А в Иерусалиме даже фарисеи возвещали вести свободы.

Но Гамалиот не участвовал в ликовании. Он знал, что война еще впереди, что римский орел собирается расправить когти, и потому, удаляясь от Иерусалима, ходил по стране, созывая ополчение. И теперь, утомясь призывами к оружию, пришел в свой дом, чтобы отдохнуть.

И, смотря на багрянец заката и на синее небо, он плакал, потому что ясное небо говорило ему о вечном законе мира, а его сердце жаждало мира на земле, от-

---

[1] Во время завоевания Иудеи, взойдя на стены осажденного города Иотапаты, римляне нашли всех ее жителей мертвыми. Им удалось разыскать лишь одну старуху, которая рассказала, что осажденные накануне последнего штурма перебили прежде жен и детей, а затем и сами погибли добровольно, предпочитая смерть рабству.

вращаясь от крови и брани. И казалось, оно смягчается от ласкового дыхания кроткой зари и в душу Гамалиота спускается тихое спокойствие.

Вокруг него, на ступенях дома, возлежали его ученики и приверженцы в одеждах отдохновения. И все молчали, потому что молчал учитель, над которым пролетел тихий ангел забвения... Он забыл о римлянах, и о погибших братьях, и об отце, сложившем голову на войне за свободу, и о невинно пролитой крови, и о том, что его ждут убийства, и опасности, и вражда, и, может быть, заблуждения, и гибель...

И, вздохнув полною грудью, Гамалиот сказал:

— Люди должны быть братьями, а божий мир хорош...

Но дальняя пыль, клубясь на дороге, катилась все ближе, и, прикрыв глаза рукою, Гамалиот увидел толпу людей, которые шли к его дому.

Тут были вестники из Иерусалима, пришедшие с известиями к Менахему, и галилейские поселяне, и идумеи, и ессеи в белых одеждах. Идя по дороге, они спорили между собою, смущая гулом нестройных голосов тихую негу вечера.

И так подошли к дому Менахема, иные звеня запыленными доспехами и все не переставая спорить. Когда же подошли близко, то стали, и Менахем спросил, в чем у них спор.

Вперед выступили вестники и сказали:

— Мы идем с вестями из Иерусалима и прежде всего выслушай нас.

Менахем сказал: «Говорите», и они рассказали Гамалиоту:

— После того как ты и многие другие удалились из Иерусалима, чтобы призвать на помощь страну,— в Иерусалим возвратился царь Агриппа, бывший в отсутствии. Увидев, что народ готовится к свержению ига, он огорчился, думая о своей власти... Ибо, если он примкнет к народу, то римляне в случае победы свергнут его с престола. Тоже и иудеи — если пристанет к римлянам. Царь Агриппа имеет престол и потому готов примириться с рабством. Собрав народ, он обратился к нему с увещанием. Народ стоял внизу на улицах, а царь стоял на

высоте переходов. Сестру же свою Веронику, любимую народом за кротость, поставил против себя на кровле Асмонеева дома, приказав ей на виду у всех проливать слезы. Так хотел силой своего изощренного красноречия смутить мысли народа, а женскими слезами — залить пламя народного гнева. В речи своей Нерона называл «кротким правителем», а римлян — «великодушными победителями» и говорил: «Ничего так не смягчает боль от ударов, как кротость и терпение обиженных...» И смутил многих. Теперь в разных концах страны повторяют слова Агриппы, и в единодушно восставшем народе посеян раздор. И вот эти, с нами пришедшие, тоже держатся разных мыслей и спорят...

Когда вестники кончили рассказ, тогда выступили вперед Матафия и Захария, купцы, и сказали Менахему:

— Агриппа прав, а ты и твои сеете зло: твой отец погиб на войне и погубил наших отцов, неповинных в мятеже, и ты хочешь мятежом погубить нас, мирно торгующих. Ты не дорожишь своею жизнью, потому что у тебя нет богатства, а мы дорожим. Будь же справедлив, мудрый Менахем, сын погибшего Иегуды.

Менахем холодно ответил купцам:

— Мой отец погиб, и ваши отцы тоже погибли... Мой отец погиб с оружием, а ваших отцов убили разъяренные победители; но воистину говорю вам: не мой отец погубил ваших отцов, а наоборот — они погубили доблестного Иегуду.

И купцы спросили: «Как это?» Менахем ответил:

— Иегуда исполнял свой долг, сопротивляясь насилию завоевателей. Так делали доблестнейшие мужи у всех народов: парфян, и нумидийцев, и мавров. И если бы все исполняли этот долг, то Рим не дерзал бы выйти за свои пределы, и на земле был бы мир, и земля не стонала бы под игом. И мой отец был бы жив. Но ваши отцы так же, как малодушные из других народов, оставили своих защитников без помощи, и они погибли, а нам, сынам тех людей, достался позор рабства. Вот что отвечу я вам, торговцы... Идите!..

Тогда подошли к нему ессеи в белых одеждах и сказали:

— Ты сеешь зло, мудрый Менахем, учением, которое в гордости своей стремится проникнуть во все, что было,

что есть и что будет. Не довольно ли человеку знать закон Моисея и еще — как пахать землю?.. Ты сеешь зло также учением, которое зовет на борьбу!.. И горе тебе, Менахем, сын Иегуды! Когда осаждают город и город сопротивляется, то осаждающие предлагают жизнь кротким, а мятежных предают смерти. Мы проповедуем народу кротость, чтобы он мог избегнуть гибели... А мятежные умирают смертию... И поэтому мы — живые люди, а вы обречены на смерть... Чье же учение лучше?..

И они сказали ему притчу, которую Менахем слушал со вниманием, и другую, и третью, в которых говорилось, что борьба — зло.

— Воду,— говорили они,— не сушат водой, но огнем, и огонь не гасят пламенем, но водой. Так и силу не побеждают силой, которая есть зло...

И ученики Менахема бен-Иегуды смутились.

Но сам Менахем не смутился и ответил:

— Правду сказали вы, кроткие ессеи: когда город сопротивляется, то осаждающие направляют оружие на тех, кто его защищает; тем же, кто склонен сдаться, обещают жизнь, чтобы склонить большее число к сдаче... Да, это правда! Но когда на город нападают грабители и никто не смеет встать в защиту, что тогда делают насильники?.. Не избивают ли они всех без различия, не видя никакой разницы, ни причины для милости?.. Вспомните Флора: не убивали ли его воины и тех, кто выходил навстречу легионов с кротким приветом? А ныне Кестий, воюя с нами, привлекает вас обещанием безопасности и покровительства! Не видны пути господни смертному оку: быть может, мы, защитники свободы, погибнем, а вы останетесь с детьми и с детьми детей. Тогда, кроткие ессеи, не вспомните ли вы с благодарностью о нас, мятежных, привлекших на себя весь гнев насильников и своею гибелью купивших вам мир и спокойствие?.. Будьте же благодарны гибнущим вы, кроткие и сохраняющие жизнь; ибо ваша кротость получает цену лишь посредством нашей строптивости, а ваше спокойствие подобно цветам, расцветающим на полях, удобренных нашею кровью...

— И еще отвечу вам на ваши доводы:

Вы прибегаете к уподоблениям и притчам. Это мехи, в которые можно влить вино худое и хорошее; но по

мехам нельзя узнать, какое вино худо и какое хорошо; вино узнается в употреблении.

Так и истина познается и доказывается не уподоблением, но опытом, который есть проба истины...

Сила руки не зло и не добро, а сила; зло же или добро в ее применении. Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего — она добро.

И если вы думаете, что ангел, раскрывающий смысл уподоблений, служит только вашей истине, то в этом вы ошибаетесь. Огонь не тушат огнем, а воду не заливают водой. Это правда. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу — силой... И еще: насилие римлян — огонь, а смирение ваше — дерево. Не остановится, пока не поглотит всего. Флор избивал даже самых кротких, а теперь Кестий обещает пощаду даже сражавшимся. Это потому, что вместо вашего дерева — римляне встретили наше железо... Насилие питается покорностью, как огонь соломой. А гневная честь родит в насильнике воспоминание о пользе кротости. Таковы мои уподобления...

И ангел притчей не вам одним раскрывает их тайну. Я тоже беседовал с ним, и послушайте, что он рассказал мне.

И рабби Менахем рассказал ученикам своим и пришедшим к нему ессеям следующую притчу:

— Однажды Бог сжалился над землею, сплошь покрытою злом и бедствиями. И сказал: «Я пошлю людям ангела, которого еще не видела земля...» И он позвал к себе невинного ангела, которому имя «Неведение зла».

Во взоре небожителя была такая глубокая ясность, такая тихая радость и кротость невинности, что всякий раз, когда взор Бога, слишком долго обращенный на грешную землю, омрачался,— он смотрел в лицо своего любимца, в его синие, сияющие глаза, и Сам прояснялся... Ангел предстал перед Богом в своей белоснежной одежде и поднял на Него свои взоры, в которых искрилось юное неведение...

И Бог сказал своему ангелу: «Лети вот туда, на землю, пусть люди увидят твою ясность и устыдятся мрачного позора. Устыдятся и бросят. Твое неведение так сильно, что и они забудут о пороке».

Ангел улыбнулся и тихо понесся к земле.

Многие его видели, и кому случалось взглянуть в его чистые глаза, тот просветлялся... И несчастный забывал свое горе, а злой забывал свою злобу, и кругом ангела злоба смолкала, а он летел дальше, и по-прежнему глаза его были ясны, потому что он не ведал зла.

Однажды он летел над землей и увидел в лесу человека. Человек шел по тропе, прислушиваясь к лесному шуму, и озирался, потому что за ним гнались люди.

Но ангел не знал, зачем люди гонятся за человеком, и хотел спуститься к несчастному и предстать перед ним в чаще, сияя своей чистотой и кроткой невинностью.

Но в это время тот человек подошел к жилищу другого человека, который сидел на пороге, и, упав в изнеможении перед домом, беглец сказал:

«Я не могу идти дальше, я утомлен, и за мною погоня, и меня убьют. Дай мне приют и защиту под твоим кровом».

И человек ответил: «Я знаю, кто тебя гонит. Их отцы и деды всегда гнали невинных, а мои отцы и деды давали приют слабым и угнетенным!.. И я дам тебе приют. Войди в мой дом и усни... Но прежде дай я разобью твои цепи, как делали мои отцы и деды и завещали мне».

И он сломал цепи и сильной рукой бросил их далеко, сказав: «Да не осквернится дом отцов моих и дом моих детей цепями рабства!»

И гонимый человек вошел в дом и уснул, а ангел все слышал и видел и ничего не понял, потому что имя его было Неведение.

Он склонился над истомленным, и улыбка заиграла на устах спящего, и душа его стала ясна, а сон крепок.

И потом ангел подошел к хозяину, сидевшему на пороге, но хозяин не увидел ангела Неведения, потому что взоры его были устремлены в лес. Он сторожил сон своего гостя.

Тогда ангел полетел дальше.

И невдалеке встретил людей, усталых, измученных и разъяренных. Пот и злоба застилали их глаза, и они не видели, что перед ними ангел, а только спрашивали — не видел ли он человека в цепях.

И ангел протянул с ясной улыбкой руку к дому, где видел человека в цепях, и сказал: «Идите за мной — он там».

И сам пошел впереди и привел их к дому, где беглец спал с улыбкой на лице, потому что душа беглеца была ясна.

И только хозяин заслышал шаги людей и увидел идущих, он быстро поднялся и вошел в дом.

И, разбудив спавшего, сказал ему: «Брат, ты отдохнул. Уходи из моего дома и спеши уйти подальше, потому что сюда приближается погоня...»

Человек испугался и сказал:

«Они убьют меня в лесу. Я слишком долго спал у тебя и потому не успею уйти... Горе мне, я погиб».

Но хозяин ответил:

«Уходи скорее, а я займу их здесь. Отцы и деды завещали мне хранить сон гостя, и еще никто не страдал от того, что спал в моем доме».

Беглец поверил и пошел в лес, а хозяин взял оружие и стал на пороге.

И люди погони, подойдя, увидели хозяина и сказали:

«В твоем доме есть человек, которого мы ищем убить. Отдай нам его».

Но хозяин отвечал:

«Ваши отцы и деды всегда гнали невинных, а мои отцы завещали мне хранить сон гостя».

Тогда люди обнажили мечи, а ангел стоял и не понимал ничего, потому что имя его было Неведение.

И сталь скрестилась со сталью и громко звенела и визжала, оспаривая жизнь человека, который защищал жизнь другого...

И долго сталь сверкала, скрежетала и звенела, пока наконец с коротким шипением змеи не впилась в грудь защитника. И он упал на порог своего дома, обагренный кровью...

Эта кровь брызнула из раны и попала на белоснежную одежду ангела и осталась на ней алым пятном. А слух ангела был поражен предсмертным стоном человека, которого он погубил по неведению...

Гонители же кинулись в дом и никого не нашли. И, выйдя оттуда, сказали хозяину:

«Вот ты скрыл от нас истину и сам умираешь».

А хозяин ответил:

«Я скрыл от вас истину, но моя правда ясна перед Богом, потому что я умираю, защитив слабого, как делали мои отцы и деды. И свою кровь я завещаю моим детям и детям вашим».

И с этими словами он умер, а ангел, слышавший все

слова, не понял их смысла, потому что его имя было Неведение...

Но лишь только взгляд ангела упал на алую кровь,— ее отблеск отразился в его глазах, и они потеряли свою прежнюю ясность... Он поднял их на людей с выражением жалобы и испуга, а затем в ужасе смерти поднялся к престолу Бога и стал перед Ним. И Бог взглянул в его глаза и на его одежду...

Ангел стоял перед Ним, и в глазах его не было ясности, а было смущение, и боль, и стыд, потому что он был обагрен кровью. И глаза ангела были мутны, потому что в них не было уже чистого неведения прежних времен, но они не засияли еще скорбным познанием.

И Бог омрачился, а ангел сказал с упреком:

«О Адонаи, Адонаи!.. Вот куда Ты послал своего любимца... вот что люди сделали со мною... на моем сердце теперь камень...»

И Бог, глядя на ангела, заплакал:

«О люди, люди! Род жестоковыйный и неисправимый — что вы сделали с Моим любимцем! Исполнилась мера долготерпения Моего, и Я пролью на вас гибель...»

И, обратившись к ангелу, спросил:

«Как это случилось с тобою и где потерял ты свою прежнюю ясность?»

Тогда ангел рассказал Адонаю все, что с ним было:

«В лесу я видел человека в цепях и другого, сидевшего на пороге хижины. Они говорили что-то о гонениях и о защите, но я ничего не понял. Потом утомленный человек вошел в хижину, а я полетел дальше... Я хотел предстать пред ними, но они меня не видели, потому что были заняты другим...»

«Им не нужна была твоя ясность,— сказал Бог.— Ранее ты должен бы предстать перед гонителями, а перед гонимым после».

«Я не знал,— сказал на это ангел.— И дальше я встретил других людей, которых глаза застилали пот и вражда. Они спрашивали, не глядя на меня,— где человек в цепях. Я улыбнулся им и указал хижину...»

Бог поник головой и сказал:

«Горе, великое горе!.. Ты сделал не то, что было нужно».

А ангел рассказал до конца и воскликнул:

«Ты сам послал меня на землю, Ты виновен в том, что случилось, а не я!.. Сними же тяжесть, которая давит мне сердце, сними с моей одежды эти отвратительные

алые пятна!.. Сделай, Предвечный, чтобы *я не знал*, как прежде, чтобы в душе моей опять воцарилась ясность святого неведения...»

И ангел, рыдая, склонился перед престолом Бога.

Но Бог ответил:

«Не знаешь сам, о чем просишь. Я не сделаю этого, но сделаю другое: вместо *Неведения* я дам тебе *Скорбное понимание*».

И Бог рассказал ангелу, какая кровь обагрила его одежду, и сказал ему:

«Я заповедаю тебе носить эту кровь, как святыню. Это чистая кровь, пролитая на защиту слабого. И, зная это,— ты будешь скорбеть, а неведение никогда к тебе не возвратится.

Даже и Я не могу изгладить на скрижалях времен то, что раз было в прошедшем. И неужели ты хочешь, чтобы назади осталось все то, что было, а в твоем сердце царила бы ясная радость?.. Того ли желаешь, о том ли просишь?..»

И, пока Бог говорил, в глазах ангела исчезла смущенная боль, и засветилось в них скорбное знание, и он ужаснулся и упал перед престолом Божиим и воскликнул:

«Нет, Всемогущий!.. Не хочу ясности неведения!.. Оставь мне навсегда мою скорбь».

И Бог поднял ангела и сказал:

«Ты по-прежнему будешь Моим любимцем, и моя любовь станет к тебе еще больше... Но отныне имя тебе будет уже не *Неведение*... Твое имя *Великая скорбь*...»

И ангел поднялся и поднял глаза на Бога; и Бог опять с любовью смотрел в эти глаза и видел в них... скорбь.

И ангел сказал: «Теперь, Господи, отпусти меня опять на землю... Я снесу священную кровь праведника детям его и детям убийц... И пусть, когда они вырастут, ясность заменится в их глазах скорбью познания...

И тогда впервые будут готовы встать на защиту слабых, по обычаю своего рода, и будут исполнять завещание отцов до тех пор, пока дети гонителей поймут всю скорбь, истекающую из завещания насильников».

И, преклонясь перед престолом Бога, ангел поднялся и, взмахнув крылами, понесся к земле, а Бог с любовью следил за тихим полетом Скорби... . . . .

. . . .

Пока Гамалиот говорил притчу, вечер одел землю своею синею ризой.

И земля утонула в сумраке, а в небе зажглись огни господни, и опять пламенный меч засиял в вышине, обращаясь к стороне Иудеи.

И сердца всех смирились и стихли, а в души вступила благоговейная робость перед знамением воли господней. И все молчали, прислушиваясь к тишине ночи. Людям казалось, что они слышат грозный бег звезды в бесконечных пространствах — звезды, знаменующей неотвратимые события.

А Гамалиот встал на ступенях своего дома, поднял руки к синеве неба и, весь озаренный отблеском небесных огней, воссылал мольбы к Всевышнему:

— О Адонаи, Адонаи!..

Ты посылаешь на землю знамения, но не открываешь их смысла. В этой земле, на которую обращено лезвие меча Твоего гнева,— ныне есть угнетатели и угнетенные. Первым ли, или вторым грозишь Ты этим знамением?..

Да будет воля Твоя, Всевышний, но вот к Тебе моя горячая молитва. Прими ее Ты, восседающий в горних и мудрым оком видящий бесконечные времена. В Тебе исполнение надежд, в Тебе разрешение неведомых, в Тебе примирение...

И если Ты, в бесконечной мудрости, судил в наше время гибель правому делу и еще раз дашь торжествовать насилию,—

И если нам, защитникам, суждено погибнуть, а угнетатели воздвигнут алтари торжества и нечестия на месте Твоих алтарей —

Да будет!..

Но исполни же просьбу обреченных, исполни нашу просьбу, Всевышний!

Пусть никогда не забудем мы, доколе живы, завета борьбы за правду.

Пусть никогда не скажем: лучше спасемся сами, оставив без защиты слабейших.

Пусть ни один наш удар не будет направлен против неповинного в насилии.

Пусть никогда не посягнем на святость чужих алтарей, помня поругание своих.

Пусть мысли наши сохраняют ясность, дабы направлять стопы наши по пути правды, а удары рук — на защиту, а не на утеснение.

И когда будут смежаться наши очи в виду смерти —

не отыми у нас, Адонаи, веру в торжество правого дела на земле.

Чтобы мы знали, что закон правды непреложен, как непреложен закон природы: вот ныне грозное знамение пламенеет в синеве неба, но оно пробежит и исчезнет. А кроткая луна, которая ныне мало заметна,— будет восходить над землей в свое время от века и до века.

Когда же пробьет час Твоей воли и мы погибнем, пусть ангел скорби осенит своим крылом наши могилы и поведает о нас нашим детям и детям врагов наших, чтобы и наша смерть служила правому делу.

И я верю, о Адонаи, что на земле наступит Твое царство!..

Исчезнет насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от руки человека.

Тогда ангел скорби, радостно взмахнув своими крылами, поднимется к небу, а на земле будет радость и мир.

Пусть тогда люди вспоминают о нас, несчастных, в жестокое время проливших свою кровь для дела защиты, а не для утеснения. Аминь!..

1886

«ЛЕС ШУМИТ»

Полесская легенда

Было и быльем поросло.

I

Лес шумел...

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игол, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не ше-

лохнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зеленые травы; белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался еще косой луч заката, но в чащах расползались уже мглистые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; впору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щелкающему лесному эхо. Он сам прибавлял шагу к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась над стеной красных стволов; она как будто врастает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, повидимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед! Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головой.— Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... Корова куда-то ушла — пожалуй, медведи... задрали... Вот оно как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди,— кивает дед, и пока я подвязываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят, и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю,— говорит старик, принимаясь опять за лапоть.— Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню — ой, хорошо помню! А новых людей все забываю... Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?

— Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит лес, шумит и днем и ночью, зимою шумит и летом... И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... Эге, вот как! Может, и вовсе не жил...

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идет,— сказал он через минуту.— Это вот я знаю. Ой-ой, заревет ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин...— добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое дерево, все что-то лопочет — и ветру нет, а она трясется. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет. Это еще ничего... А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, ду́ба уже трогает на поляне... Это к буре.

Действительно, куча невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищенных высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них несся глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона сосен.

— Эге! Слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски лукавой улыбкой.— Я уже знаю: тронуло этак вот

дуба, значит, *хозяин* ночью пойдет, ломать будет... Да нет, не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину... вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эге, я ж это знаю!.. Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему и не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как еще видели мои глаза смолоду!..

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот, все равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору... То звенит, а то стонать начнет: о́-ох-хо-о́... о́-хо-о́! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повалит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все больше, а ночью и пойдет крутить: бегает по лесу, смеется и плачет, вертится, пляшет и все на дуба́ налегает, все хочется вырвать... А я раз осенью и посмотрел в оконце; вот *ему* это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах в него сосновою корягой; чуть мне все лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

— А каков же он с виду?

— А с виду он все равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы — как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями... Тьфу, какой некрасивый! Не дай же бог ни одному крещеному на него походить... Ей-богу! Я таки в другой раз на болоте его видел, близко... А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь *его*. Взойди туда, на гору,— лесом та гора поросла,— и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидать: идет он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается... Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. А где пройдет, там след белым снегом устилает... Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин — мерзенная тварюка, это правда. Крещеному человеку обидно увидать такую некрасивую харю... Ну, только надо о нем правду сказать: он зла не делает... Пошутить с человеком пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу бывальщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно... Помню, я... ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай.

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

— У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я еще малым хлопчиком был... Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что же нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и пан тоже себе думает... И пришел на тот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и ему хлеб...» Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «Бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот человек в лесу один жил:

медведь ему, люди говорили, все равно что брат, а волк — племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей сторонился и не глядел даже на них... Вот он какой был — ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведет... Ну, а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьет, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сторожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему жинку Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Ромасю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне біса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопец есть? Не хочу я, говорит, жениться!» Не привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... Как вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себе, что теперь уже таких нету,— нету таких панов больше — вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого... настоящего... Так себе, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних... Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да еще как!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх норовит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята — и старые петухи забегают... Вот же ястреб — панская птица, а курица — простая мужичка...

Вот, помню, я малым хлопчиком был: везут мужики из лесу толстые бревна, человек, может быть, тридцать. А пан один на своем конике едет да усы крутит. Конек под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! Завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами шапки снимают. После сколько бьются, из снега бревна вывозят, а пан себе скачет — вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведет пан бровью — уже мужики боятся, засмеется — и всем весело, а нахмурится — все запечалятся. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

«Хочу,— говорит пан,— чтоб ты женился, а зачем, про то я сам знаю. Бери Оксану».

«Не хочу я,— отвечал Роман,— не надо мне ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней черт женится, а не я... Вот как!»

Велел пан принести канчуки́, растянули Романа, пан его спрашивает:

«Будешь, Роман, жениться?»

«Нет, говорит, не буду».

«Сыпьте ж ему,— говорит пан,— в мотню [1], сколько влезет».

Засыпали ему таки немало; Роман на что уж здоров был, а все ж ему надоело.

«Бросьте уж, говорит, будет-таки! Пускай же ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!»

Жил на дворе у пана доезжачий, Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохачивали. Услышал он про Романову беду — бух пану в ноги. Таки упал в ноги, целует...

«Чем, говорит, вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу...»

Эге, сам-таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

«Вот, говорит, хорошо. Только что бы тебе, человече, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве, говорит, это по-христиански так делать? Тьфу!..»

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся, хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый! У него, видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть на траве.

«Я, говорит, тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и заехать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, говорит, к обеду не звали, так сам за стол

---

[1] Хохлы носят холщовые штаны вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется мотнею.

не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебе как бы того же не было».

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчуками шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плюнул:

«Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину вот так сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бісова дворня! Научил же вас черт канчуками работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь»

А пан себе смеется.

«Вот, говорит, и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь больше...»

Веселый был пан, ей-богу веселый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жинку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими канчуками.

«И сама ты, говорит, того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали».

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы гнать:

«Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю, говорит, когда у меня баба в избе спит. Дух, говорит, нехороший».

Эге!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба — помаленьку и привык. Да и не только привык, хлопче, а стал ее любить, ей-богу не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

«Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки неумный был человек: сколько канчуков принял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже хорошо. Вот оно что!»

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилась, а наутро проснулся я, слышу: кто-то тонким

голосом «квили́т» [1]. «Эге! — думаю я себе.— Это ж, видно, «диты́на» родилась». А оно вправду так и было.

Недолго пожила дитына на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

«Вот и нету дитыны, а когда ее нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною».

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пень стоит, громом его спалило... Так то ж и есть та самая сосна, где Роман дитыну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташи́на, аж сердцу больно! Так это и есть некрещеная душа — креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не станет она больше летать... Да мы вот тут в лесу живем, ничего не знаем. Она летает, она просит, а мы только и говорим: «Геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, все на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос ее ходит. Это она так свою дитыну жалела, а Роман не жалел дитыну, а Оксану жалел. Придет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

«Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чем плакать! Померла одна дитына, то, может, другая будет. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорят... А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими словами лаять. Ну, Роман на нее не сердился.

«Да и что же ты, спрашивает, лаешься? Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне таки знать, скоро ли, или неско-

---

[1] К в и л и́ т — плачет, жалобно пищит.

ро?..» Ну, а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, как бы тебя и не побил».

Вот Оксана полает, полает его, да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет — боялась. Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет... Вот мой Роман и угомонится. Потому... видишь ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а все-таки видал на своем веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой!.. Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодица, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнезд подымаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует; шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним играет, рушни́ца за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух и красивый же был парубок этот Опанас, страх красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня — мне, малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские казаки были, в Сечи казаковали, а там народ был все гладкий да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой» [1] по полю птицей летать или топором дерево рубить, это ж не одно дело...

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подержал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

---

[1] Списа — копье.

«Здорово!» — говорит пан Роману.

«Эге,— отвечает Роман,— да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?»

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует ответить. Дворня вся от его слов засмеялась, и пан тоже.

«Ну, и слава богу, что ты здоров,— говорит пан.— А где ж твоя жинка?»

«Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате...»

«Ну, мы и в хату войдем,— говорит пан,— а вы, хлопцы, пока на траве ковер постелите да приготовьте нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить».

Вот и пошли в хату: пан, и Опанас, и Роман без шапки за ним, да еще Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном, как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богдан панича, и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, сам стал пановать, старый Богдан все за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слез пало... все из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогодку. Нахмурился, невесел...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чуяла небóга, что из-за нее лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уже если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает — непременно до чуба дело дойдет, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

«Ну, что, Рома́сю,— смеется пан,— хорошую ли я тебе жинку высватал?»

«А что ж? — Роман отвечает.— Баба, как баба, ничего!»

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и говорит про себя:

«Да, говорит, баба! Хоть бы и не такому дурню досталась».

Роман услыхал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

«А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!»

«А тем,— говорит Опанас,— что не сумеешь жинку свою уберечь, тем и дурень...»

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

«А что ж мне ее беречь? — говорит Опанасу, а сам все на пана смотрит.— Здесь, кроме зверя, никакого черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий казаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу».

Пожалуй-таки и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул ногой — они и замолчали.

«Тише вы, говорит, бісовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!»

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

«Не сердись ты на меня бра́тику,— говорит казак.— Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человече... Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же мое сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе... Лучше же я и его, и ее из рушницы вместо постели уложу в сырую землю...»

Посмотрел Роман на казака и спрашивает:

«А ты, казаче, часом с глузду не съехал? [1]»

Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо

[1] С глузду съехать — сойти с ума.

в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

«Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..»

«Ну,— говорит ему Опанас,— ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Неумный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, прямиком пойдешь по лесу... Да поскорее сюда возвращайся».

«Добре,— говорит Роман.— Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя...»

Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и потчевает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа радуется, другую выпьешь — сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился:

«Вот же вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается...»

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек от горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

«А с чего ж мне,— Роман ему отвечает,— плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут...»

«Значит,— спрашивает пан,— ты доволен?»

«Эге! А чем мне быть недовольным?»

«А помнишь, как мы тебя канчуками сватали?»

«Как таки не помнить! Ото ж и говорю, что неумный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук

горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть».

«Ладно, ладно,— пан ему говорит.— Зато и ты мне услужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань».

«А когда ж это пан нас на болото посылает?» — спрашивает Роман.

«Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом».

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

«Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?»

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря»,— и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами — все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

«Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?»

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, казацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый казак-бандурист с Украйны. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани. Вот старому казаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер — Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он казака ударит, а после говорит Опанасу:

«Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули...»

Вот он какую загадал загадку! А казак таки сразу и понял. И ответил казак пану песней. Ой, кабы и пан

понял казацкую песню, то, может быть, его пани над ним не разливалась слезами.

«Спасибо, пане, за науку,— сказал Опанас,— вот же я тебе за то спою, а ты слушай».

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят...

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет: как темный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой казацкой могиле.

Нет, хлопче, не услыхать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украйне: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня еще на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру — а уж это скоро — так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса негромкий, да «сумный» [1] — так, бывало, в сердце и льется. А песню, хлопче, казак, видно, сам для пана придумал. Не слыхал я ее никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все не соглашался.

«Для кого, говорит, та песня пелась, того уже нету на свете».

В той песне казак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, а все же ни слова, видно, из песни не понял.

Ох, не помню я эту песню, помню только немного.

Пел казак про пана, про Ивана:

Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает...
Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает...
Ой, пане, ой, Иване!..

---

[1] Украинское слово с у м н ы й совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

А того ж пан не знает,
Как на свете бывает,—
Что у гнезда и ворона ястреба побивает...

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит казак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а казак поет, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,
А над паном, над Иваном черный ворон крячет.

Ох, не понял пан песни, вытер слезы и говорит:

«Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними — будет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поется, на свете не бывает».

А у казака от песни размякло сердце, затуманились очи.

«Ох, пане, пане,— говорит Опанас,— у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело... А в песне правда — как золото, что никогда его ржа не ест... Вот как говорят старые люди!»

Махнул пан рукой.

«Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... Ступай, ступай, Опанас,— надоело мне тебя слушать».

Постоял казак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

«Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует».

Вот уж тут пан осердился, толкнул казака, как собаку, ногой.

«Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не казак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батько́в не видали!..»

Встал Опанас на ноги как темная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился как ни в чем не бывало.

Ударил казак бандурой об дерево — бандура вдребезги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

«А пускай же, говорит, черти на том свете учат такого человека, который разумную ра́ду не слушает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо».

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошел себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

«Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю».

Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идет, и дождик накрапывает, вот-таки совсем, как теперь... Уложила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь... Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не понимал, что кругом меня творится! Свернулся на сене, послушал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит... подошел к дереву, панского коня отвязал. Захрапел конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот затих... Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла на землю и прямо к окну.

«Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана.— Ой, пане, отвори скорей! Вражий казак лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпустил».

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. Испугался я, слышу — что-то упало...

Отворил пан двери, с рушницей выскочил, а уж в сенях Роман его захватил, да прямо за чуб, да об землю...

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:

«Ой, отпусти, Ромасю! Так-то ты мое добро помнишь?»

А Роман ему отвечает:

«Помню я, вражий пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...»

А пан говорит опять:

«Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя любил, как родного сына».

А Опанас ему отвечает:

«Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку... Я ж тебя просил и молил — ты не послушался...»

Вот стал пан тут и Оксану просить:

«Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе».

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

«Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько мне, что же я сделаю?»

«Пустите,— кричит опять пан,— за меня вы все погибнете в Сибири...»

«Не печалься за нас, пане,— говорит Опанас.— Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я по твоей милости один на свете, мне о своей голове думать недолго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес... Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, вынесем его милость на дождик».

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а казак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полыхнет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет...

«Оксано, говорю, голýбонько, а кто ж это там в лесу стонет?»

А она схватила меня на руки и качает.

«Спи, говорит, хлопчику, ничего! Это так... лес шумит...»

А лес и вправду шумел, ох и шумел же!

Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

«Оксано, говорю, голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?»

А она, небога, все меня качает и все говорит:

«Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу».

А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит...»

Вот я лежал у нее на руках и заснул...

А наутро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташки щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

. . . .

— Ну а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал казак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам да по панским усадьбам. Такая казаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил — всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не сыны, а внуки... Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу...

А шумит же лес крепко — будет буря!

III

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море;

темные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Веселый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала вечéрять.

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не рассказывал вам старик,— спросил Максим,— старую бывальщину про нашего деда?

— Да, рассказывал,— отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснет.

— Совсем мала дитына,— добавила Мотря, наливая старику щей.

Старик как будто не понимал, что речь идет именно о нем. Он совсем опустился, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке все смолкло. Тускло светил угасающий каганéц [1], да и сверчок звонил свою однообразно крикливую песню... А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведет там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирает на нее снаружи, а в трубе ночная вьюга с жалобною угрозой выводила за сердце

---

[1] Каганец — черепок, в который наливают сало и кладут светильню.

хватающую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, ненадолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганец вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

— Оксано, голубонько,— расслышал я его жалобный ропот,— а кто же это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

— Эге! — говорил он опять,— никто не стонет. То буря в лесу шумит... Больше ничего, лес шумит, шумит...

Прошло еще несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганца, и по лесу раскатился отрывистый недалекий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи,— послышался с печки спокойный голос Мотри.— Вот всегда так: в бурю по ночам все Оксану зовет. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом леса да тревожным бормотанием деда:

— Лес шумит, лес шумит... Оксано, голубонько...

Вскоре ударил тяжелый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывание ветра, и стоны соснового бора...

1886

ПРОХОР И СТУДЕНТЫ

Повесть из студенческой жизни 70-х годов

I

Он был жулик. Это слово определяло его профессию, а с годами стало даже чем-то вроде официального звания. Его имя было Прошка. Но так как на Выселках, где он жил, существовали и другие Прошки, то иногда выходили недоразумения; поэтому обыватели считали нужным, для большей точности, прибавлять к собственному имени эпитет «жулик».

— Прошка...

— Который?

— Жулик.

Впоследствии эпитет так тесно сросся с именем, что одно без другого не употреблялось. Кабак разнес Прошка-жулик, и дачника оскорбил Прошка-жулик, и Прошка-жулик попал в кутузку, и Прошка-жулик один на четырех огородников выходил, причем одержал победу.

Итак, он был жулик и кулачный боец. Росту среднего, в кости широк, коренаст и неуклюж в высокой степени. Не особенно умное, но не лишенное некоторого добродушного лукавства лицо отличалось резкими особенностями, знаменовавшими обе вышеупомянутые профессии. Прежде всего зрителя поражали его лоснящиеся мясистые скулы, находившиеся как бы в состоянии хронической припухлости. Во-вторых, он никогда не смотрел прямо. Если же случалось, что его маленькие заплывшие глазки исподтишка подымались на вас и встречались с вашим взглядом, то они тотчас же тревожно мигали, как будто опасаясь удара по физиономии. При этом мясистое плечо Прошки-жулика производило рефлективное движение, напоминавшее о готовности к отпору.

Ходил он лениво, с развальцой. Никогда, даже во время кулачного боя, он не ускорял движений. Стоя на месте, всегда в самой середине свалки, он только расставлял пошире ноги, укреплялся в устойчивой позе и начинал работать. Он не юлил, не подставлял ног, не уклонялся. Он напрягался, заносил руку, захватывая размахом широкое пространство, и пускал кулак не целясь, рассчитывая на его тяжесть и в полной надежде, что он сам найдет свое место. И кулак попадал.

Прошка-жулик считался почти непобедимым. Прав-

да, его физиономия бывала нередко в крови, а хроническая припухлость щек достигала порой такой степени, что Прошка терял всякое подобие человека. Все это указывало, что временами и он попадал в затруднительное положение. Но это бывало лишь в начале военных действий, когда противники облепляли Прошку со всех сторон, точно рой комаров. В эти минуты он бывал до жалости беззащитен и старался только укрепить позицию. Для этого он предварительно лягался одною ногой и ставил ее на расчищенное место; затем он точно так же пристраивал другую. Тогда наступал критический момент боя. Прошке нужно было расчистить место для размахов руками. И вот одна рука его тяжело взлетала над головами и грузно шлепалась в массу. Туловище Прошки по инерции подавалось в ту же сторону; затем взлетала и шлепалась другая рука, и опять туловище поворачивалось в сторону размаха. Движения становились правильны. Прошка работал. В противных рядах начиналось смятение, а Прошка переходил в наступление. Но и при этом он действовал подобно тяжелой артиллерии. Ступит шага два вправо, пустит кулак и крякнет, как дроворуб, колющий тяжелую плаху. Затем подастся влево и опять крякнет... Одержав решительную победу, Прошка останавливался, обтирал лицо рукавом ситцевой рубахи и шел к пруду, чтоб обмыть припухшее и покрытое кровью лицо. Затем он направлялся в «Выселковский трактир», где его сторонники ставили полуштоф.

У Прошки была семья, состоявшая из старика отца, взрослой сестры и двух малолетков — сестренки и брата. Отец был некогда кровельщик, но в последние годы, вследствие громадного количества в разное время выпитой водки, приобрел вредную привычку падать с покатых крыш на землю. Падения эти, правда, по особенной милости судьбы совершались как-то так счастливо, что старик не терпел при этом серьезных повреждений, на что не без гордости указывал своим заказчикам; тем не менее последние стали воздерживаться, чтобы не доставлять старику случая для подобных упражнений. По этой причине у почтенного родителя было много свободного времени, которое он старался по возможности провести в трактире. Но денег у него своих не было; старик поступил всецело на Прошкино иждивение.

Старшая Прошкина сестра была девица очень легкого поведения, а эта профессия, как известно, не развива-

ет семейных добродетелей. «С Дуньки-то старику взятки гладки»,— говорили соседи.

Прошка один кормил свою семью, то есть отца и малолетков. Последние вырастали на выселковской площади, глядя на отца, на сестру, на брата своими детски наивными глазами. В этих глазах рано засветилась недетская дума. Казалось, малолетки обсуждали три пути, какими шли их ближайшие родственники, решая про себя, какой из них представляет наиболее удобств.

Нрав у Прошки был беззаботный, и его отношения к семье были отмечены скорее добродушием, чем особенною попечительностью. Если ребята иногда по два дня шатались без пищи, зато на третий получали в изобилии пряники. Что же касается старика, то ему, как он нередко говаривал сам, в пище надобности не предстояло. «По старости лет я, братцы, пищи не потребляю»,— говорил он, мигая слезящимися глазами.

По старости лет он потреблял только водку с весьма ограниченной закуской.

И надо отдать Прошке справедливость: он редко забывал обязанности доброго сына. Бывало, напьется до невозможности, передерется с друзьями и недругами, прокутит на мировую последнюю наличность вместе с разнообразными и постоянно меняющимися кошельками, но все же перед уходом вытащит откуда-то заветный двугривенный: «Наливай посудинку старичку почтенному... Я должон помнить... Потому — он меня вы́спитал».

У Прошки было благодарное сердце. Кроме того, он, очевидно, был уверен, что воспитание, данное ему отцом, заслуживало с его стороны благодарности.

Выселки, где проживал Прошка, находятся под Москвой, в соседстве с одним высшим учебным заведением.

Заведение это, с дорогими выпуклыми стеклами, с «дворцом», с музеями, лабораториями и парком, раскинулось над широким прудом, ближе к Москве. Выселки скромно отодвинулись на другой берег пруда, спрятавшись среди жидкого ельника.

И именно «отодвинулись»... Добровольно ли? Это вопрос. Достоверное выселковское предание гласит, что нынешние владения ученого учреждения состояли некогда под рукою выселковских обывателей или их ближайших предков, которые составляли тогда боль-

шую крестьянскую общину и жили «на той стороне». Было это давно. Тогда, говорят, родитель не падал еще с крыш, а занимался хлебопашеством на своей собственной ниве. Но в интересах науки дела изменились. Смутное предание говорит о сопротивлении науке со стороны деревни, не желавшей уступить [ей] в ее величавом шествии, и о печальных последствиях этого сопротивления. Как бы то ни было, когда улеглись эти доисторические туманы, наш рассказ застает Выселки — последний обломок крестьянского общества — скромно приютившимся среди жидкого ельника, за плотиной.

Это был жалкий обломок, какая-то кучка случайных существований. Землей выселковцы не занимались. Родитель, как уже сказано, был кровельщик, один из домовладельцев портняжил, другой — шил сапоги, большинство отдавали «дачи» под летние помещения или содержали нахлебников-студентов, находясь, таким образом, в зависимости от чужих, «пришлых» людей; некоторые работали на ближней фабрике. Было и несколько темных субъектов более или менее предосудительных профессий.

Домики, или по-местному «дачи», стояли кое-как, врассыпную, вокруг небольшой площади, у пруда. На эту площадку протолкались, оттесняя скромных соседей, три заведения: ресторан, кабак, имевший вид трактира, и просто кабак. Нечто вроде длинной улицы, примыкавшей к этой площадке, вмещало еще два кабакообразных заведения.

Площадь почти во всякое время дня и ночи украшалась единственным выселковским «фиакром». Так звали студенты совокупность старой-престарой клячи, еще более древней извозчичьей пролетки и совершенно ветхого возницы — Ивана Парфенова. Иван Парфенов в отдельности имел еще другое название: «Мужичок с ноготок, борода с локоток». Название это дано было старику теми же студентами, склонными к насмешкам, и довольно верно выражало соотношение между различными частями этой своеобразной фигуры. Иван Парфенов, как и родитель Прошки, пищу тоже употреблял в весьма ограниченном количестве, но выпить любил. У него не было доброго сына, а только кляча, но кляча его кормила плохо, отчасти, вероятно, потому, что и он ее недокармливал. Эта кляча с растопыренными ногами и понуро повисшею мордой, ветхая пролетка, покрытая

пылью, и сам Иван Парфенов, с длинною бородой и согнутой спиной, жарились на выселковском припеке в вечной готовности доказать желающим свою неспособность к передвижению... Иногда профессорские кареты и щегольские московские пролетки, резво промчавшись по плотине, становились рядом с «фиакром». Тогда горькая выселковская судьбина иллюстрировалась контрастом довольно ярко. Иван Парфенов относился к этому совершенно пассивно.

Что касается Прошки, то он «работал на перекрестке».

От академии ведет к Москве шоссированная дорога. Начинаясь тотчас за последним академическим зданием, она стрелой пробегает между двух стен густой еловой и сосновой рощи. За четверть версты от академии начинались дачи, разбросанные кое-где по сторонам дороги. Еще версты через две выглядывал из веселого березняка последний домик, окна которого светили в темные ночи на обширный пустырь. У ворот этой дачи стояла будка, в коей, по слухам, предполагался ночной сторож, существо в точном значении слова мифическое, так как его никогда никто не видел [1].

Наконец, еще четверть версты — и запоздавший путник достигал так называемого перекрестка. Дорога расходилась: одна ветвь сворачивала под прямым углом влево, к Москве, что и значилось на тонкой дощечке, прибитой к толстому вертикальному столбу; другая вела вправо, к парку со многими увеселительными заведениями, что опять-таки указывалось перстообразною дощечкой. Третья доска протягивалась назад, к академии. На каждой доске днем можно было прочитать соответствующие надписи, и кто-то к ним прибавил свои комментарии. На столбе ножиком было нацарапано: «Пойдешь налево — кошелек потеряешь, пойдешь направо — оберут как липку»... Была еще прямая тропинка, пролегавшая торфяным болотом и пустырями мимо небольшой шоколадной фабрики. Узким переулком она выбегала в глухое предместье, так называемые Бутырки.

Поздним вечером или глухою ночью этой тропой рисковали ходить только совсем беспечные люди: загулявший мастеровой, которому море по колена, студент, возвращающийся с затянувшейся в Москве сходки.

---

[1] Рассказ относится к первой половине 70-х годов.

Остальные пешеходы предпочитали широкую дорогу, отделенную от пустырей канавами. Дорога эта встречалась затем с длинным опустевшим шоссе, уныло тонувшим в сумрачной дали; слева слышались протяжные свистки ночных поездов, справа доносился глухой рокот столицы, далеким заревом отражавшейся на темном небе.

Еще поворот — и счастливый путник вступал в Бутырки, которые, впрочем, пользовались также сомнительною репутацией.

Около половины первого ночи по направлению от Москвы раздавалось шарканье и позванивание бубенцов, скрипение, постукивание и топот лошадей. Это проезжал последний «дилижанс», старый закрытый рыдван или открытая линейка, битком набитая пассажирами из академии. На козлах сидел престарелый кучер с огромной седой бородой во всю грудь. Лошади были тоже древние, и все сооружение напоминало по стилю выселковский «фиакр», только в большом масштабе. Колесница в половине первого продвигалась мимо перекрестка, рассыпая по пустырям дробные звуки бубенцов, и затем утопала в перспективе длинного шоссе меж двумя стенами сосновой рощи. После этого дорога стихала... Только из парка издали доносились звуки оркестра. Там веселье длилось всю ночь. И всю ночь туда и оттуда неслись лихачи, и порой, выписывая мыслете, беспечно тащились пьяные гуляки; шли кучками, обнимались, ссорились, орали песни, отставали, барахтались, подымались, опять падали. Порой мирно засыпали у дороги... Наутро их ждало неприятное пробуждение. Порой из бестолкового пьяного бормотанья выносился вдруг громкий крик: «Кар-раул!..» Заливалась где-нибудь на даче собака... Потом опять наступала тишина...

В эти места часто наведывался Прошка. В благоприятную погоду, то есть в сумрачные темные вечера, когда на небе стояли тучи, а на земле зги не было видно и огонек последней дачи казался далекой звездочкой в тумане, Прошка направлялся к перекрестку своею ленивою походкой. Он любил это место. Здесь ему было удобно. В придорожных канавах росла мягкая травка, на которой можно было не без приятности провести часы ожидания. Прошка любил помечтать, лежа на спине. Он слушал, как тихо шепчутся черные елки, как бежит по траве ночной ветер, по временам занося в темный

пустырь обрывки глухого столичного шума или мягкие переливы ресторанного оркестра.

Если накрапывал дождик, Прошку это не смущало. Он тогда спокойно усаживался под широким зонтом, которым добрые люди накрыли на этот случай придорожный столб с перстообразными дощечками. Да, все здесь было приспособлено для Прошкина удобства. Ему не мешала даже сторожевая будка, смутно маячившая вдали у ворот крайней дачи. Совершенно напротив. Мифический сторож служил в некоторых случаях Прошкиным целям, вводя в заблуждение неопытных путешественников. «Будка! — думал путник, в котором вид пустырей возбуждал нерешительность.— Стало быть, имеется сторож!» И неопытный путник с легким сердцем направлялся к перекрестку...

Но вместо сторожа к нему из канавки, или из-под столба, или, наконец, увы, из той же будки выходил Прошка неторопливою походкой молодого медведя и произносил:

— Дозвольте, господин, огоньку... закурить цигарку.

А за ним, из тех же мест, выплывала в сумраке дюжая фигура какого-нибудь более или менее случайного Прошкина знакомца и товарища, с которым его свела темная ночка и общность интересов.

II

С некоторых пор тоскливое раздумье стало все чаще посещать беззаботную Прошкину голову...

Москва — город своеобразный,— это известно всем. Нужно сказать, однако, что это свойство Белокаменной с годами выдыхается: культура проходит и по ней своими нивелирующими влияниями. Конечно, исторические памятники, царь-колокол, царь-пушка, Василий Блаженный остаются на местах, но многие специфические, чисто этнографические особенности Москвы исчезают постепенно и незаметно. Вот, например, в то время, о котором идет речь, еще водились на Москве так называемые мушкатеры.

Происхождение этого романтического войска, исчезнувшего уже всюду в Европе, объяснялось тем обстоятельством, что в цейхгаузах сохранилось много кремневых мушкетов, давно вышедших из употребления. Чтобы казенное имущество не пропадало напрасно, началь-

ство придумало вооружить ими бутарей при полицейских участках, дав им еще на придачу столь же архаические сабли. Они назывались мушкатерами. Мушкеты у них, конечно, не палили, сабли порой не вынимались из ножен, но все же мушкатеры, стоя на карауле у чижовок, имели вид очень интересный и придавали самой чижовке значительный исторический колорит. Теперь этот специфический вид москвича уже вывелся. Выводится также и настоящий московский бутарь исконного типа. Распущенная фигура, рыжий мундир, кепи с изорванным козырьком, красный нос — таковы были главнейшие внешние признаки этого вида. Любовь к выпивке, пристрастие к хорошей понюшке табаку и чрезвычайная беззаботность относительно внешних событий — таковы были главные особенности его характера. Жил он в будке; днем сидел на тумбе или беседовал в ближайшей харчевне с приятелями; когда наступала ночь, он уходил в будку и мирно спал, как может спать человек с чистою совестью. Если случалось кому-нибудь обратиться к нему с вопросом, как найти такой-то переулок или дом,— он сначала мерял спрашивающего глазами с головы до пяток, и если был в духе, то разъяснял более или менее благодушно:

— Ступай прямо. Дойдешь до Ивана Парамоныча, вороти на Семена Потапыча. Тут за Феклистовым вторые ворота.

Если же его заставали не в духе, то, оглядев вас все-таки с головы до ног, он отворачивался молча или советовал идти своей дорогой, не беспокоя начальства. Свое назначение он видел в том, чтобы существовать именно в известном месте и своею амуницией напоминать обывателю о существовании правительства. До остального ему не было дела.

Вид этот исчезает постепенно вместе с покосившимися заборами и масляными лампами доброго старого времени. И вместе с железными решетками и газовыми (а тем паче электрическими) фонарями, все шире и дальше от центров к окраинам Москвы получает распространение вытесняющий его вид полицейского прогрессиста, которому явно принадлежит будущее. Орлиный взгляд, грудь колесом, молодцеватая поза (точь-в-точь фигура с какого-нибудь монумента), шинель без пятнышка, лощеная амуниция — таковы его наружные признаки. Бдительность и строгость — таковы отличительные свойства его души. Он неослабно и неустанно заботится

об обывателе. С одной стороны, сознавая себя стражем общественной безопасности, он блюдет, чтобы обыватель не подвергся обиде; с другой — он уже знает, или во всяком случае подозревает в самом обывателе возможность, если не прямо преступных намерений, то преступного настроения...

Старый тип постепенно вымирает. Вы увидите его еще кое-где, в глухих частях или на самых окраинах, у Камер-Коллежского вала, или у Марьиной рощи, вообще всюду, где его тусклая, порыжелая, невзрачная фигура может сливаться с серыми заборами и старыми зданиями, не нарушая общей гармонии. Но зато всюду, где раздаются звонки конно-железных дорог, где стройно стали ряды чугунных фонарей, где пролегли широкие и порядочные мостовые,— его сменил уже тип новейшей формации.

И вот в тесной связи с этим процессом Прошке становилось все грустнее жить на белом свете. Всякий промысел требует приспособления к изменяющимся обстоятельствам, а Прошка не чувствовал себя способным к такому применению. Бывало, когда темной ночью какой-нибудь молодец проходил с ломом (фомкой) или иным орудием своего промысла мимо будки, будочник смотрел на него равнодушным взглядом. Зевнув и понюхавши табачку, он уходил в свою будку и, располагаясь на сон грядущий, сообщал «будочнице»:

— Прошел, слышь, *один* какой-то.

— Ну? — спрашивала будочница.

— Лом у него... Как бы где-нибудь поблизости не вышло качества... Пойтить бы по-настоящему... А?

— Вот еще... была надобность,— зевая, отвечала супруга.— На то сторожа... Слышишь, чай...

Будочник прислушивался. В темноте с разных сторон, на разные голоса стучали трещотки, лаяли собаки. Темнота кипела звуками... Сомнения будочника исчезали. Огонек в окне угасал, и будка становилась явно нейтральным местом по отношению ко всему, что происходило под покровом ночи. Трещотки постепенно тоже стихали... Успокаивались собаки... Ночные промышленники спокойно выходили «на работу»...

С некоторых пор и это изменилось, когда будочник пошел «новый». Теперь, чтобы просто пройти мимо, не привлекая на себя орлиного, испытующего взгляда, нужна особая выдержка. Успех в борьбе за существование покупается не идущею напролом храбростью, а ско-

рее хорошими манерами и модным пальто; не грубою силой, которою в достаточной мере обладал Прошка, а ловкостью рук, сноровкой и приличной внешностью. Прошка был примитивный жулик; он грабил, как грабили на Москве в «допрежние времена»; между тем будущее явно принадлежало тому, кто овладеет культурными приемами и сумеет запастись «протекцией». Одной из таких жертв прогресса становился и Прошка.

Конечно, «прогресс» имеет свои права; но разве не грустно, что он должен сопровождаться таким множеством жертв? Жизнь шаг за шагом, неторопливо, но и неуклонно, давала ему чувствовать его непригодность, и, как ни мало был он способен к рефлексам и раздумью, тем не менее в глубине его души накоплялось неясное, несознанное, тупое чувство меланхолии.

В один прекрасный день к перекрестку, с которым связаны были лучшие воспоминания Прошки, пришли кучкой землекопы. Они скинули с плеч на землю верхнюю одежду и заступы, вынули кисеты с табаком, набили трубки и закурили их, искоса поглядывая на узкую и неудобную дорожку, пролегавшую от перекрестка к Петровскому парку. Покурив, они отмерили в ширину четыре сажени, протянули веревки и принялись копать канавы и ровнять дорогу. Через несколько дней на месте прежней ухабистой и живописно терявшейся меж кустов тропки протянулась широкая мостовая, а еще недели через две она выступала на зеленом фоне белою ровною полоской, утрамбованная щебнем и посыпанная белым песком. Конечно, само по себе это обстоятельство, по-видимому, не имело к судьбе Прошки ближайшего отношения; однако, когда он впервые увидел новую дорогу, его сердце будто ущемило какое-то неприятное чувство. Он долго стоял, задумавшись, у столба, смотрел на дорогу, и ему казалось, что его любимый ландшафт окончательно испорчен. Многие, быть может, находили, что новая дорога крайне красиво выделялась на зелени, точно нарисованная на плане, но в сердце Прошки она пролегла неясным и смутным предчувствием, еще одним лишним напоминанием, что его, Прошку, и его промысел все эти новинки сживают со свету.

Ему стало так тоскливо и неприятно, что на целых два месяца он пропал, и его не видели ни на Выселках, ни на перекрестке. За это время он посетил много мест, приобрел несколько новых знакомств и даже одного

друга в лице отставного служивого, которого многочисленные военные заслуги не спасли от той же мало уважаемой и трудной профессии; но где ни пробовал Прошка удачи, работа все не клеилась, и вообще Прошке все не нравилось. Он затосковал по родным местам; в два месяца неприятное воспоминание о новой дороге улеглось, и он стал чванливо расхваливать свое место. Наконец в одно воскресенье, вечером, когда в заведении Петровского парка должна была появиться какая-то новая шансонетная дива (Прохор был в курсе таких событий музыкального мира) — и, значит, на перекрестке тоже предстояло движение,— Прошка появился на излюбленном месте. Он был не один. С ним был его новый друг, которому он самонадеянно обещал «в своем месте» хорошую работу.

Скоро, однако, он должен был убедиться, что хвастал своими местами напрасно. Движение к парку было действительно сильное, но для «клёву» условия оказались неблагоприятные. Виной была новая дорога. Там, где прежде пролетки с седоками ныряли по ухабам меж кустов,— теперь они проносились легко и быстро. Прошке оставалось только провожать их глазами... Кроме того, движение на этот раз оказалось слишком сильно. Обстоятельства складывались плохо...

Товарищ Прошки был человек угрюмый и молчаливый. И нравом, и судьбой он был отчасти похож на гоголевского капитана Копейкина, хотя изувечен не в такой степени... Сидя с Прошкой в канаве, он не сказал ни одного укоризненного слова, но во всей его угрюмой, горемычной фигуре Прошка видел безмолвный и тем более горький укор. Наконец служивый крякнул и, вынимая трубку, предложил Прошке:

— Ох-хо-хо-о!.. Покурить, что ли?

Когда трубка была набита и вспыхнувшая серная спичка осветила лицо служивого, Прошка окончательно сконфузился. Лицо приятеля было сурово. Он сидел на корточках, потягивая из чубука и глядя задумчиво в сторону. Прошка ясно понял, что мысли служивого теперь далеко: по-видимому, он предавался общим размышлениям о горькой жизни, не обращая внимания на дорогу, как будто его приговор над хвалеными местами был уже окончательно составлен. Прошке стало очень стыдно, и вся его чванливость совершенно исчезла.

— Плохое житье,— заговорил он печально.

Служивый не ответил, а только затянулся сильнее, и вспыхнувший огонек трубки опять осветил его энергичные черты с густо нависшими бровями и резкими морщинами.

Прошка легко поддавался настроению. Забыв, что еще недавно он рисовал самые радужные перспективы, теперь он стал изображать перед товарищем всю горечь их общего существования. Все идет к худшему. Еще года четыре назад кормиться было много легче. Семья находилась в сытости, родитель сыт и пьян (много ли ему нужно?), сам Прошка пользовался кредитом в нескольких трактирах. Главная причина — народ был проще. Теперь год от году народ становится хитрее. «Прожженные какие-то, прости господи,— сказал Прошка и плюнул сквозь зубы.— Пьют, что ли, не по-прежнему, или девиц тех нету, чтоб от них человек сам себя забывал. Нет в народе шири и размаха. Случается просиживать в канаве ночи напролет — и все без толку. Приказчик хоть и напьется, так валит гурьбой, купец ездит на лихачах, а если и попадется паренек попроще, так смотришь — в кармане двугривенный. Да и то еще иной из-за двугривенного орет, точно у него тысячи отняли. Тьфу!..»

Товарищ слушал эти жалобы в мрачном молчании, только затягивался трубкой и сплевывал. Вдруг он протянул к Прошке руку и поднялся.

По тропинке, пролегавшей через поле, приближались две фигуры. Место было очень удобное, и два смельчака, выбравшие самый глухой путь, по торфяному болоту и буеракам, мимо самых кустов, должны были, по соображениям служивого, находиться в том состоянии, когда человеку море становится по колена. Служивый вдруг потерял свою неподвижность, вытянул шею и, впиваясь волчьими глазами в приближавшуюся добычу, стал тихо прокрадываться к кустарнику, подходившему к самой тропке. Но, к великому его изумлению, Прошка быстро вскочил на ноги, подбежал к нему и, оттащив его в кусты, посадил на землю... Служивый послушался, хотя и не понимал причины странного поведения товарища.

Шаги приблизились; в ночной темноте прозвучали беззаботные молодые голоса. Двое юношей беспечно разговаривали о театре, об игре Ермоловой и Живокини и громко смеялись, повторяя некоторые места из комедии. Вскоре разговор стал тише, и наконец фигуры скрылись на дороге к академии.

— Студенты это,— сказал Прошка.— Арфанов с товарищем. Я их знаю.

— Ну-к што? — спросил угрюмый товарищ, желая получить более обстоятельное объяснение.

— Свяжешься — не рад будешь... Да и что с их возьмешь? — уклончиво ответил Прохор.

Служивый крякнул, и в темноте Прошка угадал саркастический и почти враждебный взгляд товарища.

— Невозможно мне,— прибавил опять Прошка, угрюмо потупляя глаза.— Как я теперича живу по соседству... начальство ихнее... Ну, и опять, здоров драться этот Арфанов... Все они отчаянные...

И Прошка рассказал несколько случаев, хотя и относившихся к более или менее отдаленному прошлому, о том, как один студент побил трех ребят на этом самом перекрестке, как другой вырвал нож голою рукой и при этом успел еще «накласть» нападавшему и свалить его еле живого в канаву, где тот пролежал, пока пришли дачные дворники, и т. д. Нужно заметить, что случаи эти относились к героическому прошлому академии, но слава этих подвигов жила еще на Выселках и, передаваясь из уст в уста, покрывала и последующие поколения студентов некоторым ореолом.

Трудно сказать, был ли служивый убежден Прошкиной аргументацией, но так как дело все равно было потеряно, то он, не теряя слов на возражения, вернулся к прежнему месту. Прошка последовал за ним и, настроенный в эту ночь необычайно грустно, возобновил малодушные жалобы...

Между тем ночь бежала своим чередом, и хотя на небе стояли тяжелые и темные тучи, но все же было заметно, что утро близко. Неровные кочки торфяного поля выступали яснее, подернувшись с одной стороны белесоватым отсветом; березки тихо шептались, вздрагивая от предутреннего холода; где-то далеко кричал петух, и раздававшиеся по временам звуки ресторанного оркестра доносились как-то вяло, точно мелодия засыпала на лету. Служивый давно докурил трубку; и так как набить ее было нечем, то он поковырял в ней ржавым гвоздем и стал тянуть отвратительный табачный сок... Трубка при этом как-то хрипло ворчала, точно грудь больного, готового закашляться последним предсмертным кашлем. Все это, в связи с неудавшейся ночью, еще более располагало к меланхолии. Прошка замолк.

— Прямо хоть с *пером*[1] работай,— сказал вдруг служивый решительным тоном.

Прошка беспокойно заерзал на месте.

— А то с кистенем,— продолжал служивый, выколачивая трубку о ближайший пень.— Видно, такие времена подходют...

— Ну, нет,— заговорил Прошка,— не согласен я... Потому главная причина, как я при семействе живу, на миру. Человек я по своему месту известный... невозможно мне. Да и грех.

Служивый не возражал, но и не соглашался. Он был человек молчаливый, но его молчание было значительно и мрачно. Он опять не ответил и прислушался.

По новой дороге, в направлении от парка к перекрестку, слышалась приближавшаяся песня. Какой-то беззаботный гуляка шел неторопливою походкой и громко пел. Весь напитавшись за вечер мелодиями из опереток, он изливал теперь из себя веселые шансонетки, и звуки раскатывались далеко по росе. Служивый встал, поднял на дороге камень и стал неторопливо обвязывать его платком, которым был опоясан по животу.

— Что ты это? — робко спросил Прошка.

— Ничаво,— ответил служивый.

— Нет, ты этого в моем месте не моги,— заговорил Прохор довольно решительно и затем, несколько оробев от презрительного и укоризненного взгляда товарища, которого он сам же заманил в свое место, прибавил оживленным и радостным тоном: — Да ты погоди. Я этого самого песельника сейчас тебе предоставлю... Потому это чиновник.

— Ты почем знаешь? — спросил служивый.

— Да уж будь спокоен. Здешняя публика мне, братец, достаточно известна. Здесь ведь пешком-то больше приказчик идет да чиновник, купец не пойдет: у него лихач. Приказчик заорет, сейчас все собаки в Бутырках взвоют. А этот, вишь, как складно выводит, и голос тонкой. Видно, человек деликатный, а выпивши крепко...

Прошка повеселел.

— Ты вот что, служивый,— заговорил он опять.— Ты послушайся меня... Ты это брось. Лучше сядь ты у дороги и сиди. А уж я сам... Сейчас его ежели облапить, все отдаст... Белендрясы эти на нем нацеплены,

---

[1] Перо — на воровском жаргоне означает нож.

цепочки, за девками так гоголем и плавает. А драться не мастера... У иного и «припас» [1] какой бывает, так он даже и не вспомнит. Деликатный народ.

Товарищ не возражал. Он только посмотрел на Прошку таким взглядом, который показал ясно, что теперь предстоит или восстановить пошатнувшуюся репутацию, или потерять всякое доверие. Между тем певец приблизился к роковому месту.

Прошка обыкновенною медвежеватой походкой вышел на дорогу.

— Дозвольте, господин, огоньку-с... цигарку закурить! — сказал он, налезая вплотную на беззаботного певца.

Но тот не оправдал Прошкиных ожиданий. Слегка отшатнувшись в сторону, так что нельзя было заметить, произошло ли это вследствие винных паров, или было рассчитанным маневром,— веселый господин вдруг остановился и сказал резко прозвучавшим в темноте голосом:

— Закуривай!

Мелькнул огонь, что-то грянуло на всю окрестность, отдавшись далеко эхом. Прошка упал.

Беззаботный господин отвернулся и как ни в чем не бывало пошел далее, опять покачиваясь на ходу и продолжая песенку с того места, на котором был остановлен. Эта удивительная беспечность произвела даже на служивого столь сильное впечатление, что он в течение некоторого времени провожал веселого господина остолбенелым взглядом, не выходя из кустов.

Затем, вспомнив о Прохоре, вышел на дорогу.

— Прошка! — окликнул он довольно робко лежащую у края дороги фигуру.

Прошка шевельнулся.

— Прохор, слышь... Прохор, голубчик! Жив ли? — спросил служивый с участием.

Прошка зашевелился сильнее и присел.

— Кажись, ничего,— заговорил он, тяжело вздыхая и разминаясь.— Верно... вреда, кажись, нету. А то было вовсе убил.

Товарищ искренно обрадовался.

— Слава те господи, владычица небесная... А ведь я думал — крышка! Ну, ин вставай. Надо, видно, убираться, пока целы... Ишь, собаки на даче заливаются...

---

[1] Припас — оружие, припасенное на всякий случай.

— Ничего,— уверенно ответил Прошка.— Кому надобность... Далеко. А как он меня полыхнул-то... Ну-у, ну-у! И народ нонче пошел. Креста на нем нет... Убил человека и пошел себе... Слышишь ты?

Оба прислушались. Издали все еще доносились обрывки песни.

— Поет-заливается... Ушел и не оглянулся... Может, я здесь поколел, как собака.

Он всхлипнул.

— Каскеты медные теперь на персты надевают... Свинчатками лупят,— говорил он жалобным, почти плачущим голосом.— Долбанет этак невзначай, искры из глаз... Обеспамятеешь...

— Ну-ну...— угрюмо сказал товарищ, очевидно не одобрявший Прошкиного малодушия.

— Ну, пущай...— продолжал Прохор простодушно.— Надо, скажем, и ему какое-нибудь средствие... оборону какую-нибудь. А этот смотри ты: палит, не говоря худого слова...

Он опять всхлипнул. Волнение было слишком сильно, и он хотел жаловаться и плакать.

— Народ пошел какой... Неаккуратный...

— Ну-ну!..— сказал опять товарищ.

Прошка склонил голову на руки. Жизнь казалась ему невозможной. В душе было темно и тоскливо, как еще не бывало никогда. Кроме тоски, он чувствовал еще обиду: ему казалось, что в игре, которую он вел с ближними, последние прибегают к неправильным и непозволительным ходам. Сам он работал только «всухую» и не мог без страха подумать об убийстве. Как и в кулачных боях, он полагался на кулак и на крепкую медвежью хватку. Он желал бы, чтобы ближние боролись «благородно»...

Все еще по временам всхлипывая, он поднялся с земли и пересел под навес. Выстрел, действительно, не вызвал на дачах никакого движения, и собачий лай, поднявшийся сначала, более не возобновлялся. Товарищ Прошки присел с ним рядом. Он был озадачен слабостью Прошки. Не обладая большим запасом утешительных слов, он ничего не сказал, но, кажется, его молчание на этот раз имело сочувственный характер.

Становилось светлее; роса налегла матово-белою пеленой на зелень. Оркестр смолк. Первые лучи солнца освещали две угрюмые фигуры, неподвижно сидевшие на перекрестке.

III

Отношение выселковских обывателей к Прошкиной профессии отличалось чрезвычайной терпимостью. С тех пор как уклад прежнего крестьянского мира был порушен и его члены пошли вразброд, все они находили естественным, что человек так или иначе кормится по силе возможности. Обломок прежнего крестьянского общества — Выселки требовали только, чтоб их члены не забывали вконец своих связей с миром, не делали вреда своим однообщественникам. Кажется, что именно таким образом следует объяснить тот сочувственный нейтралитет, какого придерживались выселковцы в отношении к Прошкину способу кормления... В свою очередь, и отношения Прошки к согражданам были исполнены взаимной благосклонности. По крайней мере так было прежде. Выселки знали Прохора, и Прохор знал Выселки. В случае удачи Прошки на Выселках многие бывали веселы и пьяны, и никому не приходило в голову задаваться нескромным вопросом: откуда взяты деньги, которыми оплачивалось это веселье? Впрочем, все хорошо знали это без всяких справок. Зато в самые темные осенние ночи Прохор различал своих компатриотов рысьими глазами, и никогда он не позволял себе испугать выселковскую женщину, не обидел ни одного пьяненького выселковца. К сожалению, в наступившие для Прошки тяжелые времена этому трогательному согласию предстояло жестокое испытание.

Не случилось еще ничего особенного, но уже многие наблюдательные люди заметили, что Прошка начал «задумываться». Это был очень тревожный симптом. Известно, что, если человек начал думать, от такого человека добра не жди. Поэтому и от мыслей Прошки все ждали худа, и между Выселками и Прошкой пробежала черная кошка... О чем, собственно, он думает, никто этого, конечно, не знал; тем не менее когда домохозяин-сапожник, у которого подозревались некоторые деньжонки, проходил мимо Прошки в минуты раздумья,— он чувствовал себя как-то неловко под внимательным и тяжелым взглядом жулика. До сих пор Прошка никогда не задумывался, а только пьянствовал и дрался на кулачках. В настоящее же время он «думает» и смотрит нехорошо.

Хотя Прошка не был особенно расположен к анализу своих ощущений, тем не менее он тоже заметил за собою

мысли и смутился. Остатки доброй выселковской совести подымались в нем против новых искушений. От мыслей в нем поднялась такая кутерьма, что бедный Прошка был близок к настоящей меланхолии.

С течением времени эти неопределенные взаимные отношения Прошки и Выселков стали невыносимы. Прежде выселковский гражданин шел в ночное время мимо столба без всякой опаски — ныне он шел и озирался. Он шел, так как не было еще примера, доказывающего, что хождение это опасно; но озирался, так как не был уверен, что подобный пример не воспоследует именно на нем.

Некогда Прошка добродушно в любое время окликал из канавки: «Здорово, Фадеич! Хорошо ли гостил?» На что обыватель отвечал столь же радушно и останавливался покурить с земляком. А ныне Прошка сердито ворчал:

— Откедова вас, чертей, экую пору носит! Проходи, проходи, не проедайся! — Голос Прошки при этом звучал такими враждебными нотами, что земляк долго оглядывался назад с тяжелым чувством.

— Задумал чего-то, дьявол... Беспременно задумал! — решили Выселки.

Всем было ясно, что так дольше продолжаться не может, и действительно наступил кризис.

Была темная осенняя ночь, когда дворник Алексеич возвращался с поминок. Дворник Алексеич оберегал архиерейские дачи и в силу этого факта считался особой духовного звания, даже с монашеским оттенком. Это внушало всем чувство некоторого уважения. Поэтому Алексеич менее, чем кто-либо другой, помышлял об опасном хождении мимо столба. В эту ночь, как уж сказано, он возвращался с поминок, мысли его были настроены на торжественный лад, а в руках он нес полуштоф. Он шел своим обычным размеренным шагом, в длинном полумонашеском хитоне и круглой шляпе, шел и на ходу, помахивая полуштофом, размышлял о суете сует в таком роде, что вот умерший кум получал хорошее жалованье, а нонче что ему в деньгах? Одним словом, мысли Алексеича были торжественны и поучительны. О том, что он подходит к опасному месту, он не думал вовсе...

— Стой! Кто идет? — раздался вдруг незнакомый голос.

Алексеич вздрогнул и остановился.

— С нами крестная сила, рассыпься! — вскрикнул он тоном заклинания.

— Небось не рассыплюсь,— ответил неизвестный.— Тебе нешто экую пору полагается шататься с водкой?.. Откупайся!

Алексеич быстро окинул взглядом поле действия, и от его взора не ускользнула другая темная фигура, стыдливо скрывавшаяся за кустом. Он сразу сообразил положение дела, стал в позу, отодвинул назад одну ногу и поднял правую руку с полуштофом.

— Прохор,— заговорил он глухим голосом,— а Прохор, бога ты не боишься! Своих уже стал останавливать! Думаешь, не вижу? Вижу тебя, окаянного, вот ты где, за кустом. А ты, между прочим, не подходи! — обратился он к остановившему его субъекту.— Верь истинному богу, всю морду посудиной изувечу. Не пожалею полуштофа.

Реплика произвела впечатление. Незнакомец замялся, хотя, по-видимому, не вполне отказался от своих намерений. Но патетическое воззвание архиерейского дворника проникло в глубину Прошкиной совести. Он вышел на дорогу, подвигаясь как-то нехотя, боком.

— Эй, служба, не трожь, слышь! Это, вишь, Алексеич... Знакомый... Кто же тебя экую темень узнает?

— Не узнал? — произнес Алексеич язвительно.— Вишь ты, ослеп ноне что-то. Эх, Прохор, Прохор! Вот ты нонче на какие поступки пускаешься? Своего человека... Ах-ха!

— Ну, будет,— произнес Прошка, переминаясь,— что уж! Поднес бы, Алексеич, по рюмочке, право. Вишь, холодно к ночи-то стало.

Алексеич смягчился.

— Вишь, рюмки нету,— сказал он уступчиво.— Ну, да уж ладно, лакай из бутылки... Ах, Прохор, а-ах, Прохор!

Алексеич укоризненно качал головой.

Прошка приложился и передал посуду товарищу. Тот взял ее с мрачным и недовольным видом.

— Не видал, что ли, водки твоей? — сказал он угрюмо, тем не менее не отказался и мигом прирос губами к горлу полуштофа. Слышно было, как булькает влага и мрачный мужчина тянет ее со спертым дыханием. Отдавая посуду, он пошатнулся.

— А-ах, Прохор! — сказал Алексеич еще раз, принимая посуду. Она стала заметно легче... Это обстоятель-

ство придало голосу Алексеича особенно выразительный оттенок.

Прошка понурил голову и удалился. Алексеич тоже направился дальше, но, удаляясь, слышал, как мрачный мужчина сказал укоризненно:

— Сидел бы уж. Ишь тебя вынесло... Рохля!

На следующий день с раннего утра Алексеич уже был на Выселках и именно в трактирном заведении. Важная новость, которую он имел сообщить выселковцам относительно Прошкина поведения, не давала ему покоя. Так этого дела оставить невозможно — это знали, конечно, обе стороны, и Прошка тоже чувствовал грозу, нависшую над ним в родных Выселках.

В заведении, несмотря на ранний час, два стола были заняты посетителями, оживленно беседовавшими о событии прошлой ночи. Духовный дворник был героем собрания. Он уже несколько раз успел рассказать происшествие, сообщив, в назидание слушателям, полный текст нравоучительной речи, которою он якобы тронул сердца злодеев. С каждым новым вариантом назидательная речь приобретала новые риторические красоты.

Вдруг дверь заведения отворилась, и на пороге появилась фигура самого злодея. Не ожидая, очевидно, встретить здесь Алексеича в такой ранний час, Прошка на мгновение остановился в дверях («Так его и шатнуло»,— рассказывали впоследствии очевидцы). Тем не менее возвращаться было поздно, и Прошка подошел к стойке. Вся его фигура действительно обнаруживала нечистую совесть: походка стала еще более неуклюжа и нелепа, глаза косили, стараясь не глядеть в ту сторону, где сидел Алексеич; к стойке он пододвинулся как-то боком.

— Налей косушечку,— сказал он застенчиво и грузно опустился на лавку.

— Сьчас,— ответил целовальник, не торопясь исполнить требование, и кинул многозначительный взгляд на Алексеича. Прошка сразу заметил все: как смолкли собеседники, повернувшись в его сторону, как сдержанно и с ожиданием смотрел на Алексеича целовальник, как сам Алексеич принял суровую позу, приличную обстоятельствам, и безмолвное внимание сограждан. Все это произвело на Прошку угнетающее влияние. Он потупился еще больше и как-то растерянно повторил:

— Косушечку мне, подай-ка...— Тон был неуверенно-робкий и фальшивый.

— Слышали-с,— ответил целовальник дипломатично, но не двинулся за прилавком. Прошку что-то кольнуло в сердце; он чувствовал, что в родном выселковском заведении он стал будто чужой.

При общем молчании все взоры обратились на Алексеича. Духовный дворник сознавал важность момента. Он молча поднял стоявший на столе графин, налил, не торопясь, стакан и подозвал Прошку:

— Поди сюда, Прохор...

Прошка, точно осужденный, подошел к столу.

— Пей,— сказал Алексеич таким голосом, точно в рюмке он подносил яд.

Прошка выпил залпом, скосил глаза, покраснел и, как будто не зная, что сказать и как вести себя в столь неожиданных обстоятельствах, вдруг бесстыдно обратился к духовному дворнику:

— Наливай еще!

Эта была храбрость отчаяния, но общественное мнение истолковало ее как доказательство закоренелого бесстыдства. Обыватели покачали головами. Кое-кто вздохнул.

— А-а? — протянул Алексеич.— Желаете еще, Прохор Иваныч? Что ж, мы и еще поднесем...— И, наливая другую рюмку, Алексеич прибавил: — За ваши добродетели...

Стакан был налит. Рука Прошки, подносившего его ко рту, сильно дрожала, но он все-таки выпил. После этого он совсем не знал, что ему делать.

Алексеич несколько секунд молча смотрел на его нелепую, сконфуженную фигуру и затем сказал:

— Скажи-ка ты нам теперича, Прохор Иваныч, как нам об тебе понимать?

— Насчет чего? — спросил Прошка, скашивая глаза.

— Не зна-а-ешь?! — иронически переспросил Алексеич.— Вишь ты, дитё несмысленое... Не ломайся, Прохор, говори!.. Птица теперича, пернатая тварь... об своем гнезде имеет понятие... А ведь ты есть человек!

Прошка отвернулся.

— Да ведь не тронули,— сказал он глухо,— чего ж тебе?

— Не тронули? — с горечью проговорил Алексеич.— Спасибо, Прохор Иваныч, что живого отпустили. И на том благодарить прикажете? Так, что ли? Нет, а ты зачем же это притаился?..

Прошка молчал. Он сознавал, что Алексеич успел рассказать все, и совесть у него была перед односельцами нечистая. Обыватели на разные лады высказывали свое неодобрение. Алексеич при этом случае с особенным воодушевлением рассказал еще раз все происшествие и закончил, пронизывая Прошку укоризненным взглядом:

— Нет, ты скажи: зачем ты притаился-то? Значит, пущай чужой человек меня обчистит, а ты в стороне!.. Вот какое ноне у вас поведение, Прохор Иваныч! Думаешь, не понимаем мы?.. Ах-ах-ах...

— Па-анимаем,— произнес сапожник, который сидел за столом и пожирал Прошку горящими глазами. Алексеич налил третью рюмку и молча, но необыкновенно укоризненно подал ее Прохору. Он был тонкий политик. Пытая Прошку, он в то же время подносил ему. В этом символически Выселки как бы предлагали Прошке на выбор: гнев или милость. Прошка, весь красный, выпил водку и опустился на лавку, подавленный отношением веселковского мира.

— А-ах ты господи! — заговорил он глухо.— Господа поштенные!.. Иван Алексеич!.. Да неужто же я, например, супротив односельцев вроде варвара окажусь?

И прибавил тронутым и размякшим голосом:

— Тяжело, братцы... Верьте богу: трудно мне, страсть! Ну, однако, супротив односельцев... ник-когда! Будьте, поштенные, без сумления...

И он взглянул на всех просветлевшим взглядом.

Все почувствовали, что Прохор раскаялся совершенно искренно и превращается опять в своего человека, в прежнего выселковского Прошку. Выселки отпраздновали возвращение своего блудного сына, и даже сапожник улыбался и качал головой с самым благосклонным видом... Алексеич ночевал в заведении, и архиерейская дача на шоссе оставалась эту ночь без его охраны.

IV

На следующее утро Прошка проснулся рано. Голова у него трещала с похмелья, но на душе не было скверно. Он вспомнил вчерашнее, вспомнил трогательное примирение с согражданами, и ему во всем этом почудилось

что-то теплое, умиляющее, точно начало какой-то новой жизни. Вчера он, вместе с Алексеичем, был героем дня. Он был для Выселок чем-то вроде блудного сына, возвращение которого празднуют закланием тельца. Еще неделю назад он был просто жулик Прошка, которым вне кулачных боев интересовались мало. Потом он сделался для Выселок угрозой. И когда угроза миновала — последовал короткий период трогательного общения. Прохор надеялся продолжить его и вкусить еще от сладкого покаяния. С такими чувствами и ожиданиями он переступил порог заведения.

Ему нужно было опохмелиться — это было несомненно и разумелось само собой. Но не это было главное. Он знал, что Алексеич ночевал в заведении, что теперь он тоже проснулся, что у него явится та же потребность в поправке, и Прошка намеревался отплатить за вчерашнее взаимностью. Это подымет его в собственных глазах и в общественном мнении. Денег у него не было ни копейки, но кредит был восстановлен. Для начала он закажет полбутылки с какой-нибудь закусочкой... Он уже видел в воображении, как они с архиерейским дворником будут «поправляться» за столиком, покрытым скатерткой. А через некоторое время станут подходить другие похмельные обыватели... И вчерашнее общение продолжится... неопределенно.

Но эти приятные ожидания были обмануты. Когда за Прохором завизжала и хлопнула дверь с блоком — в трактире было еще не прибрано и пусто. Два заспанных парня убирали грязные столы и спрыскивали пол... В хозяйской комнате чирикала канарейка. Сама хозяйка возилась за прилавком вместо мужа, а духовный дворник уже сидел у окна за столиком и опохмелялся.

Похмелье у него было трудное и тяжелое. Лицо за ночь еще более пожелтело, волосы прилипли по сторонам щек, и он жевал губами с выражением страдания и отвращения. Увидя Прохора — он стал как будто еще более мрачен, но все же поманил вошедшего пальцем и молча налил рюмку. По его угрюмо-страдающему виду Прохор понял, что вчерашнее миновало бесповоротно. Духовный дворник становился опять особой, не под пару Прошке, и у Прохора не хватило духу предложить ему свое угощение.

Он подошел на зов и выпил рюмку, чувствуя, что это только подачка. Алексеич, не тратя слов, налил другую.

В это время блок взвизгнул, и в заведение вбежал еще

один страдающий обыватель. Не обращая ни на кого внимания, он подбежал к стойке и кинул монету. Хозяйка налила ему с презрительным видом. Она презирала пьяниц, хотя ей и приходилось порой заменять мужа. Прошка чувствовал, что его планы насчет кредита в эту минуту более чем сомнительны... Страдающий посетитель «поправился», кивнул Алексеичу головой и, не обратив внимания на Прошку, быстро выбежал из трактира... А вчера он обнимался с Прохором и то и дело лез целоваться.

Было ясно, что короткий праздник кончился. Наступали будни. Прохор становился в выселковской жизни на прежнее место... Алексеич постучал и стал рассчитываться. Прохор стоял у столика в нерешительности.

— Умыться пойтить,— сказал он, чтобы сказать что-нибудь.

Дворник не выразил ни малейшего участия к дальнейшим намерениям Прохора. Он только зачавкал ртом с видом человека, у которого печень не в порядке и которому весь мир внушает отвращение, в том числе и его ближайший собеседник. Прошка вышел своей медвежьей походкой и направился к плотине и пруду...

Площадь была пустынна. На нее выехал «фиакр» и поставил лошадь против трактира; лошадь раскорячила ноги, выгнула костистую спину и застыла, как будто мгновенно заснула, а ее хозяин поплелся в трактир мелкими шажками и тряся на ходу огромной бородой. Блок взвизгнул, и все опять стало тихо.

В воздухе ясно почувствовалась утренняя свежесть. На березках и кустах сверкали капли невысохшей росы. Было тихо, только блок трактира то и дело приятно взвизгивал, после чего стучала дверь. Это движение шло мимо Прошки, и это приводило его в чрезвычайно мрачное настроение.

Он лениво оглянулся по направлению к своей полуразвалившейся избушке. Из черной покосившейся трубы вился легкий дымок. Дунька вчера гуляла, вернулась поздно и теперь, очевидно, собиралась стряпать. Это в некоторой степени снимало с Прошки заботу о малолетках и престарелом родителе. «Сыты на сегодня» — дальше этого его заботы не простирались... Он не заработал ничего, но сестра, очевидно, заработала... Этого достаточно. Почесавшись как-то по-своему, руками, плечами и спиной, Прошка вяло двинулся по направлению к воде.

Шел он тихо, с развальцой; по временам почти приостанавливался, почесывался и опять шел. Казалось, ему все равно — идти ли к воде или назад, или совсем не идти. В самом начале он чуть было не наткнулся на несчастную клячу «фиакра» и, проходя мимо, поднял локоть, чтоб ударить ее по морде; но так как ему лень было податься в ее сторону, то удар чуть-чуть только задел клячу, а она, в свою очередь, не сочла нужным выразить чем-либо свое негодование. Кляча осталась в своей задумчивой позе, а Прошка пошел дальше тою же нелепою походкой.

У конца плотины над прудом стояла красная сторожка. От нее в глубину парка уходил невысокий вал, поросший травой, с узкою дорожкой, которая убегала, теряясь в зелени, отделенная от вала канавкой. Листья берез чуть-чуть шептались под ветром, который, пробегая над прудом, подымал кое-где небольшую зыбь: легкая струйка, сверкая на солнце, билась в берег, покачивая две лодки. Упавшие сквозь листву яркие лучи смыкались и размыкались светлыми кружками на дорожке. Это был ясный мирный уголок; кусты и деревья отделяли его от площади, от ее кабаков, пыли и лавок. На другой стороне пруда виднелась красивая балюстрада лодочной пристани и густой академический парк. И белая балюстрада, и густая темная зелень отражались в синей воде пруда. Все было прозрачно, густо, отчетливо, необыкновенно свежо и чисто.

Появление угрюмой и грязной фигуры Прошки составило резкий диссонанс в тиши этого уголка. Вероятно, он сам не мог не сознавать этого, потому что в первую же минуту его лицо еще более потемнело и на припухлых щеках, в заплывших глазах появилось выражение цинизма. Это выражение он умел усиливать по произволу; у всякого свое положение в свете, а Прошка имел свое: он был жулик, драчун, человек отчаянный. Если б он лишился этих качеств, не приобретя взамен других, он стал бы на Выселках нулем. Теперь же он был чем-нибудь и, так или иначе, все же выделялся, заставлял с собою считаться. Раз он отчаянный, так пусть же знают, что он в этом отношении может зайти далеко,— дальше, чем от него ожидают. Находясь среди людей, он чувствовал на себе их взгляды, исполненные пренебрежения, и ему было приятно, когда это пренебрежение переходило в удивление, а иногда и в страх. Поэтому он любил порой усилить свое безобразие, любил, покачнув-

шись будто нечаянно, задеть какого-нибудь уважаемого обывателя, любил так дрогнуть плечом, чтобы близстоящие, кто бы они ни были, хотя бы совершенно посторонние, невольно шарахнулись, опасаясь со стороны отчаянного человека внезапного нападения. Он сознавал, что ему сходит многое, что не сошло бы другому. Каждый при взгляде на его фигуру сразу замечал резкие признаки отчаянного человека, с которым лучше не связываться.

Теперь, хмурый и заспанный, он особенно сильно чувствовал на себе такие взгляды... Но кругом никого не было. Были только березки, блики на пруде, свежая зелень и легкий утренний ветер. Это в нем самом было смутное сознание того диссонанса, какой он вносил сюда, в этот ясный уголок воды, зелени и солнечных лучей. Поэтому он еще более обмяк и опустился. Взойдя на кладку над водой, он ступал так тяжело, что доски трещали и гнулись. Усевшись и спустив ноги к воде, он зачем-то выругался и толкнул ногой лодку. Лодка тихо откачнулась, ударилась о другую и опять подплыла к ноге чистенькая и с чистеньким отражением. Прошка толкнул опять, но уже тише. Повторив это три-четыре раза, он опустил голову и на минуту смирился. Когда он поднялся, его лицо приняло более спокойное выражение. Он умылся, поглядел еще раз кругом, взошел на насыпь и, выбрав место, где солнце уже высушило капли росы, лег в траву.

Фигура человека, таким мрачным пятном ворвавшаяся сюда, теперь стушевалась, будто слившись с этою природой. И душа человека тоже начала с нею сливаться. Прошка пролежал несколько минут, закрыв лицо согнутыми в локтях руками. Потом он открыл глаза и, подняв голову, посмотрел на пруд, на лодки, которые опять мерно покачивались на синих струях, разводя вокруг серебристые круги, на листья, которые дрожали над ним в тонкой синеве воздуха, прислушался к чему-то, и вдруг легкая улыбка подернула его щеки.

Усмешка эта была какая-то косая, неопределенная. Лицо Прошки трудно ей поддавалось; оно подернулось ею, как дергается поплавок на поверхности реки, когда в глубине трогают наживку... сначала слабо, потом несколько явственнее. Наконец улыбка широко разлилась по мясистым скулам, раздвинула рот, заискрилась в чуть видных глазах. Это была лукавая улыбка: Прошке было смешно оттого, что он один, что кругом так

благосклонно шепчут ему листья, что ему хорошо, что ему не нужно показывать отчаянность и, главное, что его никто не видит, что он украл для себя у людей эту особенную минуту. Он был похож на кота, которого гладят по спине. Но его никто не гладил по спине, или, вернее, его гладила общая мать-природа. Она коснулась его души своим нежащим и любящим прикосновением, и он почувствовал, как эта душа разглаживалась, выпрямлялась, добрела. Что-то из нее улетучивалось, что-то утопало, стиралось в сознании, и взамен из глубины поднималось нечто другое, неведомое, неопределенное, смутное... Все это совершалось так ощутительно, что порой у Прошки являлся даже вопрос: что это такое? Что это нарастает в нем, пробивается к сознанию, напоминает о чем-то, подмывает на что-то? О чем напоминает, на что подмывает?.. Порой Прошка ощущал в себе неясное желание. И когда по привычке он задавал себе вопрос: уж не выпить ли ему хочется — то поднимавшаяся в душе безвкусица не оставляла ни малейшего сомнения, что дело не в выпивке. Так в чем же?

Он затихал и отдавался настроению, надеясь схватить неясное ощущение, как мы стараемся по временам схватить приятный полузабытый сон. Но ему никогда не удавалось этого достигнуть: не привыкшее к напряжению внимание вскоре ослабевало, туманилось — и, продолжая улыбаться, Прошка мирно засыпал. Быть может, во сне он видел наконец то, что желал увидеть, но никогда не помнил, что ему снилось.

Одно было жалко: излюбленный уголок находился очень близко от плотины, и порой для сокращения дороги студенты из выселковских номеров и дач проходили прямо через насыпь, мимо Прошки. Раньше Прошку это не беспокоило, но в последние годы характер студенчества стал какой-то беспокойный. Прежде студенты проходили мимо Прошки и, если обменивались с Прошкой остротами, даже порой ругательствами, то делалось это как-то по простоте, не обидно. Теперешние студенты не ругались; они только оглядывались на Прошку как-то особенно. Однажды проходивший мимо юноша указал на него другому и сказал:

— Вот ваш «народ». Смотрите.

Тот, к кому это восклицание обращалось, повернулся к Прошке, посмотрел на него сначала сквозь синие очки, потом поверх очков и спокойно ответил:

— Ну, какой же это «народ»... подмосковный. И при-

том... (он еще раз внимательно посмотрел на Прошку), кажется, это Прошка, которого зовут жуликом.

Затем, продолжая горячо спорить на непонятном для Прошки господском языке, юноши пошли своею дорогой. Прошка сердито заворчал. Он видел, что, в сущности, его как будто не желали обидеть. Но уже недоумение, возбужденное непонятным разговором, было ему неприятно.

— И что только говорят... ничего не поймешь. Народ... ежели я тут один лежу...

Конечно, он мог переменить место, но, во-первых, очень уж он привык к этому уголку, а во-вторых, инертность была существенною чертой его характера. Он злился, но места не менял. «Наплевать! — думал Прошка про себя, кидая на юношей вызывающие взгляды.— Лежу вот, больше ничего. Имею полное право».

В описываемое утро, по случаю раннего праздника, движения было меньше. Многие студенты отправились в Москву еще накануне, другие еще спали дома, поэтому Прошка надеялся, что его уединение не будет нарушено.

Однако он ошибся.

Прежде всего на валу, в узкой просеке показалась фигура студента Чубарова. Он прошел мимо Прошки, не заметив его, и, подойдя к пруду, снял шляпу и стал умываться.

«Пьянствовал, видно, толстая морда!» — неприязненно подумал Прошка, глядя на красное, веселое лицо Чубарова. Догадка, в сущности, была справедлива: Чубаров всю ночь кутил у «старого студента» Воронина, жившего на одинокой дачке в лесу, и теперь вышел, чтобы достать припасов для продолжения пирушки. Кстати задумал немного освежиться.

«Здоров пить,— подумал опять Прохор, рассматривая прищуренными глазами оживившуюся от свежей воды физиономию Чубарова.— Небось всех товарищей споил, а самому хоть опять начинать».

Студент фыркнул, потянул в себя воздух, обтер лицо носовым платком и пошел по направлению к плотине, слегка покачиваясь.

«Небось разбирает на воздухе-то»,— комментировал опять Прошка, с невольным интересом следя за проявлениями хорошо ему знакомого недуга.

На другом конце плотины, ближе к академии, находилась лавка, где торговали коньяком и винами. Она еще была заперта, но это не послужило препятствием.

Через четверть часа Чубаров вновь появился на плотине и, к великой досаде Прохора, опять должен был пройти мимо. Теперь он нес под мышкой кулек, из которого виднелись горлышки бутылок.

«Ишь его... носит взад-вперед»,— неприязненно подумал Прохор. Чубаров быстро прошел мимо и стал удаляться по валу; Прошка опять поднял глаза кверху и замечтался... Мечтательность, смутная и беспредметная, скоро переходила у него в дремоту. Он обладал счастливым свойством здоровых натур засыпать по произволу во всякое время; поэтому немудрено, что через минуту его веки отяжелели, глаза сомкнулись. Дремота налегала на него все гуще, и неясный сон мелькал в воображении, покрывая понемногу сознание действительности.

Прошке казалось, что воздух затуманился, небо заволакивается тучами, листья шепчутся тревожно, точно перед наступлением грозы. Еще через несколько минут ему послышалось даже глухое рокотание грома, и он стал испытывать беспокойство и желание проснуться, чтоб укрыться от близкого дождя. Но дремота все крепче и крепче охватывала его, сковывая все члены.

По странному совпадению, действительность, хотя и в метафорическом смысле, соответствовала этому сновидению. День был ясен, и солнце светило по-прежнему ярко, но на синем клочке неба, который виднелся между деревьев в конце узкой просеки, на горизонте показалось черное пятнышко, которое вырастало по мере приближения. Пятнышко оказалось группой людей, и Чубаров, узнавший своих товарищей из кружка, к которому принадлежал только отчасти, свистнул, покачал головой и прибавил шагу. Он недавно порядочно повздорил с кружком; кроме того, он был пьян и весел. Кружок, наоборот, возвращался после неудавшейся в Москве сходки; студенты ночевали кое-как, в тесноте, не выспались, прошли более десяти верст пешком, а потому шли усталые, в самом мрачном настроении. Таким образом, если не на небе, то на узкой насыпи в лесной просеке, навстречу друг другу стремились два противоположные электричества, и столкновение было неизбежно. Прошка спал, не предчувствуя, что этому столкновению суждено разразиться над его беззаботной особой и что оно повлечет за собой для него лично многочисленные последствия.

Черное пятно все увеличивалось, фигура Чубарова

все умалялась, расстояние между ними уменьшалось. Наконец они сошлись. Чубаров потерялся в группе, но зато вся группа остановилась. В ней поднялось какое-то движение, послышался отдаленный рокот голосов. Через минуту группа двинулась опять, но движение это происходило как-то неровно, с остановками. По временам Чубаров, который вместе с одним из новоприбывших составлял центр двигавшейся живой тучки, клал на землю свой кулек и начинал жестикулировать с размашистостью горячего и притом выпившего человека. Очень вероятно, что приснившийся Прохору рокот надвигавшейся грозы отчасти объяснялся гулом смешанных голосов, и в особенности могучей, несколько осипшей октавой Чубарова. Она то и дело выносилась из кучи студентов, которая между тем надвинулась почти вплоть к тому месту, где лежал Прохор.

Спор был горячий. Главный оппонент Чубарова, Семенов, пытался прекратить неожиданно завязавшийся диспут, но неудачно. Это был молодой человек, с русою небольшой бородкой, одетый в длинный черный пиджак, застегнутый на все пуговицы, и в простом суконном картузе. Вся эта темная, некрупная фигура не имела в себе ничего выдающегося и представляла резкую противоположность с размашистою и широкою фигурой Чубарова. Между тем как в Чубарове резко выступали характерные черты студента — Семенова на первый взгляд можно было принять за мещанина или рабочего. Он не горячился в споре и не нападал. Только румянец, проступивший на его матово-смуглых щеках, обнаруживал некоторое волнение. Его серые, задумчивые глаза глядели на Чубарова из-под козырька с сдержанным выражением неодобрения, с каким убежденный сектант смотрит на грешного мирянина. Казалось, этот взгляд еще более раздражал и без того разгоряченного Чубарова.

— Нет, вы па-азвольте,— заговорил он, опять останавливаясь и ставя кулек на землю, так что дальнейший путь оказался прегражденным.— Па-азвольте! Это вы, кажется, изволите игнорировать мои мнения, потому что считаете меня пьяным. Не одобряете... понимаем... Стоите на высоте-с. Отлично. А все-таки мой логический аппарат действует, и я утверждаю: ваше основное положение ведет к отрицанию культуры...

— К черту вашу культуру! — решительно произнес студент с большими черными глазами, горевшими на

бледном лице каким-то темным пламенем. При этом он стукнул об землю большою палкой. Но в среде кружка это решительное заявление вызвало некоторое замешательство. Спор отклонился. В кружке беспорядочно зашумели.

— Какие ты, Гурьянов, можешь выставить аргументы в пользу этого мнения? — спросил студент, которого звали Еретиковым. В сущности, фамилия этого молодого человека была не Еретиков, а Ярославцев; товарищи прозвали его Теоретиком, а Выселки перекрестили в Еретикова, и последняя кличка осталась за ним, быть может, потому, что она очень шла к нему: широкое, жирное лицо, обрамленное длинными, но жидкими волосами, которые спадали из-под круглой шляпы косицами, напоминало духовное происхождение Ярославцева. Казалось, ряса и стихарь наиболее шли бы к этой физиономии; между тем кургузый светло-серый пиджак стягивал широкие круглые плечи и, очевидно, был сшит не по нем; широчайшие брюки были длинны и обтерханы внизу, а весь костюм в общем, казалось, принадлежал кому-то другому и только случайно попал на этого расстригу. Лицо Еретикова производило впечатление необыкновенной мягкости и жизнерадостности: голубые глаза глядели с добродушным лукавством, и порой, когда ему удавалось построить удачный силлогизм, они загорались веселым, довольным огоньком. В кружке он был известен необычайною легкостью, с какою умел делать выводы из всевозможных посылок. Стоило только заинтересовать его каким-либо предположением, намеком или вопросом, как голубые глаза Еретикова начинали играть и светиться, а губы шевелились лукавою усмешкой человека, в сознании которого уже вставало совсем оформленным то, что вы считали новым и оригинальным. Обладая громадною памятью, он вооружался и философией, и историей, и социологией, сыпал цитатами и в конце концов сам начинал верить своей быстро возникшей теории. Но стоило любому скептику умело тронуть хоть один уголок законченного здания, как мысль Ярославцева уже неудержимо стремилась по пути разрушения. Он тотчас же вспоминал все, что можно было возразить против новой теории, и лукавая улыбка уже опять оживляла его широкое лицо. В кружке знали это свойство ума Еретикова, и Семенов относился к нему неодобрительно.

Гурьянов представлял во многих отношениях кон-

траст Теоретику. Он не любил спорить, и какая-то мрачная искренность отмечала все его решительные выходки. Кружок далеко не во всем с ним соглашался; некоторые считали его душевнобольным, но Семенов, тоже далеко не разделявший его взглядов, ценил искренность Гурьянова. В сущности, он мало знал его действительные взгляды. Гурьянов сам не мог ни доказать, ни обосновать, ни даже ясно формулировать их. Все его заявления, резкие, категорические и короткие, являлись как бы откровениями под влиянием наития непосредственной натуры. Семенов старался разыскать особенный смысл этих страстных выходок и часто терялся. Порой это удавалось ему лишь при помощи более или менее сложных комментариев, часто совершенно изменявших первоначальное значение высказанного Гурьяновым мнения.

Теперь, услышав решительное заявление Гурьянова относительно культуры и видя недоумение кружка, он на минуту ушел в себя, неопределенно глядя вперед задумчивыми глазами и будто что-то рассматривая в своем воображении. Всегда в тех случаях, когда Гурьянов вмешивался в разговор, Семенов становился спокойнее.

— Наша культура одностороння и построена на слишком узком основании,— сказал он.— Гурьянов хочет сказать, что нужно уничтожить эту односторонность.

— Гм... Кажется, он высказался несколько определеннее,— иронически заметил Чубаров.

Глаза Семенова на минуту опять затуманились, и он сказал задумчиво:

— Знаете ли... Пусть так... Разве стоит тратить силы на уход за тепличным растением?.. Стоит ли украшать здание, которое нужно сначала сломать, а потом подвести более широкий фундамент... Ведь при этом все равно, все эти детали полетят к черту!..

Он говорил тоном полувопроса, как будто мысль эта еще только выяснялась для него под влиянием страстного выкрика Гурьянова.

— Ну, это похоже на изречение нашего почтенного оракула,— перебил Чубаров.

Семенов покраснел, обидевшись за Гурьянова, и ответил довольно резко, стараясь двинуться вперед (Чубаров поднял кулек).

— Об этом мы уже говорили и, может быть, погово-

рим еще. Теперь я скажу кратко: даже наиболее резкое и интенсивное проявление деятельности культурных классов, даже допустив, что они стали бы политическою силой... и то бесполезно, если не вредно. Единственная творческая сила — народ. Какое мы имели бы право навязывать ему наши так называемые политические взгляды, зная, что мы — продукт одностороннего развития? Поверьте, что народ, когда он выступит на арену истории, сумеет сломать все эти изысканнейшие стили и построить свое новое здание. Оно будет просто, сурово, и в нем будет своя красота...

— Новое небо и новая земля,— подсказал Еретиков.

— Так, так,— насмешливо одобрил Чубаров.— Подождем, пока ему угодно будет выступить. А затем... прикажете присутствовать в качестве благородных свидетелей?

— Постойте, Чубаров,— живо возразил Теоретик.— Из только что высказанного взгляда вовсе не вытекает необходимость пассивности. Нам предстоят две задачи: во-первых, отказаться от себя...

— Фью-ю-ю! — свистнул Чубаров и громко засмеялся.— Хороша задача! Ну-с... А если я не желаю отказываться от себя... Не признаю самоотречения и аскетизма... Я есть я... Да, да, черт возьми! Смотрю на себя и вижу, «яко добро есть»...

Он вызывающе стал на дороге, веселый, пьяный и возбужденный. Семенов посмотрел на него холодным взглядом. В кружке беспорядочно зашумели.

В конце концов Теоретик опять овладел словом и сказал, довольно и вкусно улыбаясь. Ему предстояло закончить формулу.

— Я утверждаю, что перед честной русской интеллигенцией лежат две задачи: во-первых, отрешиться от себя... совлечь ветхого человека... за исключением одного свойства — знания... Во-вторых, разбудить народ, загипнотизированный вековой спячкой...

— К черту знание! — категорически произнес Гурьянов.— Просто разбудить, и только... А сами в сторону.

— Но... как же? — спросил Теоретик несколько растерянно.

— Да... Толчок нужен здоровый,— сверкнул Гурьянов своими черными глазами и замолчал.

Опять поднялся шум... Перед Теоретиком потянулся другой ряд цитат. Спенсер утверждает, что только эмоция заражает и родит действие. Мысль в этом отноше-

нии безразлична... Это сбило его с прежней позиции, а так как в это время он уже овладел словом и его ответа ждали, то он стал нерешительно приводить цитаты об «уме и чувстве, как факторах прогресса». Он мямлил, и спор явно уходил вничью.

Как раз в минуту этого кратковременного затишья перед глазами молодых людей в небольшой ложбинке на траве явилась фигура Прошки. Жулик лежал в самой беспечной и непринужденной позе, сладко потягивался и издавал легкий носовой свист. Чубаров, собиравшийся возразить что-то, при виде этого зрелища остановился как вкопанный. В его глазах забегали веселые огоньки.

— Сдаюсь! — воскликнул он.— Смиряюсь перед указанием свыше: вот сын народа, которого предстоит разбудить. При сем случае можем произвести и надлежащий эксперимент. Итак, господа,— заговорил вдруг Чубаров, подходя к Прошке и принимая позу и тон одного из профессоров,— прошу внимания.

Семенов нетерпеливо повел плечом и хотел пройти далее, но кружок, увлеченный внезапной выходкой Чубарова и мастерским подражанием, шумно стеснился вокруг спящего Прохора. Семенов вяло остановился несколько в стороне.

Чубаров вынул полубутылку и, употребляя ее вместо указательной палочки, уставил ее в Прохора.

— Silentium [1]. Начинаю. Перед нами, господа, на лоне природы в самой непринужденной и натуральной позе лежит редкий экземпляр... Homo primitivus [2], непосредственная натура, сын народа... Прошу не перебивать!.. Дальнейшие определения — вид, подвид и индивидуальность, будут введены мною своевременно. Итак, общий родовой признак стоит вне сомнения: сын народа...

Прошка слегка зашевелился. Окружавшая его толпа и густой бас Чубарова, раскатывавшийся в воздухе, вызвали в нем некоторое беспокойство. Он повернул голову и открыл один глаз, потом закрыл его, взглянул опять, потянулся, поднял голову и бог знает зачем крякнул. Среди молодежи послышался смех.

— Он проснулся,— заметил Чубаров.— Тем лучше, ибо это дает нам возможность предлагать ему вопросы.

---

[1] Молчание *(лат.).—Ред.*

[2] Простейший человек *(лат.).— Ред.*

Пункт первый. Ответствуй, Прохор: твое звание? Жулик?

— Пшел к черту! — пробурчал Прошка, еще не вполне ориентировавшийся в этом странном положении.

— Проанализируем, господа, его ответ. Он великолепен; из него мы видим, что Прошка верит, во-первых, в существование черта; во-вторых, вы видите, что он не отрицает своей профессии, не негодует, не лжет. Он просто посылает нас к черту, разумея довольно резонно, что мы суемся не в свое дело. Однако в интересах научного исследования продолжим. Прохор! Пункт второй: понимаешь ли ты, что твое ремесло не вполне одобрительно?

Прошка был удивлен и рассержен. Он приподнялся на локте и сказал:

— Слышь, Чубаров, в морду хочешь?..

— Именно этого и ожидала от тебя наука,— снисходительно поддакнул Чубаров, и среди слушателей раздался шумный смех.— Он не отвечает на вопрос, ибо столь сложные нравственные понятия недоступны его простому разуму, не испорченному гнилой культурой. Теперь, если наука меня не обманывает, я могу предсказать ответ на третий и последний вопрос. Это будут элементарные мышечные рефлексы.

Элементарные рефлексы наступили даже ранее, чем был предложен третий вопрос. Прошка поднялся и стал засучивать рукава, отставив для устойчивости одну ногу. Намерения его были очевидны, но Чубаров, с апломбом истинно ученого человека, остановил эти приготовления.

— Постой,— сказал он.— Опыт кончен, от тебя не требуется ничего более. Выпей, брат, на здоровье и за процветание науки.

С этими словами Чубаров передал удивленному Прошке полубутылку, которую держал в руке.

Затем он слегка качнулся и не совсем твердыми шагами побрел было прочь со своею веселою аудиторией.

Семенов все время стоял в стороне, наблюдая эту сцену холодным взглядом. На его загорелых щеках появился румянец негодования, главным образом против товарищей, поддавшихся гаерству Чубарова. Когда Чубаров повернулся к нему, смеясь и с горящими весельем глазами, взгляды молодых людей встретились. Веселье Чубарова сразу погасло.

— Вы полагаете, что это остроумный ответ на наш спор? — заговорил взволнованно Семенов.— Это не ответ, а низкое балагурство, унижение человеческого достоинства... Я не хочу участвовать даже пассивно в этой пошлости...

Затем, быстро подойдя к изумленному Прохору, он снял шапку и поклонился.

— Прости нас, Прохор Иваныч,— сказал он серьезно.— Видишь — человек выпивши...

Прохор вскинул на него осоловелыми глазами; поступок одного из студентов, только что над ним насмехавшихся, был ему еще менее понятен, чем самые насмешки; поэтому он сердито отвернулся и пошел прочь развалистою походкой, весь опустившись и убрав голову в плечи. В его фигуре было что-то до такой степени пришибленное, грустное и вместе укоризненное, что Чубаров, посмотрев ему вслед внимательным взглядом, сказал в раздумьи, как будто для самооправдания:

— Бутылку все-таки унес...

Однако когда молодые люди дошли до плотины и повернули под прямым углом, они услышали звон разбитого стекла. Прошка, пройдя несколько шагов, вдруг круто остановился, поднял обеими руками бутылку высоко над головой и с размаху бросил ее о ближайший пень. Затем он быстро и не оглядываясь углубился в чащу...

Зачем, собственно, Чубаров шел вместе с другими членами кружка по плотине, он сам не знал; до встречи с ними он направлялся к Воронину, который, без сомнения, ожидал его с томительным нетерпением. Но вместо того чтобы вернуться к лесной дорожке, Чубаров шел вперед, молча, сердито сдвинув брови и что-то ворча про себя. Кроме Семенова, остальные члены кружка имели пристыженный вид; они дали себя увлечь веселою выходкой и теперь сознавали, что это не соответствовало общему тону, господствующему в кружке, что они некоторым образом согрешили. Чубаров улавливал это настроение и злился. Вид Семенова, который шел в стороне с обычною спокойною и несколько грустною задумчивостью, раздражал его еще более.

— Отец-настоятель,— ворчал он про себя...— Скорбит о грехах мира. Нельзя, черт возьми, и пошутить... Черт бы побрал весь этот возвышенный тон! И эти тоже... Идут как в воду опущенные... Согрешили... чувствуют...

Ему хотелось громко выругаться или удачно сост-

рить и, круто повернув, отправиться на дачу Воронина, где его нетерпеливо ждали. Но в это время в конце плотины показалась фигура старого студента Арфанова, или, как его называли в шутку, «князя Арфанова».

Это был высокий, стройный брюнет, в небольшой крымской мурмолке на густых кудрявых волосах, в которых вблизи можно было разглядеть редкие серебряные нити. Он был в высоких сапогах, что-то вроде серого казакина ловко перехватывало гибкую талию. Широкие плечи, крутая грудь, тонкая талия, гибкая походка — все обличало кавказца. Черты лица были правильны, в черных глазах виднелась надменная усмешка и как будто усталость. Он беззаботно насвистывал какую-то песенку и ловкими взмахами хлыста срезывал слабые ветки ветел, росших по одну сторону плотины. На встречную кучку студентов он поглядел равнодушным, несколько надменным взглядом. Только заметив Чубарова, он весело улыбнулся.

— Куда же вы с этим? — сказал он, указывая взглядом на кулек.— Кажется, не по назначению?..

— Да, мы тут... заговорились немного,— сказал Чубаров, чувствуя облегчение от встречи с колоритной фигурой старого студента.— Теперь я с вами обратно... Вы, конечно, тоже к Воронину?..

— Да... Вчера я немного... смалодушествовал,— ответил Арфанов.— Кажется,— прибавил он,— мы немного пошумели с Вильфридом. Да?..

Он искоса посмотрел на Чубарова вопросительным взглядом, но его тонкое лицо оставалось сдержанно. Чубаров вспомнил, что во время пирушки Арфанов устроил дикий дебош. Во хмелю он был совершенно неистов и на другой день ничего не помнил. Вчера пьяные товарищи силой удалили его из своей компании. Но теперь, глядя на его спокойные, изящные черты, Чубаров не решился напомнить об этом и сказал только:

— Да, было кое-что... Так, пустяки...

— Куда же это вы шли сейчас? — спросил Арфанов.

— А! Черт знает куда! — ответил Чубаров с кислым видом.— Кажется, ко граду взыскуемому.

Тонкая улыбка шевельнула красивые мягкие усы Арфанова.

— С кульками? — спросил он.— Но вы что-то сильно не в духе?..

— Будешь в духе...

И, поддавшись дурному настроению, которое так и не нашло исхода в какой-нибудь выходке по адресу Семенова или всего кружка, он стал изливать свою досаду перед Арфановым.

— Черт знает... Настроение какое-то... особенное. Пошутить нельзя. Грех, и сейчас высокие слова... Просто удавиться с тоски впору... Ей-богу...

— Что же, собственно, случилось?..

— Да ничего особенного. Видите ли... Купил я эти все истории,— он указал глазами на кулек,— иду назад к Воронину. Братия ждет, конечно, с нетерпением. На беду, гляжу: ползут наши из Москвы. Сходка там была... Полиция нагрянула... Протокол... Идут и договаривают тут дорогой, чего там не договорили... Все о том же предмете: Magnus ignotus... великий незнакомец, именуемый народом. Роль интеллигенции — пробудить его от векового сна... Теоретик тут с цитатами из Спенсера, Гурьянов с пифийскими изречениями, которые Семенов пытается комментировать... Ну, меня нелегкая дерни вмешаться спьяну-то... Слово за слово — полезли на стену... А тут, кстати или некстати, у самой нашей дороги — Прошка...

— Жулик?

— Ну, да. Лежит вон там у вала, по тропинке к даче Воронина, в ложбиночке. И лежит, подлец, во всей непосредственности. Спит, как младенец, и морду выставил на солнце... А тут речь идет как раз о возможном пробуждении народа для великого будущего... Ну, понимаете... Тема соблазнительная...

У Чубарова в глазах забегали веселые огни...

— Я им, так сказать, in anima vili [1] прочел небольшую лекцию в тоне профессора Лемана...

Арфанов захохотал вдруг сразу необыкновенно красивым и заразительным смехом. Он любил шутку и понимал юмор. Это подняло упавшее настроение Чубарова, и он передал в кратких чертах, с некоторыми удачными вариациями, весь эпизод вплоть до слов Семенова об оскорблении личного достоинства жулика Прошки.

— Личное достоинство,— сказал Арфанов с тонкой усмешкой на красивых губах.— Вещь очень хорошая... На этот раз только, кажется, не по адресу. Вероятно, от преувеличенного *личного достоинства* у Прошки морда вечно припухшая...

---

[1] На простейшем существе *(лат.).— Ред.*

Теперь Чубаров, в свою очередь, захохотал во всю октаву.

— Ха-ха-ха!.. Черт знает что такое... Нет, это великолепно. Черт знает чего бы не дал, чтобы это словечко пришло мне в голову в ту минуту...

Он чувствовал себя опять в своей тарелке. Кислое настроение прошло. Правда, где-то в глубине души шевелилось угрызение совести при мысли, что он высмеивает за глаза и перед чужим людей, к которым, как бы то ни было, питает невольную симпатию и с которыми в гораздо большей степени связан в идейном смысле.

Однако это ощущение гнездилось где-то далеко на дне души.

Оба студента свернули с плотины и вскоре затерялись на зеленой тропинке по направлению к даче Воронина.

. . . .

1887

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

Этюд

От автора

К шестому изданию [1]

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому очень основательное, по мнению возражающих; этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что

---

[1] В этом издании были сделаны значительные дополнения.

этот мотив вошел в мою работу как априорный, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах — все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод — по моему мнению, решающий в указанном вопросе — лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как — раз тронув прежнюю тему — я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898 г.

Глава первая

I

Ребенок родился в богатой семье Юго-Западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи, но когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще чертами, появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего... отчего это он? — спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливало из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самих окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

— Скажите же мне, отчего он такой?

— Какой? — равнодушно переспрашивали посторонние.— Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

— Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

— Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями,— ответил доктор.

— Отчего же он смотрит все в одном направлении?.. Он... он слеп? — вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и наконец сказал с смущенным видом:

— К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

— Я знала давно,— сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и дяди Максима, как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-Западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» — после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое

существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве на Контрактах [1]. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смирный из шляхтичей непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику — Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую душу, зато Контракты проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамаши перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке*, исстари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьерка* паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

— Плохо кончил Максим,— сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько

---

[1] Контракты — местное название некогда славной киевской ярмарки.

лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, угомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на Контракты, редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то; но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки,— все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неугомонная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом за угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь — борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат [1]; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

---

[1] Военный обоз *(нем.)*.— *Ред.*

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственною заинтересовало дядю Максима.

— Гм... да,— задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку,— этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечишко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастия скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастия лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастием и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присмат-

ривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый,— сказал он, пуская кольцо за кольцом,— будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс,— сказала она тихо,— напоминать без цели...

— Я говорю только правду,— ответил Максим.— У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

— Отчего же?

— Пойми меня, Анна,— сказал Максим мягче.— Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и с какою-то необычною в других детях живостью ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попа-

дал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто вглядывался кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов; когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, неслышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха,— изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным обра-

зом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и вместе с тем здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

— Что это с ним? — спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

— Он... не может понять,— догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежею прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопро-

са. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкаю-

щие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу

ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками... быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали... Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычною своей энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о фурштате давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотой и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает,— думал старый гарибальдиец,— ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других обездо-

ленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятых годов не было чуждо суеверное представление о таинственных предначертаниях природы. Немудрено поэтому, что по мере развития ребенка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих таинственных предначертаний. «Обездоленный за обиженных» — вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

— Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может,— говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решился допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

— Рожок пастуха слышен за лесом,— говорила она.— А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе [1]. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

---

[1] В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо.

X

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых по возможности прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

— Ну, а какой он? большой? — спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

— Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

— Большой...— задумчиво произнес мальчик.— А малиновка — вот! — И он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

— Да, малиновка такая... Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист — серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

Глава вторая

I

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изощренного слуха он проникал все дальше в окружавшую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелою тучей и, хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастием, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти не оставлявшие ребенка ни на минуту бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая могучая природа не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ноги его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножья утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекатывался весенний гром, заполняя собою пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная тишина, под которой чуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

II

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с бо́льшим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец по обыкновению захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темнело синее небо,

как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лазури, как хмурились лохматые стрехи стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку,— когда все отдельные звуки стушевывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было... вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то приятно тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решилась остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик...

— Уйди, пожалуйста, *оно* боится тебя, и до сих пор *его* нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных грезах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка

разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевным напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим,— подумала она.— Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид хлопе».

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нипочем была даже хитрая скрипка, и было время, когда в корчме по воскресеньям никто лучше не мог сыграть казака или веселого польского краковяка. Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий «струмент», казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещеном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки, и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой пыке [1] хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слыхали

[1] Пыка — по-малорусски ироническое название лица, физиономии.

более в корчме и на вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие, задушевные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничего не помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, а затем решился сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кустику ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были попрежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной, спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошел к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нем пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

— Ото ж воно самéсенькое,— пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскаленною проволокой, прожег шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянною затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом, почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грани, по которым он выжег с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее несколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крякнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была часть его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

V

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с паней или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот

вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное свое существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

— Цур тобі, пек тобі! — произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: — Чертове, чи боже? — желая узнать, не имеет ли он дела с нечистою силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни милостивую пани. Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суета и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучею ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ре-



бенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она между прочими приятными искусствами изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно выламывавшая пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомицах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

— Как хочешь, моя голубка,— ответил образцовый супруг.— Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой,

брал ее дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудреным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звуками гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в каком отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полною ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Наконец ровно через три недели из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную музыку. Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проволочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе

с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил ее под размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил и с любовью своей и с тоской обращался к род-

ной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, задумчивая, родная, старинная песня, которую он слышал еще над своею детскою колыбелью.

Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стукая по полу гостиной своими неуклюжими чеботьями.

VIII

Много слез стоила бедной матери эта неудача — слез и стыда. Ей, «милостивой пани» Попельской, слышавшей гром рукоплесканий избранной публики, сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же? — простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо, и она искренно ненавидела противного хлопа.

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глупом чириканьи», но мало-помалу — она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться,— глупое чириканье стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Спохватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да,— думала она про себя, побежденная и завоеванная, в свою очередь,— тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство... чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это было правда. Тайна этой поэзии состояла

в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей, и вечно говорящею человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая пани смиряется в ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористическою улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять приливала к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, хлоп, победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой, и вместе с тем в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце и слезы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно-преувеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только

досаду,— это странное соперничество с хохлом-дударем,— стало для нее источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью...

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; руки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотой и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные пьесы, а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот, по вечерам, между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затененного сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на хитрую музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови

и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался.

— Э! играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

— Ото ж як гарно... Бач, яка воно штука...

И затем с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что милостивая пани играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница-дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

X

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела за работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменою выражения на нервном лице ребенка.

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел побли-

же и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем с выражением полного внимания тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колыхаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого, вместе с напряженным вниманием, выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала веселая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землею, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее. С другой — к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

«Конечно,— рассуждал Максим,— музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там... вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих вальсов и ноктюрнов не шли музыкальные познания Макси-

ма), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

— Эй, Иохим,— сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму.— Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего теленка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

— Не скажите, пане,— заговорил он.— Такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украйне, не то что у подпаска... То все свистелки, а это... вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

— Тьфу, прости боже! Совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковы — и дудки, и бабы, с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь,— хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

— А что ж? — ответил Иохим на предложение пана.— Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? — уязвил он слегка собеседника.

— Ну не бреши по-пустому,— сказал Максим.— Песня хорошая — не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

— А это будет хлопская песня? — спросил мальчик.— Я понимаю по-хлопски.

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой сечи.

— Эх, малый! Это не хлопские песни... Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру, и по Дунаю, и на Черном море... Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь,— прибавил он задумчиво,— боюсь я другого...

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские кобзари и бандуристы были по большей части слепые. Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на исторической картине:

Ой, там на горі, тай женці жнуть.

Всякому, кто слышал эту прекрасную народную песню в надлежащем исполнении, наверное врезался в памяти ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подернутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках по синему морю и Дунаю. Это только

одна мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца как смутная греза, как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и народное предание, и смолкающая все более и более народная песня:

Ой, там на горі, тай женці жнуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки ідуть!..
Козаки ідуть!..

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

По переду Дорошенко
Веде свое військо, військо запорожське,
Хорошенько.

И протяжная нота песни о прошлом колышется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину...

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу, над рекой, раздается частый ровный топот конских копыт... Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это идут казаки.

Он знает также, что значит казак. Старика Хведька, который заходит по временам в усадьбу, все зовут старым казаком. Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старческие слезы. Таких же казаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях такие же, как Хведько, усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как Хведько, о чем-то плачут, быть может оттого, что и над горой, и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни — песни о «необачном [1] козачине», что променял молодую жёнку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

Глава третья

I

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно,

---

[1] Неосмотрительно́м *(укр.).—Ред.*

Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом, слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние ее на нравственный склад ребенка было по возможности ослаблено. Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу,— это все, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими нервными порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запомнил песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было

богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны, и вся она прошла перед воображением слепого, сплетенная из звуков. Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима (которому пришлось изучить для этого специальные приемы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его настроения новый элемент — определенность и ясность, уравновешивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудость получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полною жизнью, насколько это возможно для ребенка. Казалось также, что он не сознает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть все-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обстановки, их немало смущала также и слепота панича. Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом, и с плутовками-ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с боль-

шим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и немудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.

III

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился поссессор [1]. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то, что обоим супругам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве эконома по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почетной покоювки [2] у графини Потоцкой. Когда, наконец, счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни в чужих людях. Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами,

---

[1] В Юго-Западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному — поссессор) является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

[2] Горничной *(пол.)*.— *Ред.*

перевитыми плющом, у Яскульской, вместе с вербой и громницей [1], хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нем какою-то необычною в наши дни тихою жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитою во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса.— Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

---

[1] Громницей называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающему.

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите? — спросил он затем, слыша, что непрошеная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась.

— Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка.— А моя мама позволила мне ходить над рекой...

Мальчик, несколько избалованный всеобщею уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервною волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

— Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собою искренно негодующее замечание.

V

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слыхал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались

и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо; береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поравнялась.— Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланной беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она наконец с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

— Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

— Иохим выучил,— ответил Петрусь.

— Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

— Я... не сержусь на вас,— сказал мальчик тихо.

— Ну, так и я не сержусь... Давай играть вместе.

— Я не умею играть с вами,— ответил он потупившись.

— Не умеешь играть?.. Почему?

— Так.

— Нет, почему же?

— Так,— ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупою болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

— Какой ты смешной,— заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве.— Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груду цветов.

— Где вы взяли цветы? — спросил он.

— Там,— мотнула она головой, указывая назад.

— На лугу?

— Нет, там.

— Значит, в роще. А какие это цветы?

— Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

— Это лютик,— сказал он,— а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно, сквозь слезы.— Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство — смесь досады и унижения — наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток

может внушить не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай,— заговорила она тихо,— о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще бо́льшую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкою настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины.— Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

— Я не хотел напугать тебя,— ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь.— Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

— А все-таки ты очень странный,— сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный,— ответил мальчик с жалобною гримасой.— Нет, я не странный... Я... я — слепой!

— Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее

дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце.— Слепо-ой? — повторила она еще более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватою чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого; он сидел с опущенною головой, видимо удивленный этим выражением горячего сочувствия.

— Мне жалко...— все еще всхлипывая, вымолвила наконец девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

— Солнышко село,— произнесла она задумчиво.

— Я не знаю, какое оно,— был печальный ответ.— Я его только... чувствую...

— Не знаешь солнышка?

— Да.

— А... а свою маму... тоже не знаешь?

— Мать знаю. Я всегда издалека узнаю ее походку.

— Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

— Знаешь,— заговорил слепой с некоторым оживле-

нием,—я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

— Почему ты знаешь?

— Потому что... видишь ли... Я сам не знаю почему...

— А-а! — протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

— Я могу читать,— первый заговорил опять Петрусь,— и скоро выучусь писать пером.

— А как же ты?..— начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он ее понял.

— Я читаю в своей книжке,— пояснил он,— пальцами.

— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами... Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

— А я могу читать даже по-французски.

— По-французски!.. И пальцами... какой ты умный! — искренно восхитилась она.— Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

— А ты сама?

— Я не боюсь; что мне сделается.

— Ну, и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

— Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

— Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

— Нет, страшный! — убежденно повторила она.— Ты не знаешь, потому что не видал его.

— Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

— Бьет?

— Никогда не бьет и не кричит на меня... Никогда...

— Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

— Да ведь он и никого не бьет,— сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо заслышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

— Па-ны-чу-у-у!
— Тебя зовут,— сказала девочка, поднимаясь.
— Да. Но мне не хотелось бы идти.
— Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила свое обещание и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:
— Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.
— Какая еще девочка? — удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.
Действительно, вчерашняя знакомка Петруся в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.
— Что тебе, милая девочка, нужно? — спросила та, думая, что ее прислали по делу.
Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:
— Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?
— У меня, милая, да, у меня,— ответила пани Попельская, любуясь ее ясными глазами и свободой ее обращения.
— Вот, видите ли... Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?
Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.
— Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил,— сказал мальчик, здороваясь.— Только у меня теперь урок.
— Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя,— сказала Анна Михайловна,— я у него попрошу.
Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:
— Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил.

— Неужели, сударыня? — спросил Максим с комическою важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки.— Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

— Смотри-ка, Аннуся,— обратился он к сестре с странною улыбкой,— наш Петр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня... несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

— Что ты хочешь этим сказать, Макс? — спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

— Шучу! — ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла неожиданно бурную ласку все с тем же ясным, хотя и несколько удивленным взглядом.

VIII

С этого дня между поссессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле «отца папежа» [1]. Наконец, его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть Бог, а Вольтер и вольтерианцы кипят

[1] Римского папы *(пол.).— Ред.*

в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка — человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого поссессор пошел на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

— Вот что, Веля...— сказал он, взяв дочь за плечо и посматривая на ее будущего учителя.— Помни всегда, что на небе есть Бог, а в Риме святой его папеж. Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец,— это primo.

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно.

— Secundo, я — шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники и всегда смыслили коечто в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Ну, а в остальном, что касается orbis terrarum, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

— Не бойтесь, пан Валентин,— улыбаясь, ответил на эту речь Максим,— мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного

уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-претемная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

Глава четвертая

I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой,— натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немыслим будничный подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя...

Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается

жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, чего ему еще недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом...

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появлявшихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причи-

ной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источники этих, откуда-то пробивающихся, родников, чтоб... навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

— Мама, мама! — закричал он.— Я *видел* сон.

— Что же ты *видел,* мой мальчик? — спросила она с печальным сомнением в голосе.

— Я видел во сне, что... я вижу тебя и Максима, и еще... что я все вижу... Так хорошо, так хорошо, мамочка!

— Что же еще ты видел, мой мальчик?

— Я не помню.

— А меня помнишь?

— Нет,— сказал мальчик в раздумьи.— Я забыл все... А все-таки я видел, право же, видел...— добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза...

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

III

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции, Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился как вкопанный перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинными клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое

время мать, с пылающим, возбужденным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

— Аннуся! Что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

— Вот видишь ли,— заговорила она смущенно,— он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница... Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда...

— Ну, так что же?

— Ничего, я только хотела ему... немножко... объяснить эту разницу различием звуков... Не сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже...

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

— Послушай меня, Анна,— сказал он, оставшись наедине с сестрою.— Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

— Но ведь это он сам заговорил первый, право...— прервала Анна Михайловна.

— Все равно. Мальчику остается только свыкнуться со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если б удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие

всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

— Мы грустим,— тихо возразила молодая женщина.

— Аня!

— Мы грустим,— ответила она упрямо...— Мы часто грустим о невозможном...

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самою природою.

IV

«Глаза,— сказал кто-то,— зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего, цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании возможностей силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена — ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя — это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устра-

нили от него все, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода, силы.

Отсюда — какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни возможности световых представлений вставали, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального случая за нарушенный общий закон.

V

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это — не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но беспрерывно звучавшее в душе его грустное настроение усиливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему мало доступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и от-

ражается в народной песне, он улавливал с замечательною полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі могыла з вітром говорила», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и, когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающею тихою гармонией, размягчалась от теплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывавшийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно — белокурая девочка из поссессорской усадьбы...

И эта дружба крепла все больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей... свое горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для

нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любуясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо; только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул.

— Что это... было? — повернулся он к ней взволнованным лицом.

— Это звезда упала, дитя мое.

— Да, звезда,— прибавил он задумчиво.— Я так и знал.

— Откуда же ты мог знать, мой мальчик? — переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

— Нет, это он говорит правду,— вмешалась Эвелина.— Он многое знает... так...

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури. Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок — и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

Глава пятая

I

Так прошло еще несколько лет.

Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано — безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь поссессорской хатки. Таким образом, Петр, ставший уже юношей, вырос, как тепличный цветок, огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма, без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нем что-то такое, что так томительно дремлет в душе и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далеком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная, будто стеной, душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусственном, но спокойном.

И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот наконец наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученка был студент киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов

романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта неволя была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец в мужицкой мошне.

Зато если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескончаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеальных паничей»; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни отцов и детей; только здесь это явление сказывалось в значительно смягченной форме. Молодежь, с детства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна народолюбия, заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений народного духа в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в Юго-Западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

— Вот, послушай ты его,— говорил Ставрученко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающи-

ми глазами.— Вот, собачий сын, говорит, как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлацким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но, в свою очередь, не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

— Так и видно, что недаром в школе учились,— говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей.— А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет, как телят на веревочке, вот что!.. Ну, а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно что щенята перед старым псом.

III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды, и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

— Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? — обратился к своей соседке молодой Ставрученко.— Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

— Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но...

— Но... что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед уставился на нее спокойным, пытливым взглядом. Слепой переменил свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

— Но,— проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку,— у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

— Господи! — резко воскликнул студент,— какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

— Семнадцать,— ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: — а ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

— Если бы меня спросили мнение насчет вашего возраста,— сказал ее сосед,— я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

— В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно,— произнесла маленькая женщина докторальным тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было свершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое созданьице

казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелою косой, как будто оттягивавшей назад ее голову при походке.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

— Итак,— насмешливо заговорил студент после некоторого молчания,— панна Эвелина полагает, что все, о чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины — узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось самодовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

— Вы слишком торопитесь со своими заключениями,— сказала она.— Я понимаю все, о чем здесь говорилось,— значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший допрос.

— Странно,— пробормотал он.— Можно подумать,

что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

— Что же тут странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила девушка.— Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

— Это правда,— сказал кадет, довольный этим вызовом.— Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

— Ну, вот видите,— сказала она через минуту с какою-то холодною резкостью в голосе,— у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которою чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна...

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

V

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений — все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Один Максим будто не замечал, какое действие производит

шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей наведываться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шепотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадною рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая беспокойная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной... На нем была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже заме-

чает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? Что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда... Спокойно, тихо, невозмутимо...» Эвелина не высказывала, по-видимому, всего, что было у нее на душе, но с некоторых пор она переменилась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда совсем незначительных его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме — он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого...

— Наседка! — говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями... Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодою девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодною сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый — ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тени, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила призыва...

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало... Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не сознавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому...

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый; вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. «Он понимает... все»,— мелькнула у нее мысль, быстрая, как молния, и девушка

почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь один, с опущенною головой, или нет... Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер...

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможна еще борьба и выбор, что она в себе не уверена... Но нет — он ошибается! Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще...

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он еще что-нибудь... Она посмотрела туда, где за минуту сидел Петр...

Его не было на прежнем месте.

VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

— Извините, господа,— сказала она, обращаясь к гостям.— Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услыхала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

— Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем,— говорил старик сурово.— Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

— А что же, Макс, если... если она... Что же будет тогда с моим мальчиком?

— Будь что будет! — твердо и угрюмо ответил старый солдат.— Тогда посмотрим; во всяком случае на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни... Да и на нашей совести тоже... Подумай об этом, Аня,— добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову.

— Мой бедный мальчик, бедный... Лучше бы ему никогда не встречаться с нею...

Девушка скорее угадала эти слова, чем расслышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи... Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли...

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К тому же этот старик берет на себя слишком много. Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно вызывающим видом, пронесла с собою счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом.

Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

— Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы слышалась песня:

З за крутоі горы
Выліталы орлы,
Выліталы, гуркоталы,
Роскоши шукалы...

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастьи, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада...

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой *ему* не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя...

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию.

— Что с тобой? — повторила она свой вопрос.

— Ничего особенного,— ответил он с горечью.— Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую думу, подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев...

Петр невольно остановился, прислушиваясь.

— Знаешь,— заговорил он грустно,— мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и се-

лам... Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот — ты слышала? — говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

— Это ты наслушался речей молодого Ставрученка,— сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

— Да,— задумчиво ответил Петр и прибавил: — у него очень приятный голос. Красив он?

— Да, он хороший,— задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: — Нет, он мне вовсе не нравится! Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

— И все это глупости! Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима.

— Что ты это, Веля? — спросил удивленно слепой.— Что подстраивает?

— Ненавижу, ненавижу Максима! — упрямо повторяла девушка.— Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца... Не говори, не говори мне о них... И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь...

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

— Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом:

— Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то,

что он говорил сейчас,— хорошо. Но ведь это же не для всех.

— Для всех, кто может,— сказал слепой.

— Какие пустяки! — ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы.— Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну, и мы...

— Не говори: *мы!* Ты — совсем другое дело...

— Нет, не другое.

— Почему?

— Потому что... Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении.

— Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня... замуж?

— Ну да, ну да, конечно! — ответила она с торопливым волнением.— Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

— Конечно,— согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился.— Послушай, Веля,— заговорил он, взяв ее за руку.— Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога... А я...

— Что же ты?

— А я... слепой! — закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове «слепой»... Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу действительно пробежала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо:

— Так что же, что слепой? — сказала она.— Но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого... Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

— Полюбит...— сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись,— он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова...— Полюбит? — переспросил он с возрастающим волнением...

— Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга... Какой

ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...

— Я бы умер,— сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

— И я тоже... Без тебя, одна... в далеком свете...

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так не похоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой нежности, он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернемся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели

молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и как всегда благодушный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда. В темном четырехугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась, и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепиано.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепиано, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый еще раз, Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту... Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе

молодых людей в гостиной стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою...

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми легкими аккордами. Казалось, он о чем-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку... На лице виднелось удивление, вопрос, и еще какое-то особенное возбуждение проходило по нем быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам...

X

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это — очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным

составным частям этой работы. Заучив на память по нескольку аккордов для каждой руки, он садился за фортепиано, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже завлекала.

Тем не менее между изображенною на бумаге пьесой и ее исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успело отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненною душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста.

Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду... Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел, свесив голову, и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивал Максима локтем и шептал:

— Вот этот играет, так уж играет. Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть, свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без

всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

— Хотят стариков в архив... Брешут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже... Да и теперь еще... Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался в его систему совсем не так, как он думал... Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это — счастье или горе звучит в игре ее сына... Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он за минуту перед тем молча и опустив голову прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепли. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то... Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще

долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепли и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидала на нем выражение, которое показалось ей знакомым: в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрученко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

— Да, это верно! — подтвердил старший брат.— Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

— Я так и думал,— ответил молодой человек.— Мне она несколько знакома... У вас удивительно своеобразная манера... Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто. Это... как будто перевод

с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьезная школа, и тогда...

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чье-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

— Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами...

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

Глава шестая

I

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не прикрытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушива-

ясь к тихому щебетанию какой-то пташки в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

«Что это было со мной?» — подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо... один удар — и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленною душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее нового голоса, который восстановило в его памяти воображение. «Полюбила»... «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда еще он не чувствовал света так ясно. Казалось, вместе с душистою сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи веселого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама, Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороною грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, повидимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно, принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем,

шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось бабье лето, Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужьи, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которую охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки

бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров... Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частолоком, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди — и Петр в том числе — отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли...— сказал, подъезжая к коляске, студент.— Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодне, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься! — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронеслись мимо него и спе́шились впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленною яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки встречавшей ее молодежи. Около него

лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода... Где-то недалеко, вероятно над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг журавля над колодцем — во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада... Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным признакам, Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может, над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределенными, трудно уловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане...

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон эоловой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков... Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю, каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшею могилой.

— Мы только недавно узнали о существовании этого памятника,— сказал молодой Ставрученко,— а между

тем знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то «лыцарь», старый ватажко Игнат Карый...

— Так вот ты где успокоился, старый разбойник? — сказал Максим задумчиво.— Как он попал сюда, в Колодню?

— В 17** году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками... Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками... Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

— В этой истории,— продолжал молодой человек задумчиво,— есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист... слепой, сопровождавший атамана в походах...

— Слепой? В походах? — испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец... так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: «А с ним славетный поэта казацкий Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекла нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талент до складу песенного и до гры струннои, од якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападе. И ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки аминь...»

— Плита довольно широкая,— сказал кто-то.— Может быть, они лежат здесь оба...

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишаев.

— Постойте,— сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

— «...Игнатий прозванием Карий... року божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...»

— Это и мы могли еще разобрать,— сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

— «Которого убивши...»

— «Сила поганьская...» — живо подхватил студент,— эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же под одной плитой.

— Да, «сила поганьская»,— прочитал Петр,— дальше все исчезло... Постойте, вот еще: «порубан шаблями татарскими»... кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла господняя,— сказал он, глядя на Петра с благоговением.— Сыла божая открывае слипенькому, чего зрячии не бачуть очима.

— Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю.— Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала

фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы, за спиной и верхом на лошади...

— И, может быть, он участвовал в битвах... В походах, во всяком случае и в опасностях также...— продолжал молодой человек задумчиво.— Какие бывали времена на нашей Украине!

— Как это ужасно,— вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо,— возразил молодой человек...

— Теперь ничего подобного не бывает,— резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение...— Теперь все это уже исчезло,— повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло,— сказал Максим как-то холодно.— Они жили по-своему, вы ищите своего...

— Вам хорошо говорить,— ответил студент,— вы взяли свое у жизни...

— Ну, и жизнь взяла у меня мое,— усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

— Вздыхал и я когда-то о сечи, об ее бурной поэзии и воле... Был даже у Садыка в Турции [1].

— И что же? — спросили молодые люди живо.

— Вылечился, когда увидел ваше вольное казачество на службе у турецкого деспотизма... Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях... Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме

---

[1] Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции...

того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали — может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа,— могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого,— а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана...

— Что же остается нам? — спросил студент после минутного молчания.

— Та же вечная борьба.

— Где? В каких формах?

— Ищите,— ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим очевидно был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

III

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила вы-



ражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

— Слепой,— прошептала девушка с легким испугом.

— Тише,— ответила мать,— и еще... Ты замечаешь?

— Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее — но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь,— Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет? Кышь, проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность: — Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите осторожно — темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы,— могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

— Дядько, дядюшка, пустить,— раздались из-за двери тонкие голоса детей.— Пустить, дядюшка, хороший!

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом убило! — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

— Слепой черт,— ответили вдруг несколько звонких

голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

— Погибели на вас нет... на проклятых... чтоб вас всех передушила хвороба... Ох, господи! Господи ты, боже мой! Вскую мя оставил еси...— сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние исстрадавшегося и глубоко измученного человека.

— Кто здесь?.. Зачем остался? — резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

— Идите, идите. Ничего,— прибавил он мягче.— Постойте, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? — опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки и, под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

— Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка настоящая... Я думал — вы на смех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывают, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

— А вот и сентенция,— заметил студент и прочитал с некоторым трудом: «Мнози суть начинающии, кончающии же вмале...» Очевидно, дело идет об этом восхождении,— прибавил он шутливо.

— Понимай как хочешь,— грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро

и тревожно.— Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

— Где стих? Нет никакого стиха.

— Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

— Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть, более столетия уже умершим человеком:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнию разлуку,
Помни вечную муку...

— Тоже сентенция,— попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не нравится,— ехидно сказал звонарь.— Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... кто знает. Смертный час приходит, яко тать в нощи... Хороший стих,— прибавил он опять как-то по-другому...— «Помни смертный час, помни трубный глас...» Да, что-то вот там будет,— закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба заслышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

— Звонят,— сказал Петр.

— Это у Егорья за пятнадцать верст,— пояснил звонарь.— У них всегда на полчаса раньше нашего вечерня... А ты слышишь? Я тоже слышу — другие не слышат...

— Хорошо тут,— продолжал он мечтательно.— Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

— Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

— Славные подголоски... Так тебе и поют, так и поют... Особливо под пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук наверное не распространялся дальше площадки колокольни.

— А тут тебе вот этот — бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо светилось детскою радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

— Колокола-то вот выписал,— сказал он со вздохом,— а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольне... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

— Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

— Пойдем.— Первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно завороженная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

— Идите,— сказал он ей повелительно.— Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

— Кто здесь? — спросил затем звонарь.

— Я...

— Ты тоже слепой?

— Слепой. А ты давно ослеп? — спросил Петр.

— Родился таким,— ответил звонарь.— Вот другой есть у нас, Роман — тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

— Могу.

— И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

— Почему легче? — живо спросил Петр.

— Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит... Только она старая теперь, а снится ему все молодая... А тебе снится ли?

— Нет,— глухо ответил Петр.

— То-то, нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания...

— И то согрешаешь не однажды... Господи, создателю, божья матерь, пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидать...

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

— Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь — не помнишь...

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

— Чертенят впустили,— сказал он со злостию в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

— Брат! — окликнул он приятным, грудным голосом.— Егорий, опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

— Зачем бисенят впустив? — спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

— Нехай соби,— благодушно ответил Роман.— Пташки божии. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бисенята?..

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до

половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли...

IV

Попельские прожили еще несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра — каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но все же в нем была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался, и на лице его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и... сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепиано, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне... И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным ру-

мянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу... А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей... То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв.

— Послушай, Аня,— спросил Максим у сестры по возвращении домой.— Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

— Ах, это все из-за встречи со слепым,— ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов. У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих. «Ах да́, да, конечно»,— ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умилостивит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой ее ребенка.

— С каким слепым? — переспросил Максим с удивлением.

— Да с этим... на колокольне...

Максим сердито стукнул костылем.

— Какое проклятье — быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

— Там,— тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка,— есть слепой звонарь... И он...

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слезы.

— И он очень похож на Петра.

— И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня,— прибавил он с мягким укором.

— Ах, это так ужасно,— ответила Анна Михайловна тихо.

— Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна

вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

— Ты сказала не все? — спросил Максим после минутного молчания.

— Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым... И я... тоже осталась.

— Подслушивать? — сказал старый педагог почти машинально.

— Я не могла... уйти...— ответила Эвелина тихо.— Они разговаривали друг с другом, как...

— Как товарищи по несчастью?

— Да, как слепые... Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: «Не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодою, хотя она уже старая...

— Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на старика свои синие глаза, в которых теперь виднелась борьба и страдание, сказала:

— Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое... Он родился зрячим... А другой... Он очень страдает,— вдруг свернула она.

— Говори, пожалуйста, прямо,— нетерпеливо перебил Максим,— другой озлоблен?

— Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят...

— Зол и похож на Петра... понимаю,— задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

— Лицом оба не похожи... черты другие. Но в выражении... Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой... и еще... Я боюсь, я думаю...

— Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка,— сказал Максим с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал: — Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

— Я думаю, что... он считает теперь, что... все слепорожденные злые... И он уверил себя, что он тоже... непременно.

— Да, вот что...— проговорил Максим, вдруг отнимая руку...— Дай мне мою трубку, голубушка... Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма.

— Гм... да... плохо,— ворчал он про себя.— Я ошибся... Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай... А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь... Все где-нибудь выставится...

Он совсем потонул в сизых облаках... В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения.

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями... В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега...

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной холодности всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки... По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это

мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой — тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей...

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к благодетельнице, старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось.

Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставали все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это другое расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания.

Встреча с слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания...

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернутся. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то странно встревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще... светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надви-

гается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожною вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую ее члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

— Ты, мама? — спросил он.

— Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

— Я опять видел сон... Я теперь часто вижу сны, но... ничего не помню...

VI

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительною нервностью и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятель-

ной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода мертвая точка, и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» — он прибавлял: «зачем жить именно слепому?» Наконец в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из поссессорского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

— Ты думаешь, я люблю тебя? — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

— Я в этом уверена,— ответила девушка.

— Ну, а я не знаю,— угрюмо возразил слепой.— Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

— Зачем ты мучишь меня? — вырвалась у нее тихая жалоба.

— Мучу? — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма.— Ну да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу... Мы все такие, рожденные слепыми. Оставь меня... бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви... Я хочу видеть — понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен... Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни...

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться

в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряженной чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

— Вот он спрашивает,— сказала Эвелина Максиму,— что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

— В чем дело? — спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

— Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета, и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.

— Пустяки и ребячество,— ответил Максим резко.— И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

— Но что же значит это выражение?.. Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

— Это простое сравнение,— сказал он.— Так как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

— Какие же тут разумеются свойства? — продолжал упрямо допрашивать слепой.— Красный звон... какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное не знал

физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

— Погоди,— сказал он.— Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе как следует... Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение...

— Да, да, погоди,— сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своею умелой рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем, это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

— Да,— сказал Максим,— это очень похоже, и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли... когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упадающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз,— по крайней мере, на мой глаз.

— Это верно, верно! — живо сказала Эвелина.— Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть...

— Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует также малиновый звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

— Нет,— сказал Максим.— Я бы сказал, что это слишком красно...

— А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

— Вот-вот! — сказал Максим.— Ты понял разницу. Когда-то — ты был еще ребенком — мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

— Да, я помню... Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять.

— Нет,— задумчиво ответил старик,— ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже, как однородные. Мы говорим: он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще, звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» — подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

— Да, да! Странные мысли приходят мне в голову... Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли... когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти — это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну, и она у нас красная...

— Красная... горячая...— сказал юноша вдумчиво...

— Именно — красная и горячая. И вот, красный цвет, как и красные звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую так и называют горячею, кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны горячими.

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

— Если ты взмахнешь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении... Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба; оно ровно, бесконечно и сине... Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча...

— Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу...

— Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине... Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

— Как небо...— сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

— Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровьи, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем... Понял ли ты?

— Н-нет... не ясно... но все же, пожалуйста, говори дальше.

— Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливается и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь — цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы

во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя... Но ведь ты опять не понимаешь?..

— Все равно, продолжай!

— Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю... Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в возможности и все будущее растение, с его будущею роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи... Не только страсть, но и самая жизнь замирают тихо, незаметно... Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны... И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она становится ровна, одноцветна и бела... Белый цвет — цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недосягаемом холоде поднебесных высот,— цвет величавых и бесплодных горных вершин... Это — эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета...

— Знаю,— перебил слепой.— Это — нет звуков, нет движений... ночь...

— Да, и потому это — эмблема печали и смерти...

Петр вздрогнул и сказал глухо:

— Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно... всегда и всюду черно!

— Неправда,— резко ответил Максим,— для тебя существуют звуки, тепло, движение... ты окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем...

— Да! — воскликнул Петр страстно.— Я ношусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

— Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством,— тогда...

— Неправда, неправда! — гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения.— Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это

большая ошибка... Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там — пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если б это не удалось, я страдал бы от голода и холода... и все это не оставляло бы мне ни минуты и... и... от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь...

— Ты думаешь? — спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

— Уверен,— ответил Петр упрямо и жестко.— Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку...

— Ему холодно,— подсказал Максим.

— Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой... Потому что тут было бы холодно и не слепому... А я не забываю, и мне...

— И тебе не за что проклинать!..

— Да! Мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего...

— Не стану спорить,— холодно сказал старик.— Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое... В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шири и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось — что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой

это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, «у которых глаза как небо»; тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке, была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полною точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первою зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали брички панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также недугующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны каплицы народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаянием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосной толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук экипажей — весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно беспрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

— Под-дайте слипенькимъ... ра-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихою дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно

какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

— Что же ты испугался? — спросил Максим.— Это те самые счастливцы, которым ты недавно завидовал,— слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

— Уйдем! — сказал Петр, хватая его за руку.

— А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердишься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми! я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? — крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

— Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

— Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

— Приду, паночку.— И голос слепца опять примкнул к хору.

— Вот, ты увидишь человека,— сказал, сверкая глазами, Максим,— который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю... А ты...

— Пойдем, паничку,— сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

— Нет, постой! — гневно крикнул Максим.— Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака.

Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели... С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволновано.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади среди слепых поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег...

IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

— Задерни занавеску... Я так боюсь этого света...

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание,

но неожиданно раздавшийся в первый раз голос больного остановил ее:

— Нет, ничего. Пожалуйста... оставьте так...

Обе женщины радостно склонились над ним.

— Ты слышишь?.. Я здесь!..— сказала мать.

— Да! — ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить.— Ах да!..— заговорил он тихо и вдруг попытался подняться.— Тот... Федор приходил уже? — спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

— Тише, тише! Не говори; тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл ее поцелуями. На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше. Но однажды Петр сам попросил позвать его и оставить их вдвоем.

Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

— Ну-ну, мой мальчик,— сказал он.— Я, кажется, должен просить у тебя прощения...

— Я понимаю,— тихо сказал Петр, отвечая на пожатие.— Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

— К черту уроки! — ответил Максим с гримасой нетерпения.— Слишком долго оставаться педагогом — это ужасно оглупляет. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя...

— Значит, ты действительно хотел, чтобы?..

— Хотел, хотел!... Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится... Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим...

Оба замолчали...

— Эта песня,— через минуту сказал Петр,— я помнил ее даже во время бреда... А кто этот Федор, которого ты звал?

— Федор Кандыба, мой старый знакомый.

— Он тоже... родился слепым?

— Хуже: ему выжгло глаза на войне.

— И он ходит по свету и поет эту песню?

— Да, и кормит ею целый выводок сирот племян-

ников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку...

— Да? — задумчиво переспросил Петр.—Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы...

— Что ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо взволнованные разговором, который оборвался с ее приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица — в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть.

Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряженность ослаблена болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Петр стал по обыкновению фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот внезапно среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась... Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжкой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала побеги, как захиревшее деревцо, на которое весна пахну́ла живительным дыханием... Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

X

Теплою июльскою ночью бричка, запряженная парою лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте сли-пеньким...— К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба

сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасет,—сказал он по направлению к бричке, в сиденьи которой виднелась квадратная фигура седого господина и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

— У тебя, Юрий, легкая рука,— сказал старик.— И играешь славно...

Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идешь в Почаев?.. Для бога?

— Да,— тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?..— спросил тот опять с горькой улыбкой...

— Бывает,— мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал,— угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались всё дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширялись, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок

и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело — теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному... Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднею осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у почаевской богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

Глава седьмая

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как

будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также, среди этих забот, в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его рябого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепли.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли — слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но кто знает — быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так, во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

— Он, наверное, слеп,— твердил он.— Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

— Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребенок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно — оставалось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот прежний исчез, окруженный внезапно опустившеюся на него тайной.

И он был с этою тайной наедине несколько кратких мгновений... Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню,— теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и зведные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом — солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это роилось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим,

и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе,— аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно... казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму...

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание... Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета... Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

— Что это с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она.— Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет,— ответил он с усилием.— Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем...

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве, во время Контрактов [1], слушать оригинального музыканта. Он

[1] Напомним, что Контрактами называют киевскую ярмарку.

был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактовая зала была набита битком, и сбор (имевший не известное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

— Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление,— говорил в толпе какой-то зоил своему соседу.— У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная контрактовая толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струею, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда — он прозрел»,— думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик,— мысленно ободрял Максим,— настигай их среди веселья и счастья...»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

— Подайте слипеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной

и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой...

. . . .

Так дебютировал слепой музыкант.

1886 — 1898

НОЧЬЮ

Очерк

I

Было около полуночи. В комнате слышалось глубокое дыхание спящих детей.

В углу комнаты, на полу, стоял медный таз. На дне его было немного воды и стояла сальная свеча в подсвечнике. Свеча сильно нагорела, фитиль покрылся темною шапкой и тихо потрескивал. Кроме того, на стене стучал маятник, а на полу, в освещенном кружке около таза, разместились несколько тараканов. Сдавшись на задние лапки и подняв голову кверху, они смотрели на огонь и шевелили усами.

На дворе бушевала непогода.

Дождь стучал по крыше, трепал листья в саду, плескался на дворе в лужах. По временам он стихал и уносился вдаль, в темную глубину ночи, но после этого прилетал к дому с новой силой, бушевал еще больше,

сильнее обливал крышу, хлестал по ставням, и порой казалось даже, что он струится и плещет уже в самой комнате... Тогда в ней водворялось какое-то беспокойство: маятник как будто смолкал, свеча готовилась погаснуть, с потолка сползали тени, тараканы тревожно водили усами и, видимо, собирались бежать.

Но бурные порывы непогоды продолжались недолго. Казалось, дождь решил про себя никогда уже не прекращаться, и когда ветер оставлял его в покое, он принимался гудеть широко и ровно — и на дворе, и в саду, и в переулке, и в пустыре по полям... Гул этот, просачиваясь сквозь запертые ставни, стоял в комнате то ровным жужжанием, то тихими всплесками.

Тогда маятник принимался опять отчеканивать свои удары с резким упрямством, свеча тихо кряхтела, тараканы успокаивались, хотя, по-видимому, упрямство дождя наводило на них грустное раздумье.

Все это слышал и глядел на все это из-под своего одеяла один из двух братьев-погодков, которые спали в освещенной комнате. Старшего звали Васей, младшего — Марком. В семействе был обычай давать шутливые прозвища. У Васи была очень большая голова, которою он в раннем детстве постоянно стукался об пол, поэтому его прозвали Голованом. Марк был некрасив и смотрел несколько исподлобья, отчего получил название Мордика.

Мордик сладко спал, а Голован уже с полминуты прислушивался к шуму дождя.

Он был большой фантазер и часто думал о том, что происходит на свете, когда все спят: и он, и Марк, и девочки, и старая нянька,— и, значит, некому смотреть... Неужели комната остается все такая же, и маятник продолжает стучать, хотя его никто не слушает, и свеча продолжает светить, хотя светить некому, и тараканы только бессмысленно сидят на полу, уставившись на огонь?.. Не раз уже просыпаясь с этою мыслью, он осторожно выглядывал из-под одеяла... На этот раз он сам не заметил, когда проснулся, и ему показалось, что наконец-то он застигнет комнату врасплох. Вот уже с полминуты он смотрит на нее, не шевелясь, полуприщуренным глазом, а в ней все продолжается какая-то особенная, таинственная жизнь, которая прячется обыкновенно, когда на нее смотрят.

Все в ней живо, удивительно, необычно и страшно... Дождь мечется и злится снаружи, отбиваясь от ветра,

маятник спорит с шумом дождя, свеча уныло кряхтит, тараканы хранят разумный вид, как будто сейчас только разговаривали между собой и решили единогласно, что положение свечи действительно жалкое, а дождь буянит совершенно напрасно. Кроме того, Вася сознавал, что все они вместе — вся комната со всеми предметами — смотрят недоброжелательно на детей, которые спят, ничего не подозревая, в своих постелях.

Однако было и еще что-то самое странное, что Голован никак не мог уловить. Когда же он раскрыл совсем глаза и шевельнулся — все сразу исчезло.

Маятник застучал тише и без особенного выражения, свеча просто трещала, а не кряхтела, комната спохватилась и приняла обычный, будничный вид.

А между тем он все же чувствовал, что что-то такое странно... в нем самом, или в комнате, или, может, от этого шума. Нет, это простой дождь — шумит вовсе не громко, точно бормочет кто-то вяло и неразборчиво. Что-то струится и каплет, точно кто плачет под стеной, и чьи-то вздохи проносятся по деревьям сада... А в саду теперь темно меж деревьев, и в беседку ни один человек не решился бы пойти в полночь, да еще в дождь. Марк хвастался раз, что пошел бы, если б ему позволили... Но и то, конечно, не в такую ненастную, бурную ночь...

По спине у Васи пробежали мурашки, он припал к подушке и завернулся с головой в одеяло.

Тогда ему показалось, что где-то в стене, или за стеной, или под полом происходит странное движение и говор. Слышались чьи-то голоса и шум чьих-то шагов.

Что это такое? Он высунул голову, чтобы яснее слышать, но тогда звуки опять исчезли. Ему казалось, что он должен бы знать, что это такое, и тогда он понял бы и то, отчего ему кажется странно. Но он забыл и не может вспомнить, потому что во сне ему снилось совсем другое.

Тогда им стала овладевать тревога.

— А знаешь, Маркуша, что я скажу тебе? — сказал он вкрадчиво, обращаясь к спящему брату.

Но Марк ответил только продолжительным храпом.

II

В детской существовали некоторые традиции. Каждую ночь около часу оба мальчика просыпались и сходились у таза со свечой. Это было нечто вроде ночного

клуба, который иногда посещался и девочками. Последнее случалось нечасто: для этого девочкам недостаточно было проснуться вовремя — нужно было еще обмануть бдительность старой няньки, спавшей с ними в соседней темной комнате. Если это удавалось, то старшая, иногда при помощи братьев, вынимала из постельки самую младшую, Шурочку, и обе они, жмурясь и протирая глаза, появлялись в дверях и бежали на огонь свечи. Тогда тараканы совсем удалялись от таза и только издали сердито уставлялись своими усищами на детвору, которая, как и они, выползала из углов и отвоевывала у них место.

Тогда начинались долгие и очень занимательные разговоры. Никогда детям не говорилось так дружно и хорошо: казалось, тихий ночной час придавал беседе особую прелесть мечты и фантастической неопределенности, а общая забота о том, чтобы не разбудить няньку, сплачивала мальчиков и девочек в тесный кружок ночных заговорщиков.

Впрочем, девочки говорили очень мало: они прихватывали с собой одеяла, простыни, платья и напяливали все это на себя как попало. Старшая помогала младшей, а та беспрекословно повиновалась. Чем эта костюмировка бывала нелепее, чем больше доставляла наслаждения. В особенности, если удавалось прихватить няньккины башмаки и ее красный, с большими цветами, головной платок, тогда обе девочки замирали в молчаливом самосозерцании. Протянув ножонки в огромных башмаках, не шевеля головой в фантастическом уборе, Шура сидела солидно и молча, а старшая, Маша, делала какие-то гримасы. Она воображала себя большою дамой, а мальчики в одних рубашонках казались ей кавалерами во фраках.

Старая нянька много воевала с этою привычкой, но окончательно победить ее не могла. Путем многих столкновений между обеими сторонами установилось нечто вроде компромисса. Никто не имел права будить других. Но, проснувшись самостоятельно, мальчики могли сходиться у таза, лишь бы вести себя тихо. С девочками история была сложнее. Заслышав малейший шорох в их кроватках, нянька, как-то даже не давая себе труда окончательно проснуться, схватывала беглянку и укладывала обратно. Тогда дело считалось проигранным и вторичная попытка — нечестной. Пойманная вскоре засыпала.

Но если беглянке удавалось уже сойти на пол и добежать до порога, тогда няньке приходилось махнуть рукой. Когда она пускалась в погоню, подымался страшный рев, мальчики вскакивали и бежали на защиту, крича, что Маня уже вошла в их комнату, что нянька почему-то «не имеет права» и т. д. Происходил страшный кавардак, и обе воюющие стороны подвергались опасности высшего вмешательства. Беда, если шум достигал до слуха отца. Но если даже одна мать замечала возню в детской, она на следующее утро призывала детей и няньку.

— Что у вас там было опять? — спрашивала она с выражением неудовольствия, которое огорчало всех даже больше отцовского гнева.—Никогда больше не смейте собираться у свечки! — говорила она детям и тотчас же, обратясь к няньке, прибавляла: — И вечно ты... старая.

Эти последние слова почему-то совершенно уничтожали в глазах детей смысл первого запрещения.

— Ну что, взяла, с-с-старая?! — тихо, но с чрезвычайною язвительностью дразнили они ее, возвращаясь гурьбой в детскую. Нянька сердито возражала:

— Вечно мне за вас достанется, за баловников.

— А ты зачем поймала ее в нашей комнате?

— Неправда, я ее схватила в темной, а она вырвалась.

— Ах, неправда! Вот уже неправда! — горячо протестовала Маша.— Вовсе я была уже за порогом.

Няньке приходилось сдаться, тем более что спросонок она, по совести, не могла утверждать точно, где именно схватила беглянку. Вообще разбирательство возвращало весь вопрос на почву компромисса, который опять укреплялся и который дети исполняли вообще довольно честно.

III

Теперь Вася хитрил: он показывал вид, что не будит Марка, а считает его проснувшимся.

— Знаешь, что я скажу тебе?

Но ответом был лишь вздох и сонное бормотанье. Старуха тоже бормотала в соседней комнате. Дождь все лил, хотя немного тише. Теперь яснее слышались струйки, падавшие с крыши и с водосточных труб.

Глаза Голована стали невольно обращаться к темной комнате. Он всегда удивлялся, как это девочки не боятся спать в темноте, в которой ему всегда чудились странные фигуры. Некоторые из этих фигур были ему давно знакомы и теперь начинали уже роиться, хотя еще не были видны. Казалось, пока только еще шевелится сама темнота, переполненная начинающими определяться призраками.

Тихое всхрапывание няньки вспугивало их, они вздрагивали, смешивались и исчезали, но тотчас же возникали опять, каждый раз с большею настойчивостью.

Это было очень мучительно, и Головану становилось даже легче, когда наконец они появлялись яснее...

Прежде других появился, как и всегда, высокий щеголеватый господин, весь в зеленом, с ослепительно белыми воротничками и манжетами. Лица у него не было, и это-то казалось особенно страшно. Кроме того, он не имел выпуклостей, а как-то странно отграничивался от темноты, как будто темная пустота просто окрасилась в зеленый цвет. Иногда же Васе казалось, что господин вырезан из зеленого и белого картона, что не мешало ему прохаживаться очень чопорно и с большою важностью «фигурять», как выражались дети, которым Вася днем передразнивал его походку.

В первые мгновения зеленый господин появлялся в глубине комнаты, чуть видный. Он проходил по круговой линии, точно его кто передвигал на пружине, скрывался в левом углу и мгновенно опять появлялся у правой стороны, чтоб опять пройти по кругу, но уже ближе и яснее. Тогда-то Вася начинал его бояться. Сначала он старался не видеть зеленого господина, потом с язвительною иронией уверял себя, что господин вырезан из картона. Но когда он подходил каждый раз все ближе, Васе становилось все страшнее: а что, если у него окажется лицо и он взглянет прямо? Тогда уже придется окончательно отказаться от предположений о картоне...

Вместе с тем около зеленого господина начинало шевелиться еще что-то маленькое и беспокойное. Оно уже вовсе не имело никакой формы и казалось просто комком темноты, которая копошилась и производила разные движения, смешные на вид, но, в сущности, страшные. Вася подозревал тут враждебную хитрость: сначала кажется смешным, чтобы привлечь внимание, а потом вдруг и у *этого* окажется лицо — что тогда?

Окликнув еще раз Мордика и опять не получив ответа, Голован решил, что если он будет все лежать и смотреть в темноту, то ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно было отряхнуться от душевного застоя, из которого возникал кошмар, поэтому он встал и подошел к свечке. Тараканы, торопливо семеня ножками, перебежали на другую сторону таза.

Это заняло Голована на время, потом он стал прислушиваться к шуму дождя.

Дождь заметно потерял силу. Шепот его то стихал, то опять повышался, точно сонное дыхание. Зато подымался ветер, пробегал по вершинам деревьев, и тогда слышался резкий шелест. Вася представлял, как деревья клонятся среди ночной темноты и лепечут листвой; но потом он говорил себе, что это вовсе не деревья и не ветер, а гигантский лист бумаги кто-то ворочает на дворе, отчего и слышен шелест. Ему очень нравилось, что тотчас же выходило именно так, и даже самый звук менялся, и вместо шороха влажной листвы слышалось сухое шуршание бумаги. Потом он опять менял предположение: это среди ночи кто-то сыплет зерно из громадного мешка в гигантскую бочку. И тоже выходило. Когда ветер стихал, Голован говорил себе: «Пошел за новым мешком, сейчас принесет». И действительно, тотчас же опять слышалось ясно, как зерно сыплется, шуршит, падает на дно и бьется о стенки.

Хотя от этих произвольно изменяемых предположений ощущение, что есть что-то странное в доме, не прошло, но зато Головану удалось забыть о зеленом господине. Весь его кругозор теперь ограничивался освещенною частью пола, тазом, свечкой и тараканами, дремавшими напротив. Это однообразие наводило и на него дремоту. От пламени свечки потянулись лучами к его глазу золотые нити; свеча стала расплываться.

IV

Но в эту минуту он вдруг почувствовал, что теперь он не один в комнате. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что Марк стоит на своей кровати, опершись о стенку, и смотрит перед собой таким взглядом, точно он не совсем еще проснулся. Но когда Вася радостно обратился к нему, он тотчас вспомнил, что днем они поссорились

из-за колоды карт. Поэтому он быстро лег в кровать и уткнулся в подушку. Васю это огорчило.

— Ты разве не пойдешь к свечке? — спросил он упавшим голосом.

— Не пойду! — решительно ответил Марк.

— Отчего?

— Ага, отчего? А карты помнишь?..

— Ну, выходи, завтра отдам.

— Врешь?

— Право, отдам. И еще дам трубу, играть до обеда.

— Ей-богу?

— Ну, ей-богу.

— Скажи три раза.

— Оставь.

— Нет, скажи три раза, а то сейчас засну.

В душе Васи подымалась глухая досада: разве мало одной клятвы? Но Марк был задира и иногда любил поломаться, а теперь вдобавок вымещал вчерашнюю досаду, сознавая, что Голован в его руках и исполнит его бесцельное требование. Действительно, покраснѐв от стыда, Вася скороговоркой произнес трижды: «Ей-богу, дам карты».

Тогда Мордик вылез из кровати и подошел к свечке, к большой радости брата.

Обыкновенно Вася просыпался первым, и промежуток одиночества казался ему ужасно долгим. Пока он старался не глядеть никуда по сторонам и ни о чем не думать, кроме свечи, тараканов и таза,— ему казалось, будто кто-то склоняется над ним, кто-то ходит сзади, кто-то глядит на него и дышит. Воображение чутко настраивалось, и он чувствовал себя совершенно одиноким в освещенном пространстве, точно это была вершина горы, а кругом раскинулась темная и враждебная бездна.

Зато, когда неробкий и положительный Марк подходил к свету, призраки тотчас же исчезали, и воображение направлялось в другую сторону: теперь в нем являлись другие образы, более спокойные и доставлявшие Васе величайшее наслаждение. По большей части это были рассказы из семейных преданий, которые Голован схватывал из отрывочных воспоминаний матери и отца в каком-нибудь беглом разговоре с гостями, в зале. Он ловил эти отрывки с бессознательною жадностью, и в ночные часы, у свечки, когда напуганное призраками воображение несколько успокаивалось,

странное вдохновение охватывало юного сказочника: обрывки семейных преданий соединялись в стройное целое непонятным для него самого образом. Как это выходило, он не знал. Он не знал также, откуда брались некоторые подробности, которых никто ему не рассказывал, но только он был уверен, что все это истинная правда. Он говорил легко и свободно о том, что было с отцом и матерью, «когда нас еще не было», а порой — что было и с ним самим, когда его еще не было. Мать и отец в этих рассказах, правда, и самому Васе, и его слушателям казались не совсем такими, как теперь. Они были те же, но немножко иные. Ведь, в сущности, все должно было быть немножко иное, «когда нас не было». Трудно, например, представить себе, что мама когда-то была такая же маленькая, как Шура, и играла куклами, а папа — было время — вовсе не ездил в должность, а скакал верхом на палке, в бумажном колпаке. Это было так странно и удивительно, что девочки хохотали, а самая младшая хлопала даже в ладоши, рискуя разбудить няньку. После этого ничто уже не казалось удивительным, и Голован свободно распоряжался событиями этого мира, с которыми дети свыкались, как свыкаешься, глядя в цветные стеклышки, с тем, что небо кажется красным, и деревья тоже, и красный кучер погоняет красную лошадь, причем красные колеса подымают красную пыль по дороге... У мамы был тогда большой козел, который всех убивал насмерть рогами, а мама водила его на ленточке, как собачонку. И когда папа задумал жениться на маме, то маме было еще только четырнадцать лет, и козел чуть не убил папу насмерть. Но папа все-таки украл маму из окна и женился. А потом, когда Вася был уже на свете, маму хотели у папы отнять, отдать в монастырь и чтоб они опять были не женаты, а Васи тогда опять не было бы, потому что у неженатых никогда не бывает детей. И все это он помнит. Ему кажется также, что он помнит, как папа украдывал маму из окна. Он в это время привстал в кроватке. Отец раз назвал его за этот рассказ дураком. Когда же он рассказал, какая была кроватка, и где она стояла, и какая была комната, то отец назвал его дураком вторично, потому что его тогда не было на свете, а в кроватке, которую он описывает, спала сама мама, когда еще была маленькой девочкой, и комната была та, где мама жила девочкой, а отец женился на ней в другом городе. И, должно быть, мама ему рассказывала о своей

комнате, а он теперь врет, что сам ее видел. Все выходило как будто и так, и отец оказывался прав; но Вася с горечью думал про себя, что взрослые всегда оказываются правы, а в сущности это не так: стоило ему зажмурить глаза, и перед ним являлась какая-то комната, и окно, и папа несет из окна маму. При этом луна светила как-то странно, потому что и луна была, конечно, немножко иная, как и люди.

Все это и многое другое оживало ночью, и каждый раз, всматриваясь в эти картины, Вася открывал в них все новые подробности. Каждый раз новооткрытая мелочь срасталась с прежними так крепко, что при следующем рассказе ее уже нельзя было отделить, и Васе казалось, что он все это непременно видел и помнит. Это обстоятельство подавало иногда повод к недоразумениям: Марк, скептический и положительный, напоминал порой, что раньше Вася рассказывал иначе, и начинал утверждать, что все это враки и «не может быть». Вася страдал и старался смягчить Марка мягкостью и заискиванием; но иногда это не действовало, и Мордик, со свойственными ему упрямством и жестокостью, начинал отрицать все. Во-первых, он утверждал, что он все-таки был бы, если бы даже папу с мамой сделали опять неженатыми. Он все-таки был бы себе, да и только, знать бы ничего не хотел... Мало ли что!.. Потом он говорил, что Вася не видал, как папа украдывал маму через окно, потому что Васи тогда не было; папа с мамой были еще не женаты, а сам же Вася говорит, что у неженатых не бывает детей. Потом он шел еще дальше и подвергал сомнению самый факт «украдывания». Женятся всегда днем и выходят прямо в двери; он видел, как на соседнем дворе женился лакей. Он сошел с крыльца и сел на извозчика, а горничная, которая тоже с ним женилась, села в барскую коляску.

— Ну врешь... ну вот и врешь! — горячо вступалась за Васю Маша.— Я сама слышала, папа говорил в гостиной, что мама — краденая и что ее хотели отнять.

— Нет, не краденая... нет, не краденая! — упрямо твердил Мордик.

— Значит, по-твоему, папа солгал, скажи: солгал? — наступала горячо Маша.

— Папа смеялся, а вы, дураки, верите!.. Что, взяла?.. И козла не было — все это одни выдумки и враки и не может быть...

— Нет, не враки, нет не «не может быть», а ты — противный спорщик, гадкий Мордик!..

— Враки, враки, враки!..— твердил Марк с холодным озлоблением.

— Не враки, не враки, не враки!..— старалась переспорить его Маша, а маленькая Шура, всегдашняя сторонница сестры, начинала плакать.

Шум будил няньку... Но если даже этого не случалось, беседа все же была совершенно испорчена. Дети в эту минуту ненавидели Мордика, как и тогда, когда они с трудом возводили карточные домики, а он упрямо стрелял в них каждый раз из угла бумажными шариками.

Фантастические домики Голована тоже рушились от скептического прикосновения, и дети расходились от свечки в кислом и охлажденном настроении. Вася огорчался до слез, тем более что он понимал, в сущности, что Мордик, пожалуй, прав. Но только дело-то не в этом. И Вася тоже прав, и он вовсе не лгун. И потом: как же не было козла, когда козел был наверное и мама сама говорила?..

V

Подойдя теперь к свече, Марк первым делом изловчился и щелкнул одного из тараканов так ловко, что тот несколько раз перевернулся в воздухе и, как шальной, побежал в угол.

Марк держался смело и свободно. Не особенно красивые черты производили впечатление уверенности и некоторой положительности. Вася был любимцем матери, Марк — отца, который любил его за положительность и храбрость. Он не боялся темной комнаты, не боялся холодной воды, кидался в реку так же свободно, как и взбирался на полок жарко натопленной бани. Между тем воображение у Васи настраивалось уже заранее; заранее он пожимался от холода, и от этого, казалось, самая кожа делалась у него чувствительнее; он дрожал от холода там, где Марку было только прохладно, и обжигался тогда, когда Марк утверждал, стоя во весь рост на полке, что ему «ничего не жарко». Впрочем, исключая случаи, вроде вышеприведенного, братья были очень дружны и понимали друг друга с полуслова, а иногда и без слов.

— Ну что, видел опять? — спросил Мордик.

— Зеленого? Видел.

— Врешь, я думаю.

— Ей-богу, видел.

— Ну?

— Ничего не лгу! Видел, больше ничего... Без лица.

— Из бумаги?

— Как будто... не надо говорить.

— Вот глупости! Я не боюсь. Чего же бояться, если он из картона? Ну, ты, зеленый, выходи! — храбрился он, повернувшись к дверям. Однако вид черной темноты подействовал и на него; он отвернулся и добавил уже тише: — Я бы его разодрал — больше ничего.

Вася поспешил переменить разговор.

— А тебе кажется странно? — спросил он.

Мордик подумал.

— В самом деле, кажется. А тебе?

— И мне кажется. Отчего бы это?

— Оттого, что... на дворе ветер,— сказал Мордик, прислушиваясь к шелесту листьев.

— И дождь шел большой. И теперь еще идет, но поменьше. Но это не оттого. А кажется тебе,— живо прибавил он,— что это шелестят листом бумаги... о-о-огромным?

Мордик прислушался и сказал:

— Нет, не кажется.

— А кажется тебе, что это сыплют зерно в бочку?

Мордик опять послушал.

— Вовсе не кажется, потому что это ветер.

— А мне иногда кажется. Но все-таки сегодня странно не от этого.

— А отчего?

— Не знаю. Знал, да забыл. Теперь не знаю.

— И я не знаю.

Оба помолчали.

В это время на другой половине дома, отделенной длинным коридором, скрипнула быстро отворенная дверь. Ей отозвалась в детской оконная рама, пламя свечи колыхнулось, и дверь опять захлопнулась.

— Слышал? — спросил Вася.

— Да, слышал... Постой-ка.

Действительно, в несколько мгновений, пока дверь открывалась и закрывалась, с другой половины донеслись каким-то комком смешанные звуки. Очевидно, там не спали и, пожалуй, не ложились всю ночь. Чей-то

голос требовал воды, кто-то даже голосил и плакал, кто-то стонал... При последнем звуке у мальчиков сердца забились тревожно.

— Знаешь, что это там? — живо спросил Вася.

— Знаю. У мамы скоро родится девочка.

— А может, мальчик.

— Н-ну... может, и мальчик.

Мордик помнил два случая рождения, и оба раза это были девочки. Потому ему и теперь казалось, что должна родиться непременно девочка. Впрочем, так как он помнил рождение девочек, а своего и Васина не помнил, то порой ему приходила в голову неосновательная идея, что рождались только девочки, потому было время, когда их вовсе не было. А они, мальчики, никогда не родились и всегда были. Он не особенно верил сам в эту теорию, но она возвышала его в собственном мнении и давала преимущество перед девочками, которые тоже хотели бы всегда быть, но должны были смириться перед недавностью факта рождения Шуры.

— Вот отчего и кажется странно...— сказал опять Вася.

— Вре-ешь...— протянул было Мордик, но потом согласился: — А пожалуй, твоя правда.

— Конечно, от этого. Видишь, там никто не ложился. И потом ведь это всегда бывает странно...

Оба задумались.

— Вдруг не было девочки, вдруг есть...— сказал Голован.

— Да,— повторил и Мордик,— вдруг не было, вдруг есть... Странно: откуда берутся?.. Постой, я знаю,— поторопился он с открытием: — подкидывают!

Объяснение было просто, но не удовлетворительно.

— Нет,— сказал Голован.

— Отчего это нет?

— Оттого что... оттого... вот отчего нет: потому что откуда же тот человек возьмет, который подкинет?

— Он у другого.

— А другой?

— Еще у кого-нибудь.

— А еще кто-нибудь где возьмет?

— Н-не знаю... Няня говорит: меня под лопухом нашли. Пустяки, я думаю.

— Конечно, глупости. Кто туда положит ребенка? И насчет золотой нитки... будто на золотой нитке спускают — тоже глупости.

— Уж эта старая скажет!.. Ну, а как, по-твоему, откуда?

— Конечно, с того света.

Мордик задумался. Мысль показалась ему очень простой и ясной... Понятно: на этот свет попадают с того света.

— Ну, а как?

— Может быть, приносят ангелы.

— Ангелов, может, еще и нет.

— Ну, уж это ты не говори. Это грех. Уж это все знают, что есть.

— А дядя Михаил...

— Мало ли что. Когда люди видели...

— Кто видел?

— Многие видели. Я тоже видел... во сне...

— Какой он?

— Белый-белый. Летел от сада Выговских, все с дерева на дерево, а потом перелетел через огород, через площадь. А я смотрю, где он сядет. Сел на крышу на лавчонке Мошка и стал трепыхать крыльями. Потом снялся и полетел далеко-далеко.

— Хорошо летает?

— Отлично. Я потом говорю Мошку: я видел во сне, что на твоей крыше сидел ангел.

— А Мошко что?

— А Мошко говорит: ай-вай, какая важность! У меня каждый шабаш бывают в доме ангелы, а черти насядут на крышу, все равно как галки на старую топо́лю...

— Хвастает.

— Н-нет, едва ли. У евреев многое бывает. А помнишь Юдка?

VI

Юдка был огромный жид, с громадною бородой и страшными полупомешанными глазами. Он разносил по домам лучшие сорта муки и продавал ее в розницу. Отмерив муку гарнцами, он потом прикидывал еще по щепотке — «для деток, для кухарки, для няньки, для кошки, для мышки». При этом его борода тряслась, а глаза вращались в орбитах. Как только его громадная фигура с мешком на согнутой спине являлась в воротах, детьми овладевало ощущение ужаса и любопытства. Они дрожали перед Юдкой, но не могли себе отказать

в удовольствии посмотреть, как Юдка будет прикидывать «на кошку, на мышку». Он ходил каждую неделю и каждый раз производил на детей чрезвычайно сильное впечатление.

Как-то однажды Юдка вдруг исчез и не являлся несколько недель. И мать, и дети сильно недоумевали и думали, что старый жид умер. Оказалось другое, а именно: в судный день Юдку схватил жидовский черт, известный в народе под именем Хапуна. На кухне рассказывали историю со всеми подробностями. В судный день евреи собираются к вечеру в синагогу, оставляя патынки (туфли) у входа. Потом зажигают множество свечей, закрывают глаза и начинают жалобно кричать от страха. В это время Хапун на них налетает, как коршун, и хватает одного. Потом, когда выходят из синагоги, все разбирают свои патынки, но одна пара всегда остается. В этот раз остались громадные патынки старого Юдки, а потому все узнали, что Юдку схватил Хапун.

Потом Юдка вдруг опять появился, но он хромал и казался разбитым, а дети его стали бояться еще больше. Оказалось, что Юдку спас его приятель, мельник из Кодни. Мельник этот вышел вечером на свою греблю и стоял спокойно, почесывая брюхо и слушая, как вода шумит в лотоках и бугай бухает в очеретах. А вечер был ясный. Вдруг видит: летит «какое-то» по небу. Присмотрелся, а это Хапун тащит огромного жида. «Ну,— думает мельник,— другого такого крупного жида не найти. Не иначе только Хапун моего покупателя, старого Юдку, на этот раз сцапал». Конечно, если бы не то, что Юдка всегда брал у мельника муку, никогда мельник не стал бы вмешиваться в это дело. Но тут он таки пожалел старого знакомого. Поэтому, затопав ногами, он крикнул вдруг во весь голос: «Кинь, это мое!» Хапун выпустил ношу и взвился кверху, трепыхая крыльями, как молодой шуляк, по которому выстрелили из ружья (голос у коднинского мельника таки мое почтение!). А бедный жид со всего размаху шлепнулся на греблю и сильно расшибся.

Юдка был налицо, и все видели, что он действительно хромал после этого происшествия. Поэтому и Мордик не стал спорить: действительно, у евреев многое бывает. Кроме того, напоминание об Юдке и вообще рассеяло в нем зачатки скептического упрямства.

— Да, так вот тогда Мошко много мне рассказывал... и то, как родятся дети.

— Ну?

— Он говорит, у бога есть два ангела: один вынимает из людей душу, а другой приносит новые души с того света. Вот когда надо у кого-нибудь родиться ребенку, та женщина делается больна.

— Отчего?

— А оттого, что бог посылает обоих ангелов: марш оба на землю к таким-то людям и ждите моего приказа. Если на тех людей бог не сердится, то говорит: положите ребенка около матери и ступайте оба назад. Тогда мать опять выздоравливает. А иногда говорит: возьми ты, смерть, душу у матери. И тогда мать умирает. А иногда говорит: возьми и мать, и ребенка,— тогда оба умирают.

— А знаешь что,— добавил Голован,— может, это и правда, потому что всегда боятся, когда надо ребенку родиться, и мама недавно говорила: а может, я умру.

— А тетя Катя и умерла.

— Ну, вот видишь.

— Должно быть, этот ангел страшный?

— Нет, зачем... я думаю, не очень страшный. Ведь он не по своей воле. Думаешь, ему очень приятно, когда через него все плачут? Да что ж ему делать? Бог велит — он должен слушаться. Он ведь не от себя.

— А заметил ты, после того как Катя умерла, какие у Генриха глаза стали?

— Темные.

— Нет, не темные — большие.

— Большие и темные. И никогда он с нами так не шалит, как бывало.

— И все ссорится и спорит с Михаилом.

— Я знаю, отчего он сердится. Я слышал, как они сильно ссорились. Михаил говорил: когда человек умрет, то из него сделается порошок, и человека нет вовсе. А Генрих говорит, что человек уходит на тот свет и смотрит оттуда, и жалеет...

— Так что? За что ж тут сердиться?

— Э! Видишь: если из человека делается порошок, то, значит, и из Кати тоже. А он этого не хочет... Он ее любит.

— Как же любит, когда ее нету?..

— Любит...

Оба помолчали. Так как ни одному из них не приходило в голову снять со свечи, то она нагорела так сильно, что фитиль стал словно гриб. Придавленное пламя тянулось кверху языками, точно ветки дерева с обстри-

женною верхушкой; от этого освещенное пространство стало еще ограниченнее. Не было видно ни стен, ни потолка, ни окон. Темнота шатром нависла над мальчиками, и шатер этот вздрагивал и колебался. А плеск дождевых капель и шорох деревьев теперь, казалось, проникли в самую комнату и раздавались в ее темноте. И оба мальчика чувствовали, что такой странной ночи не было еще никогда.

Теперь оба уже уяснили себе содержание этого ощущения странности. Нездоровье матери и ее предчувствие, тревожная нежность отца, воспоминание о смерти тети Кати, потом это необычайное движение, говор и топот шагов на той половине, и чей-то плач, и чьи-то стоны — все это было сведено к одному и получило форму. Несмотря на сомнительный авторитет лавочника Мошка, даже скептический Марк не находил возражений против теории, только что развитой Голованом. Новая жизнь готовилась войти в их дом, а идущая с ней об руку смерть простерла над домом свои темные крылья; вместе с слабым стоном матери, ее веяние пахнуло в детские души состраданием и ужасом.

— Слушай! — тихо сказал Марк.

— Что? — еще тише спросил Вася.

Марк наклонился к нему, как будто боясь, чтобы звук его слов не проник туда, за темный купол над их головами.

— Слушай... ведь если это правда, то, значит, оба они...

— Да... где-нибудь тут...— Оба почувствовали внезапную дрожь.

— Разбудим девочек.

— И няньку... ступай разбуди.

— Я... боюсь.

— И... и я тоже,— признался бесстрашный Марк.

Оба брата инстинктивно подвинулись друг к другу и свечке. Темнота, до сих пор нависавшая сверху, теперь поглотила и печку, и стену, и кровати, и соседнюю комнату с девочками и нянькой, и даже самое воспоминание о них отодвинулось куда-то далеко. А шорох и шепот окончательно вошли со двора, и кто-то тихо говорил над головами двух братьев что-то непонятное, но очень важное.

Так прошло несколько минут. Может быть, прошло бы и больше, если бы Марку не пришло в голову снять нагар со свечки. Но как только он сделал это, пламя

сразу выровнялось, купол над головами быстро раздвинулся, открывая потолок, стены, знакомую старую печку с задымленным отдушником, кровати с измятыми подушками и брошенными на пол одеялами и дверь в соседнюю спальню девочек. Вместе с тем шорох ушел из комнаты и вместо важного голоса слышался плеск разрозненных струек на дворе.

— Пойду разбужу,— сказал Мордик, подымаясь и направляясь в комнату девочек.— Нянька, нянька, вставай! — тормошил он старуху.

Нянька быстро села на своей постели, с выпученными, удивленными глазами.

— А что? Разве уже? — спросила она испуганно.— Ах я, старая, проспала!

Она поправила на голове кичку, из-под которой выбились седые космы, и, быстро надев башмаки, накинула на плечи свитку.

— Кыш у меня!.. Сидите от-тут смирно. Я скоро приду.

И старуха торопливо вышла в коридор. Вскоре ее шаги смолкли, и Марк смотрел на брата в печальном разочаровании.

— Ушла!.. Вот дура! — сказал он.

— Да, лучше было не будить. Как же теперь мы одни?

— Разбудим девочек.

Но девочки, разбуженные возней, проснулись сами. Слышно было, как старшая помогает младшей выбраться из кроватки, и вскоре обе они появились в дверях, держась за руки.

— Здравствуйте, судари, вот и мы! — сказала Маша весело и немного жеманясь. Заметив, что няньки нет, она говорила радостно и громко.

— Тише, дура! — оборвал ее Марк.— У мамы родится новая девочка, а ты тут кричишь.

— Тише, все! — сказал старший, к чему-то прислушиваясь. Девочки смирно уселись около свечи и тоже смолкли.

VII

Дождь, очевидно, совсем перестал. Прежний непрерывный шум разорвался, и из-за него яснее выступили дальние звуки: колыхание древесных верхушек, лай сонной собаки и еще какой-то тихий гул, который,

начавшись где-то очень далеко, на самом краю света, теперь понемногу вырастал и подкатывался все ближе.

— Кто-то едет,— сказал Мордик.

— Далеко, в городе...

Среди сна и тишины ночи, нарушаемой только плеском воды из водосточных труб да шелестом ветра, этот одинокий звук колес невольно приковывал внимание. Кто едет, куда, в эту странную ночь?.. Вася задумался. Ему представилась в отдалении катящаяся по темным и пустым улицам маленькая коляска, непременно маленькая, с маленькими коваными колесиками, потому что и этот мелодичный рокот казался маленьким и тихим, хотя долетал ясно. Маленькие лошадки быстро отбивают дробь копытами по мостовой, и маленький кучер заносит руку с кнутом. Кто же это едет в поздний час по улицам спящего города?

Колеса рокотали, катились ближе, быстрее... Потом шум сразу оборвался, и послышалось только тихое тарахтение по мокрой немощеной дороге; то лязг обода о камешек, то скрип деревянного кузова прорывались время от времени и каждый раз все ближе...

— Полем едет... к нам,— сказал Мордик.

Дом стоял на краю города, рядом с широким пустырем, заросшим бурьянами и травой. Кто же это мог ехать к ним ночью, да еще в такую ночь, когда все так странно и у них должен родиться ребеночек? И сразу этот стук подъезжавшего экипажа присоединился ко всему, что было необычно, что творилось у них только в одну эту ночь...

Затаив дыхание, дети слушали, как отворились ворота, как колеса шуршат по двору и подъезжают к крыльцу. После этого суетня усилилась, участилось хлопанье дверей и движенье на той половине.

— Это привезли ребеночка? — спросила Маня.

— Молчи!..

Вася прислушался, и в его воображении рисовалась странная картина: ангелы вылезли из коляски. Они бережно несут ребеночка, отдают его маме и поздравляют: все слава богу, все слава богу! Берите его себе, все будут живы...

Но только странно: в доме все так тихо, и никто не радуется. Суета смолкла, двери перестали хлопать. Кто-то осторожно подошел в коридоре к ближайшей двери,

где жила старая тетка, никогда не выходившая из своей комнаты, и Вася слышал разговор:

— Слава богу, приехал! Теперь все будет хорошо.

— Ох, барыня, погодите радоваться! Сама-то в обмороке... Боже мой, как трудно...

Потом дверь скрипнула, и все стихло. Еще через минуту в детскую вбежала нянька. Космы седых волос окончательно выбились из-под головного платка, по сморщенному лицу текли слезы. Не обращая внимания на детей, она пошарила в сундуке, потом забралась к себе на постель, и, когда она опять выбежала, дети увидели в спальной красноватый отблеск. Перед иконой тихо разгоралась «страшная свеча», «громница»...

Девочки ничего не понимали и только смотрели перед собой широко открытыми глазами. Братья смотрели друг на друга и ждали: кто из них заплачет первый. Тогда детская сразу переполнилась бы неудержимым ревом... Но было слишком страшно... На дворе кто-то гудел протяжно и сердито, и дети уже не узнавали в этом гудении голос ветра, пролетавшего над садом.

Но вдруг дальняя дверь опять отворилась, и чей-то странно спокойный, уверенный голос сказал громко:

— Отлично, отлично! Поздравляю! — и долгий облегченный вздох, какого никогда в жизни не приводилось слышать детям, тихо пронесся по всему дому и угас...

Васе вдруг стало как-то радостно, хотя в голове путалось еще больше... Он не знал, что значит этот странный голос, и ему казалось, что он засыпает. Напряжение этой ночи брало свое, Шура дремала сидя, и дети не замечали, как идет время...

— А я знаю, кто приехал,— сказал вдруг Марк, не поддавшийся дремоте, но слова замерли у него на устах. Дверь опять отворилась, но теперь никаких звуков не было слышно, кроме детского плача. Плакал маленький ребеночек каким-то особенным, тонким, захлебывающимся голосом, но упрямо и громко...

Это было так неожиданно, и плач слышался так ясно, что даже маленькая Шура очнулась, подняла голову и сказала:

— Де́тинька... па́цит.

Впрочем, ее это, по-видимому, нисколько не удивило. Зато все остальные повскакали с мест. Маша захлопала в ладоши, а Марк кинулся к дверям.

— Пойдем туда!

Вася пошел за ним, но у порога остановился.

— А заругают?

— Ну, один раз ничего...— успокоил Марк. Он хотел сказать, что именно этот раз, в эту ночь, все позволительно.— А вы, девочки, оставайтесь...

Но Маша думала иначе:

— Вот какой умный! Оставайся сам, если хочешь... Пойдем, Шурочка, пойдем, милая! — и она торопливо подняла Шуру.

— Пускай идут,— поддерживал Вася, понимавший хорошо, что он и сам ни за что бы не остался.

Когда они открыли дверь в коридор, на них пахну́ло теплым и влажным ветром. Сверх ожидания, коридор оказался освещенным: в самом конце у входной двери кто-то забыл сальную свечу в подсвечнике. Она вся оплыла, ветер колыхал ее пламя, летучие тени бегали по всему коридору, то мелькая по стенам, то скрываясь в углах, а черное отверстие печки, находившееся посредине, тоже как будто шевелилось, перебегая с места на место. Вообще и коридор в эту ночь стал совсем иной, необычный. В полуоткрытую дверь виднелась часть синего ночного неба, и черные верхушки сада качались и шумели. Когда дети подошли к концу коридора, ветер обвеял их голые ноги.

Дверь «на ту половину» была недалеко от входа, направо. Марк шел впереди и первый, поднявшись на цыпочки, тихо открыл эту дверь. Дети гуськом шмыгнули в первую комнату.

Знакомые прежде, комнаты имели теперь совсем другой вид. Прежде всего дети обратили внимание на дверь маминой спальни. Там было тихо, слабый свет чуть-чуть брезжил и позволял видеть фигуру отца, нежно склонившегося к изголовью кровати... Темная фигура незнакомой женщины порой проходила неясною тенью по спальне.

Марк дернул Васю за рукав.

— Видишь теперь, кто это приехал?

— Кто?

— Смотри: дядя Генрих и... Михаил.

Вася отвел глаза от дальней двери и взглянул в среднюю комнату, отделявшую переднюю от спальной. Это была прежде гостиная, но теперь в ней все было переставлено по-иному. Дядя Генрих сидел задумчиво на стуле, под висячей лампой, и на его бледном лице выделялись одни глаза, которые, казалось детям, стали еще

больше. Михаил без сюртука, с засученными рукавами вытирал полотенцем руки.

— Что теперь делать? — спросил растерянно Вася. Во всех практических начинаниях он предоставлял первенство Марку.

— Не знаю,— ответил тот, отодвигаясь в тень. Дети последовали за ним. Присутствие Генриха и Михаила их озадачило. Генрих прежде был весельчак, играл с детьми, щекотал их и вертел в воздухе. Около двух лет назад у него родилась Шура, а жена умерла. С тех пор он уехал в другой город и редко навещал их, а когда приезжал, то дети замечали, что он сильно переменился. Он был с ними по-прежнему ласков, но они чувствовали себя с ним не по-прежнему: что-то смущало их, и им не было с ним весело. Теперь он глубоко задумался, и в глазах его было особенно много печали.

Михаил был гораздо моложе брата. У него были голубые глаза, белокурые волосы в мелких кудрях и очень белое, правильное, веселое лицо. Вася знал его еще гимназистом, с красным воротником и медными пуговицами, но это все-таки было давно. Потом он появлялся из Киева в синем студенческом мундире и при шпаге. Старшие говорили тогда между собой, что он становится совсем взрослый, влюбился в барышню, сделал раз «операцию» и уже не верит в бога. Все студенты перестают верить в бога, потому что режут трупы и ничего уже не боятся. Но когда приходит старость, то опять верят и просят у бога прощения. А иногда и не просят прощения, но тогда и бывает им плохо, как доктору Войцеховскому... Такие всегда умирают скоропостижно, и у них лопается живот, как у Войцеховского...

Михаил никогда не обращал на детей внимания, и детям всегда казалось, что он презирает их по двум причинам: во-первых, за то, что они еще не выросли, а во-вторых — за то, что сам он вырос еще недавно и что у него еще почти не было усов. Впрочем, когда теперь он подошел к лампе и надел совсем новый мундир, дети удивились, как он переменился: у него были порядочные усики и даже бородка, и он стал на самом деле взрослый. Лицо у него было довольное и даже гордое. Глаза блестели, а губы улыбались, хотя он старался сохранить важный вид... Надев мундир, он таки не вытерпел и, крутя папиросу, сказал Генриху:

— Ну, что скажешь, Геня, каково я справился?.. А случай трудный, и этот старый осел, Рудницкий,

наверное отправил бы на тот свет или мать, или ребенка, а может быть, и обоих вместе...

Генрих отвел глаза от стены и ответил:

— Молодец, Миша!.. Да, мы приехали с тобой вовремя. Может быть, если бы два года назад... у моей Кати...

Но тут голос его стал глуше... Он отвернулся.

— А все-таки,— сказал он,— рождение и смерть... так близко... рядом... Да, это великая тайна!..

Михаил пожал плечами.

— Эту тайну мы, брат, проследили чуть не до первичной клеточки...

Дети недоумевали и не знали, на что решиться. Во-первых, все оказалось слишком будничным, во-вторых, они поняли, что и в эту ночь им может достаться за смелый набег, как и всегда; а даже выговор в присутствии Михаила был бы им в высшей степени неприятен. Неизвестно, как разрешилось бы их двусмысленное положение, если бы не вмешался неожиданный случай.

Входная дверь скрипнула, приотворилась, и кто-то заглянул в щелку. Дети подумали, что это няня наконец хватилась их и пришла искать. Но щель раздвинулась шире, и в ней показалась незнакомая голова с мокрыми волосами и бородой. Голова робко оглянулась, и затем какой-то чужой мужик тихонько вошел в переднюю. Он был одет в белой свитке, за поясом торчал кнут, а на ногах были громадные сапожищи. Дети прижались к стене у сундука.

Мужик потоптался на месте и слегка кашлянул, но будто нарочно так тихо, что его никто не услыхал в спальной. Все его движения обличали крайнюю робость, и дверь он оставил полуоткрытой, как будто обеспечивая себе отступление. Кашлянув еще раз и еще тише, он стал почесывать затылок. Глаза у него были голубые, бородка русая, а выражение чрезвычайной робости и почти отчаяния внушало детям невольную симпатию к пришельцу.

Отчасти тревожный шепот детей, отчасти привычка к полутьме передней указали незнакомому пришельцу его соседей. Он, видимо, не удивился, и в его лице появилось выражение доверчивой радости. Тихонько на цыпочках, хотя очень неуклюже, он подошел к сундуку.

— А что мне... коней распрягать прикажут? — спросил он с видом такого почти детского доверия к их «приказу», что дети окончательно ободрились.

— А это вы привезли маленького ребеночка? — спросила Маша.

— Э! Какого ребеночка? Я привез пана с паничом... А что мне, не знаете ли, коней распрягать или как?

— Не знаем мы,— сказал Мордик.

— А ты вот что: ты, паничку, поди в ту комнату да и спытай у панича, у Михаила, что он скажет тебе?

— Сходи сам.

— Да я, видите ли, боюсь... Мне того, мне не того... А вы бы сходили-таки, вам таки лучше сходить. Не бог знает, что с вами сделают.

— А с тобой?

— Э, какой же ты, хлопчику, беспонятный. Иди-бо, иди...

Он выдвинул Марка из угла и двинул к дверям. Марк предпочел бы лучше провалиться сквозь землю, чем предстать теперь перед всеми — и в особенности перед Михаилом — в одной рубашке и так неожиданно. Но рука незнакомца твердо направляла его вперед.

— Что это, откуда-то дует...— послышался тихий голос матери. Тогда Михаил повернулся на стуле, и Марк понял, что участь его решена. Поэтому он со злобой отмахнул руку незнакомца и храбро выступил перед удивленными зрителями.

— Он говорит, вот этот...— заговорил Марк громко и с очевидным желанием свалить на мужика целиком вину своего неожиданного появления,— узнай, говорит, что, мне лошадей распрягать или не надо?..

— Кто? Где? — спрашивал отец, повернувшийся на говор.

— Там вот, мужик.

Но мужик в это время предательски отодвинулся к выходной двери и, наполовину скрывшись за ней, политично ожидал конца сцены. Маша, увидев этот маневр, пришла в негодование.

— А ты зачем прячешься? Вот видишь какой: вытолкнул Маркушу, а сам спрятался!..

Это вмешательство выдало всех. Михаил взял с комода свечку, поднял ее над головой и осветил детей.

— Эге,— сказал он,— тут их целый выводок. И дурень Хведько с ними. Хведько, это ты там, что ли?

— А никто, только я. Я бо спрашиваю, чи распрягать мне коней?

— Дурень, запирай двери! — крикнул Михаил.— Да не уходи пока! Погоди там в передней.

Мужик с большой неохотой повиновался.

— Ну, теперь расправа: как вы сюда попали, пострелята? Ты зачем их привел, Хведько?

— А какой их бес приводил... Я вошел спытать, чи распрягать мне коней. Гляжу, а их там напхано целый угол. Вот что! А мне что? Вот и маленькая панночка говорит: «Ты ребеночка привез»... Какого ребенка, чудно́е дело...

Все засмеялись.

— Ну, теперь вы говорите: как сюда попали?

Оба мальчика угрюмо потупились... Они ждали чего-то необычайного, а вместо того попали на допрос, да еще к Михаилу.

— Мы услышали, что ребеночек плачет,— ответила одна Маша.

— Ну, так что?

— Нам любопытно,— угрюмо ответил Марк,— откуда такое?

— Ого, ого! — сказал на это Генрих, который между тем взял на руки свою Шуру.— Вот что называется вопрос! Спросите у него,— кивнул он на Михаила,— он все знает.

Михаил поправил свои очки с видом пренебрежения.

— Под лопухом нашли,— сказал он, отряхивая свои кудри.

Пренебрежение Михаила задело Марка за живое.

— Глупости,— сказал он с раздражением.— Мы знаем, что это не может быть. На дворе дождик, она бы простудилась.

— Ну вот, одна гипотеза отвергнута,— засмеялся Генрих,— подавай, Миша, другую...

— Спустили прямо с неба на ниточке.

— Рассказывайте...— возразил Марк, входя все в больший азарт.— Видно, сами не знаете. А мы вот знаем!

— Любопытно. Верно, от старой дуры, няньки?

— Нет, не от няньки.

— А от кого?

— От... от жида Мошка.

— Еще лучше! А что вам сказал мудрец Мошко?

— Расскажи, Вася,— обратился Марк к Головану.

— Нет, рассказывай сам.— Вася был очень сконфужен и чувствовал себя совершенно уничтоженным насмешливым тоном Михаиловых вопросов. Марк же не так легко подчинялся чужому настроению.

— И расскажу, что ж такое? — задорно сказал он, выступая вперед.— У бога два ангела...

И он бойко изложил теорию Мошка, изукрашенную Васиной фантазией. По мере того как он рассказывал, его бодрость все возрастала, потому что он заметил, как возрастало всеобщее внимание. Даже мать позвала отца и попросила сказать, чтобы Марк говорил громче. Генрих перестал ласкать Шуру и уставился на Марка своими большими глазами; отец усмехнулся и ласково кивал головой. Даже Михаил, хотя и покачивал правою ногой, заложенною за левую, с видом пренебрежения, но сам, видимо, был заинтересован.

— Что же, это все... правда? — спросил Марк, кончив рассказ.

— Все правда, мальчик, все это правда! — сказал серьезно Генрих.

Тогда Михаил, еще на минуту перед тем утверждавший, что ребят находят под лопухом, нетерпеливо повернулся на стуле.

— Не верь, Марк! Все это — глупости, глупые Мошкины сказки... Охота,— повернулся он к Генриху,— забивать детскую голову пустяками!

— А ты сейчас не забивал ее лопухом?

— Это не так вредно: это — очевидный абсурд, от которого им отделаться легче.

— Ну, расскажи им ты, если можешь...

— Ты знаешь, что я мог бы рассказать...

— Что?

Михаил звонко засмеялся.

— Физиологию... разумеется, в популярном изложении... Надеюсь, это была бы правда.

— Напрасно надеешься...

— То есть?

— Ты знаешь немногое, а думаешь, что знаешь все... А они чувствуют тайну и стараются облечь ее в образы... По-моему, они ближе к истине.

Михаил нетерпеливо вскочил со стула.

— А! Я сказал бы тебе, Геня!.. Ну, да теперь не время. А только вот тебе лучшая мерка: попробуйте вы все, с вашею... или, вернее, с Мошкиной теорией сделать то, что, как ты сейчас видел, мы делаем с физиологией... Вы будете умиляться, молиться и ждать ангелов, а больная умрет...

— Ну, умирают и с физиологией, я знаю это по близкому опыту...— сказал Генрих глухо.

— Частный факт, и физиология плохая...

— Этот частный факт для меня — пойми ты — общее всех твоих обобщений. Погоди, ты поймешь когда-нибудь, что́ значит смерть любимого человека, и частный ли это факт.

— Истина выше личного чувства! — сказал Михаил и смолк. Он понял, что с Генрихом нельзя теперь продолжать этот разговор.

VIII

В комнате стало тихо. Дети недоумевали. Они не поняли ни слова из того, что говорилось, но ощутили одно: это спорность их теории. Они были смущены и нерадостны.

В это время Хведько, о котором все забыли, высунул опять голову из-за косяка двери.

— А что, мне распрягать коней, чи нет? — произнес он с глубокою тоской в голосе.

Это вмешательство показалось всем очень кстати.

Михаил весело засмеялся.

— Ага! — сказал он.— Вот еще один мудрец. Попробуем сейчас маленькую индукцию... Как ты думаешь, Хведор, куда мы с тобой ехали?

— Да я ж думаю никуда, только сюда.

Он внимательно, не отрывая выпученных глаз, смотрел на Михаила, как будто боялся его шутливых расспросов.

— Ну?

— А что ну?

— Ну, приехали мы сюда или нет?

— Э, вы бо все смеетесь. Чего бы я спрашивал, когда оно само видно?

— Так зачем же лошадям стоять на дожде, дурню?

— От и я так думал,— обрадовался Хведько.— Оно хоть дождя уже нет, а таки лошадям стоять не для чего. Пойду распрягать. Так и говорили бы сразу...

И он поторопился уйти с видимым облегчением.

— Ну, и вы тоже... марш обратно! — сказал отец.

— А... а деточку? — сказала Маша печально.

Виновница всей кутерьмы находилась в спальне. Мать тихо сказала что-то, и вскоре бабка вынесла ее на руках в хорошеньком белом свивальнике.

Среди кучи белья виднелась маленькая головка. Гла-

за смотрели прямо, на лице было то странно сознательное выражение, которое порой делает лица детей почти старческими. Девочка зевала и потягивалась.

— Гордячка какая! — неизвестно почему решила про нее Маша, поднимаясь на цыпочки.

Если б мама была здорова, она, наверное, вспомнила бы, что детям нужно принести платье. Но теперь никто не обратил внимания на то, что они вышли, как и вошли, в одних рубашонках, Шура осталась на руках отца.

Выйдя в коридор, Маша тотчас же побежала в детскую, но мальчики замешкались. Марк увидел в наружную дверь, что около конюшни стоит бричка, а Хведько распрег уже лошадей и ведет их под навес. Это его заинтересовало, и он юркнул на крыльцо; Вася пошел за ним.

Хведько привязал лошадей, потом его белая свита замелькала около брички, и он вынес оттуда громадный чемодан. Втащив его на крыльцо и поставив на верхней ступеньке, он по-своему, с наивною фамильярностью обратился к Марку:

— А то, видно, у вас родилось тут что-то?

— Не что-то, а девочка!

— Вот и я говорю. А о чем это паничи спорились?

— А это, видишь ты... Мы говорим: у бога два ангела...

— Ну-ну, не два — много... Мало ли их у бога... богато...

— Правда? А Михаил говорит: глупости!

— Но!.. Молодой панич иной раз скажет, так будет над чем посмеяться! — И он сам засмеялся.

Дети почувствовали к нему полное доверие.

— А правда, что детей приносят ангелы?

— Оно... того... так надо сказать, что детей приносят бабы... таки не кто другой... А душу ангелы приносят. Вот уж это так ваша правда. Вот что, хлопчики: душу... Ну, а мне, хлопчики мои, надо сундук нести, вот что. А то я бы тут вам все это отлично рассказал...

И Хведько взвалил себе на плечи тяжелый чемодан.

Мальчики очень жалели об этой необходимости. Там, в кабинете, их теория, успешно выдержавшая в детской их собственную критику, как-то помутилась. Они чувствовали недоумение и растерянность. Здесь же короткая беседа с Хведьком опять восстановила ее в прежнем порядке и стройности.

И оба они посмотрели на небо в одно время.

Только теперь они обратили внимание, что и на дворе тоже все странно. Первая странность состояла, конечно, в том, что они стоят на крыльце босые и неодетые, в такую пору, и что их обдувает прохладный и сырой ветер. Кроме того, на дворе там и сям странно светились лужи, каким-то особенным, загадочным отблеском ночного неба, а сад все колыхался, точно он еще не мог окончательно успокоиться после волнений ночи. Небо светлело, но тем резче выделялись на нем крупные тяжелые и будто взъерошенные облака. Точно кто-то пролетел по небу, все раскидал, все перерыл, и теперь так трудно привести все в порядок до наступления утра. А между тем всюду заметна была торопливость. Одно тонкое облако, вытянувшееся до самой середины неба громадным столбом, быстро наклонялось, столб ломался и закрывал одни звезды, между тем как из-за него бойко выглядывали другие. Какие-то раскиданные по небу лохмотья стягивались к одному месту, в сплошную тучу, которая все оседала книзу; и по мере того как туча спадала, становилось светлее, и можно было разглядеть, как осина в саду то и дело меняется от ветра, взмахивая своими, белыми снизу, листьями.

И детям чудился в светлеющем небе неуловимый полет светлого ангела, между тем как другой распростер темные крылья там далеко, под низкими тучами. Обоим мальчикам хотелось встретить тут восход солнца — это так любопытно — и они простояли бы еще долго, если бы нянька наконец не спохватилась. Ворча, в каком-то исступлении, она неслась по коридору с совершенно несвойственною старым ногам быстротой. Однако она не добежала до крыльца, а остановилась в трех шагах от дверей, отстранившись к стенке, так что осталось узкое место для прохода детей.

— А кыш, а кыш! — кричала она.— Ах, проклятые гультяи, куда забрались, нет на вас холеры великой!.. А кыш!..

Мальчики охотно не пошли бы опасным проходом, но они понимали, что их поступок выходил совершенно из рамок всякого компромисса и что нянька имеет право на возмездие. Оставалось только надеяться на свою ловкость.

Голован был любимец няньки, и хотя бежал первым, но получил удар снисходительный. Зато шлепок, отпущенный Марку, отдался по всему коридору. Тем не

менее, отбежав на середину коридора, он остановился и сказал довольно равнодушно:

— Думаешь, очень больно? Ничего не больно, только громко.

Через полчаса все в доме успокоилось, хотя спали далеко не все.

Отец думал о том, что прибавились еще расходы, а жалованья и так не хватает. Мать думала о том же. Она велела поднести к себе девочку, смотрела на нее и плакала, потому что она не знала, можно ли ей радоваться новой жизни при таких маленьких средствах. Михаил начинал дремать и в дремоте думал о жизни, что она хороша. А Генрих не спал, смотрел в темноту и думал о смерти: что же она такое?

Только дети спали безмятежно и крепко.

1888

ЧЕРКЕС

Очерк

I

— Иван Семеныч, а Иван Семеныч!..

— Ммм...— послышалось в ответ из глубины повозки.

— Только и есть у них: мычат, как коровы. У-у, падаль, прости господи, а не унтер, чтоб вас я́звило!..

Я не видал лица жандармского унтер-офицера Чепурникова, произносившего злобным голосом эти слова, но ясно представлял себе его сердитое выражение и даже сверкающий глубокою враждой взгляд, устремленный в том направлении, где предполагалось неподвижное, грузное тело унтер-офицера Пушных.

Ночь была темна, а в нашей повозке, конечно, еще темнее. Колеса стучали по крепко замерзшим колеям, над головой чуть маячил переплет обтянутого кожей верха; он казался темным полукругом, и трудно было даже разобрать, действительно ли это переплет над самой головой или темная туча, несущаяся за нами в вышине. Фартук был задернут, и в небольшое пространство, оставшееся открытым, то и дело залетали к нам из темноты острые снежинки, коловшие лицо, точно иглами.

Дело было в ноябре, в распутицу. Мы ехали к Якутску; путь предстоял длинный, и мы мечтали о санной дороге. На станциях обнадеживали, что от Качуга по Лене уже ездят на санях, но пока нас немилосердно трясло по замерзшим колеям.

Унтер-офицер Чепурников отдернул фартук. Резкая струя ветра ворвалась к нам, и Пушных зашевелился.

— Ямщик! Что, еще далече до станции?

Ямщик наш был одет в пеструю и мохнатую собачью доху, а так как темные пятна этой дохи сливались с темною же, как чернила, ночью, то на облучке нам виднелась лишь странная куча белых заплаток, что производило самое фантастическое впечатление.

— Верстов еще с десять,— послышалось оттуда.

— Хлопаешь зря: едем-едем — все десять верстов.

Чепурников нервничал и сердился.

Ямщик равнодушно пробурчал что-то, несколько придержал лошадей и набил трубку. Мгновенно вспыхнувший огонек осветил невероятной формы мохнатую шапку, обмерзшее лицо, отвернувшееся от ветра, и скрючившиеся от мороза руки.

— Ну, ты, поезжай, что ли! — сказал Чепурников с холодным отчаянием.

— Сьчас!

Огонек погас, и на облучке опять замелькало только созвездие из беловатых пятен.

Телега качнулась, мы задернули фартук и вновь понеслись вперед, среди холода и темноты.

Чепурников нервно ворочался и вздыхал, Пушных сладко всхрапывал. Этот гарнизонный счастливец обладал завидною способностью засыпать мгновенно при всяких обстоятельствах, и это служило главною причиной глубокой ненависти, которую питал к нему, несмотря на недавнее знакомство, его дорожный товарищ. Последний пытался доказывать неоднократно, что Пушных не имеет никакого «полного права» своею грузною фигурой занимать большую половину места, назначенного для троих. Пушных при этом жмурился и стыдливо улыбался. Он позволял даже Чепурникову всячески тиранить себя каждый раз при усаживании в повозку. Желчный унтер-офицер порывисто запихивал куда-нибудь его ноги, подбирал и укладывал руки, заталкивал в самый дальний угол его спину, гнул его и выворачивал, точно имел дело с тюфяком, а не с живым человеком.

— Вот... вот!.. Так... этак!..— приговаривал Чепурников, толкая и пихая какую-нибудь часть рыхлой фигуры товарища.— Р-раздуло вас, прости господи, горой!..

Пушных конфузливо и виновато улыбался.

— Чем же я, Василий Петрович, в эфтим случае... Мы все, то есть, родом экие!.. Ой, Василь Петрович, ты мало-мало полегче пихайся.

Чепурников окидывал взглядом свою упаковку и оставался недоволен.

— Бесс-совестные! — ворчал он.

Надо заметить, что оба мои спутника принадлежали к разным родам оружия, и Чепурников, как жандарм, считал себя неизмеримо выше Пушных уже тем, что его служба вменяла в обязанность тактичное и вежливое обращение. Поэтому он обращался даже к Пушных не иначе, как во множественном числе, хотя при этом высказывался нередко довольно бесцеремонно: «Бессовестные вы этакие чурбаны!» — говорил он, например.

Но, в сущности, все мы понимали, что совесть тут ни при чем. Особенно же когда, проехав версты полторы, Пушных засыпал, как камень,— тут уж вступали в силу положительно одни физические законы: Пушных, как тело наиболее грузное, опускался на дно повозки, вытесняя нас кверху.

То же случилось и в эту холодную ночь. Чепурников жался к краю повозки, я кое-как сидел в середине, стараясь не задавить Пушных, который все совал под меня голову с беспечностью сонного человека. Я всматривался в темноту: какие-то фантастические чудовища неясно проползали в вышине, навевая невеселые думы.

— Ну и командировка выдалась!.. Не фартит мне, да и только! — сказал Чепурников с глубокою грустью и с очевидною жаждой сочувствия.

Мне было не до сочувствия. Для меня эта командировка была еще менее удачной, и мне казалось, что это у меня на душе проплывают одни за другими бесформенные призраки, которые неслись там, в вышине.

— Эх, и что бы месяц раньше! Купил бы я в Качуге шитик, поставил бы парус — и катай себе вниз по Лене до самого Якутска. Ведь это, как вы думаете, экономия?

— Конечно, экономия.

— То-то вот, что экономия... А как, по-вашему, сколько?..

— Не знаю...

— А вот погодите, рассчитаем. Три тысячи верст, по четыре с половиной копейки, это выходит по сту по тридцати пяти рублей с лошади. Ежели теперь на четверку да на обратный путь хоть, скажем, на две лошади... Поэтому экономия составляет сот восемь рублей на одних прогонах. Так или нет?

Чепурников рассчитывал с каким-то сладострастным наслаждением и потом сказал со злостью:

— А теперь вот и за одну лошадь, смотрите, останется ли? Вспомните мое слово: станут нам дальше и четвертую лошадь припрягать. Такой подлец народ стал, такой подлец — и сказать вам не могу. Этто чтобы служащему человеку сколько-нибудь уважить — никогда!

Мне от этих расчетов было ни тепло ни холодно. Пушных напоминал о себе сладким мычаньем сквозь сон.

— Да вот тут еще с этим делись, с чурбаном! — желчно закончил Чепурников.— А спрашивается теперь: за что?

Он смолк. Темная дорожная ночь тянулась без конца, а колокольчик, казалось, бился и стонал на одном месте. Туманы продолжали ползти в вышине какими-то смутными намеками на что-то необыкновенно печальное.

Чепурников вздыхал и злился рядом со мной, продолжая раздражать себя расчетами экономии, утерянной только потому, что меня бог не послал ему месяцем ранее.

Но вот повозка быстро забилась на ухабах, колокольчик заболтал что-то несвязное, послышался хриплый лай ленских собак, более похожий на какой-то очень жалобный вой, и в промежутке между фартуком и верхом повозки проплыл яркий огонь фонаря, раскачиваемого ветром на верхушке полосатого столба.

Станция.

Я стал выбираться из повозки, разминая отекшие члены. Чепурников захватил узелок с провизией и стал бесцеремонно тормошить Пушных. После нескольких пинков беспечный унтер-офицер промычал что-то, зевнул протяжно и сладко и стал вываливаться из телеги.

— Полоски (сабли) захватите,— крикнул ему Чепурников на ходу,— да револьверы!

Но Пушных в эту минуту, стоя уже на земле и заложив руки за голову, сладко тянулся, хрустя суставами, и зевал.

Когда он вошел через минуту в теплую станционную комнату, потирая по-детски кулаками заспанные глаза, в руках у него не было ни полосок, ни револьверов, которые остались в повозке.

II

Я сел к столу и, облокотившись на него, смотрел перед собою, отдаваясь ощущению тепла и отдыха. Глаза мои были открыты, но все предметы принимали для меня какие-то фантастические формы. Стены комнаты раздвигались, и я опять видел себя далеко на дороге, в темной повозке. Только в углу повозки приютилось теперь какое-то странное животное на четырех изогнутых ножках; оно сердито шипело на меня, фыркало и лязгало зубами, сквозь которые пробивалось пламя, пыхая на меня жаром. От этого я начинал ужасно грустить, и тогда глаза мои инстинктивно искали на стене картину, изображавшую возвращение блудного сына. Блудный сын стоит на коленях, а старик отец протягивает над ним благословляющую руку. У старика было доброе лицо, и он так благосклонно глядел, а быть может, еще и до сих пор глядит на проезжающих со стен всех станций, на протяжении всей Лены. Почтенный старец! Он столько раз и так радушно встречал меня своим благословляющим жестом, что я положительно привязался к нему и, входя в любую станцию, утомленный угрюмыми приленскими видами, тотчас же разыскивал его глазами. И в эту минуту я стремился к нему под защиту. Тут ли он? Да, он тут, и, значит, я не на холоду, а в светлой комнате, и сердитое животное, пыхающее огнем,— только железная печурка, жарко натопленная лиственничными дровами. Да, старик тут, и, значит, у меня есть добрый знакомый в этом далеком и неприветливом краю, в этом маленьком домике с полосатыми столбами, приютившемся у подножия угрюмых и мрачных хребтов.

Пушных, положив руки на стол и голову на руки, тихонько всхрапывал, а Чепурников суетился один, то подкладывая дров, то распоряжаясь относительно самовара. Наконец он удалился за перегородку, и через минуту оттуда послышался сначала просто любезный, а потом и дружеский разговор.

— Я очень доволен; я даже так рассуждаю,— гово-

рил писарь,— что вас ко мне сам бог послал, право. Можете верить слову.

Под дальнейший тихий шепот новых приятелей я совсем заснул.

Кто-то тронул меня за руку. Я открыл глаза и не сразу сообразил, в чем дело. Надо мной стоял жандарм Чепурников, и на его обыкновенно подвижном лице теперь лежало какое-то застывшее выражение. Он трогал мою руку, а сам смотрел в окно. Я невольно посмотрел туда же, но ничего особенного не увидел. В стекла глядела ночь, и только пушистые снежинки, налетая из мрака, садились снаружи на черные стекла и тотчас же таяли. Казалось, какие-то белые насекомые с любопытством заглядывают в нашу комнату и через мгновенье бесшумно отлетают в темноту, чтобы сообщить кому-то о том, что́ они увидели в станционной избушке...

— Что такое? — спросил я с невольной тревогой.

Чепурников сел на стул и с тем же задумчивым видом перевел на меня свои карие глаза.

— А-а, господин...— сказал он тоном доверия.— У нас тут такое дело налаживается, просто уж и не знаю. В один день человеком сделаешься!

— Человеком? — переспросил я, все еще не отряхнувшись от сна.— Что ж, это отлично!

— Верно, в один день, господин!..— и Чепурников вперил в меня долгий, в душу проникающий взгляд.— Вот,— заговорил он вдруг вкрадчиво,— вы, например, люди образованные и стоите за бедноту. А можете ли вы понимать служащего человека?

— Ну?

— Служащему человеку требуется голову свою как-нибудь прокормить и какой-нибудь дивидент себе приобрести. Так ли я говорю, ай нет?

— Так в чем же дело?

— В том дело — ночевать здесь придется!

— Ну и прекрасно.

— То-то. А не быть бы мне в ответе, потому нам по инструкции воспрещается... Так уж вы, в случае чего, ни-ни... Так, дескать, встретились, только и всего... На станке, при перепряжке... Поняли?

— Положим, ничего не понял. С кем встретились?

— А вот погодите... Гаврилыч, вылезай-ка сюда!

Станционный писарь, внимательно следивший за разговором из-за перегородки, тотчас же вышел. Это был

человек лет тридцати, в стоптанных валеных калошах, повязанный грязным шарфом; движения его не лишены были некоторой торжественности. Видно, что жизнь на станции и общение с проезжающими господами способствовали развитию в нем некоторых возвышенных наклонностей.

— Это он верно вам говорит,— наклонился писарь ко мне, уставляясь в меня своими большими черными глазами, немного напоминавшими чахоточного.— Дело первой важности — большие можно тысячи приобрести...

— Вот! — подчеркнул Чепурников, испытующе заглядывая мне в лицо.

Я опять протер глаза. Этот шепот, важный вид говоривших, застывшие взгляды и загадочные слова казались мне просто продолжением какого-то бессвязного сна.

— Да в чем, наконец, дело? — спросил я с досадой.

— В черкесе-с...— И взгляд писаря стал еще многозначительнее.— Неужто про черкеса не слыхали? Лицо по всей Лене знаменитое.

— Я здесь в первый раз.

— Извините, не сообразил. Позвольте, я вам объясню. Этот черкес да еще с другим, товарищем по спиртовому делу, у нас первые... То есть, проще вам сказать, спиртоносы, на прииска запрещенным способом спирт доставляют и выменивают рабочим на золото. Отличные дела делают.

— Ну-с?

— Ну-с, больше ничего, что завтра этот черкес будет здесь...

Он наклонился к моему уху.

— Золото в Иркутск везет китайцам продавать... Ежели теперича сам бог нам его в руки дает — это значит божие благословение... Третья часть в нашу пользу, остальное в казну...

— Понимаю... Но неужели он так беспечен, что прямо дастся вам в руки?

— Какое дастся! Дьявол — не человек. Не первый раз уже... Летит сломя голову, ямщикам на водку по рублю! Валяй! Лишь бы сзади казаки да исправник не пронюхали да не нагнали. А у нас народ на станках робкий... Да и на кого ни доведись — страшно: с голыми руками не приступишься. Ну, а теперь все-таки люди военные. Можно его и взять.

— Ежели нам удастся, и вы счастливы будете, господин! — сказал Чепурников, у которого загорелись глаза.— Тысячи и на ваш фарт не пожалею.

— Да уж только бы пофáртило,— все так же поучительно прибавил писарь,— а уж дуванить-то будет чего.

— Я думаю, казенного проценту за поимку тысяч тридцать. А лошадей все равно свободных нету,— наивно схитрил Чепурников, взглянув на писаря.

— Ну, как знаете. Мне никаких денег не нужно, а ночевать я согласен с величайшим удовольствием.

— Берите, не отказывайтесь. Мы вас обижать не согласны.

Я вышел из-за стола и стал укладываться на диване. Перспектива провести целую ночь в теплой комнате, под благословляющею десницей почтенного старца, была так соблазнительна, что в моей отяжелевшей голове не было других мыслей... Чепурников с писарем удалились за перегородку и продолжали там свою беседу о предстоящей кампании.

— Верно ты знаешь, что завтра?

— Да уж верно тебе говорю. Болдин сказывал. Выпили мы тут с ним, он и проговорился... Они меня не боятся, потому я и сам в прежние времена, признаться сказать...

— А трудно...— слышалось через минуту.

— Трудно. Храбрость имеет большую. Черкес настоящий, молодчина!

— Отчаянный?

— Да уж без засады не взять.

— А как ничего нету?

— Чудак! Ведь уж мне тогда здесь не житье — неужто стану рисковать!

Я заснул. Мне казалось, что я забылся только на мгновение, но, очевидно, прошло довольно много времени. На станции было тихо, на столе стоял самовар и чайные приборы. Очевидно, мои спутники успели напиться чаю и улеглись спать. Свеча была погашена, и только железная печка освещала комнату вспышками пламени.

— Гаврилов! — послышался вдруг тихий оклик Чепурникова.— Не спите?

— Не сплю.

— А знаете, я ведь рассчитал.

— Ну?

— Тридцать две тысячи восемьсот сорок рублей пятьдесят копеек.

— Н-да,— сказал Гаврилов из своего угла,— капитал хороший. Только бы бог помог.

— Дай-то господи! Капитал отличный. Вот бы Марфа моя Степановна обрадовалась!

— Н-да. Возымели бы мы с тобой хорошую копеечку...

Сильным сопением Пушных напомнил собеседникам о своем существовании.

— Ишь сопит, свинья! — с презрением сказал Чепурников.— А ведь и ему придется дать.

И через полминуты он добавил с закипающей досадой:

— Спрашивается: с какой стати?

Опять тишина.

— Гаврилов, а Гаврилов!

— Что?

— А вы верно знаете, сколько с ним золота?

— Верно. По этому самому расчету они уж и раздуванили в тайге. Черкес с Мандрыковым за себя весь песок взяли!

— Гм... Жалко!

— Что тебе жалко?

— Маловато выходит.

— Что так?

— Да так, не хватает мне мало-мало по моим расчетам. Еще бы мне тысячки хоть три, я бы на Горе у вдовы у Мятусовой домик купил. Славный домик, с огородом и с мензелинчиком. А теперь придется у Степанова купить. Тоже домик ничего, а нет того виду... Тот на господскую ногу... Я ведь службу-то брошу...

— Бросишь?

— Ну ее! С капиталом какая надобность? Теперь я перед каждым офицером тянусь, а тогда он у меня, офицер, на чашку кофею будет зван. Так, ай нет?

— Пустое! — сказал писарь решительно.

— Как пустое?

— Так, суета, честолюбие одно,— подтвердил Гаврилов философски.— Думаешь, хорошо: станешь ты по этой причине форсить, нос кверху драть? Нет, брат, хорошего тут мало...

Я насторожил уши. Писарь говорил тихо, и голос у него мне показался чрезвычайно приятным. Я устал от холодного, угрюмого пути и от этих жестких, наивно-

грабительских разговоров. Мне показалось, что я наконец услышу человеческое слово. Мне вспомнились большие глаза Гаврилова, и в их выражении теперь чудилась мне человеческая мечта о счастии...

— Вот ты как разговариваешь,— сказал несколько озадаченный Чепурников.— Ну, а ты что станешь делать?

— Я?.. Мне бы привел господь, я бы женился.

— А ты разве не женатый?

Гаврилов сделал на своей постели нетерпеливое движение.

— Ты знаешь ли,— спросил он резко,— почем в нашей стороне пуд хлеба?

— Пожалуй, не рупь ли с полтиной...

— То-то. Так неужто же при наших достатках жениться?

— А ты бы другого места поискал.

— Бывал и в других местах. Не фартит. На приисках служил и спирт нашивал... Только и нажил, что ломоту в ногах. Нет, по нашему месту надо совсем бессовестному человеку быть, тогда станешь богат...

— А невеста есть?

Гаврилов молчал. Слабый огонек его цигарки как-то задумчиво вспыхивал и угасал за перегородкой. Писарь курил и мечтал.

— Поглядываю тут на одну. Да что! Я беден, она и того беднее. Так и не говорил ей ни разу... Другое бы дело, кабы бог помог... Уехали бы мы с ней из этого гиблого места, зажили бы себе тихонько, свое бы дельце завели.

— Какое бы ты дело стал заводить?

— Я-то?

— Да.

Опять Гаврилов замолчал, как будто не решаясь посвятить Чепурникова во святая святых своих мечтаний.

— Кабак в своем месте открыл бы,— сказал он.— Чего лучше? Спокой!.. А народ у нас к вину наваженный...

III

Огонь в печке угасал. Как это часто случается после сильной усталости, я спал плохо. Забываясь вполовину, я терял минутами сознание времени, но вместе с тем

ясно слышал порывы ветра, налетавшего с ленской стороны, слышал, как он шипит снаружи у стен и сыплет снегом в окна.

Вдруг с одним из этих порывов до меня долетел слабый звон колокольчика. Звук этот чуть коснулся слуха и тотчас же потонул в шипении метели. Но через минуту он повторился, опять исчез и потом зазвенел яснее, дольше, с короткими перерывами. Чуткий Гаврилов поднялся за перегородкой, зажег свечу и кинул несколько поленьев в печку.

— Ох-хо-хо! — зевнул он и перекрестил при этом рот.— Господи-владыко, царица моя небесная!.. Кого еще бог дает, уж не почтмейстер ли? Едет что-то шибко... Простого пассажира этак не повезут...

Дверь отворилась. Староста в дохе и теплой шапке появился на пороге с ручным фонарем.

— Проезжающий, Степан Гаврилович! Слышите, что ль?

— Слышу. Пожалуй, не почтмейстер ли из Киренска. Торопи ямщиков на всякий случай. Чтоб без задержки.

— Выкатили. Лошадей хомутают.

— Чтобы живо!

— Единым духом...— И голова старосты исчезла за дверью.

— А?.. Что тут такое? — встрепенулся вдруг Чепурников и сел на полу, тревожно бегая по комнате глазами.

— Ничего. Проезжающие.

— Черкес?

— Какой тебе черкес... Спи-ложись.

Чепурников упал на подушку. Он спрашивал сквозь сон.

Стук копыт и звон колокольчика стихли у ворот.

Слышно было, как ямщики торопливо выпрягают лошадей, побрякивая снимаемым колокольчиком, и еще по временам доносился со двора чей-то резкий, повелительный голос.

Заслышав этот голос, Гаврилов вдруг насторожился и стоял несколько секунд удивленный и неподвижный, с полуоткрытою станционною книгой в руках. Вдруг на лестнице послышались шаги; Гаврилов вздрогнул.

Дверь отворилась, староста просунул голову и сказал:

— Черкес это приехал.

Писарь побледнел и как-то метнулся к Чепурникову, но тот уже вскочил как ужаленный, сел на стул и протирал глаза:

— А, что? Где черкес? Да вставайте же вы, лежебоки!..

Хотя он говорил во множественном числе, но восклицание относилось к одному Пушных, лежавшему на полу у его ног. Несмотря на вежливую форму обращения на «вы», он толкнул грузного унтер-офицера так сильно, что тот сразу обнаружил признаки жизни. Он замычал, встал на четвереньки и стал тихо подниматься, точно на спине его лежала громадная тяжесть. Писарь суетился, зажигал зачем-то стеариновую свечку на столике у зеркала. Чепурников шарил по стульям, разыскивал под платьем оружие... Вообще, за минуту перед тем спавшая в безмолвии и темноте станционная комната теперь ожила и была полна движения.

А на все это движение смотрел с порога высокий стройный человек, в котором с первого взгляда можно было узнать так страстно ожидаемого и все же так неожиданно нагрянувшего черкеса.

IV

Я видел, как он вошел. Едва только староста успел отойти от двери, как она опять отворилась, и черкес, беспечно держась за ручку, занес ногу на порог. Из темных сеней его фигура выступила с отчетливою резкостью. Это был старик лет пятидесяти пяти, с сухим и жестким лицом, гладко обритым. По лицу он напоминал скорее немца, но рыжая черкеска, подбитая мехом, и затем вся фигура с крутою грудью, тонким станом и упругими движениями, обличали ссыльного горца. Он был перетянут тонким кожаным поясом, на котором спереди, наискось, висел красивый кинжал, сзади револьвер в кожаном чехле и, наконец, толстый шнурок, очевидно тоже от револьвера, терялся в кармане.

Свет ударил ему в глаза: он прижмурился, как кошка, и, увидев форменные шинели, мгновенно отшатнулся. Я заметил, как выражение вражды и частию испуга промелькнуло в его черных глазах, странно загоревшихся под седыми бровями. Мне казалось, что я уловил также оттенок печали, который можно заметить в глазах травленого зверя, внезапно попавшего

в засаду. Затем он как-то инстинктивно выпрямился, быстрым и привычным движением тронул ручку кинжала и еще раз оглянул всю комнату, останáвливая на каждом из нас мгновенный взгляд, острый, ясный и испытующий. Все это продолжалось две-три секунды. Затем он шагнул в комнату.

— Здрастуйте! — сказал он спокойным тоном, которому отчасти противоречили все еще беспокойно бегавшие взгляды.

— А, что такое?.. Да, здравствуйте, здравствуйте,— растерянно ответил Чепурников и, наклонившись к равнодушно усевшемуся на стуле Пушных, прошипел:

— Куда вы девали револьверы... скоты вы этакие?..

— Чего лаешься? — громко ответил Пушных.— Что с твоими револьверами сделается?.. В повозке.

Все как-то примолкли после этого ответа. Гаврилов кинул на обоих солдат укоризненный взгляд и покачал головой.

— Пожалуйте вашу подорожную,— обратился он к черкесу, стараясь своею развязностью покрыть неловкость. Глаза у черкеса вспыхнули, как у тигра, заметившего опасность; он вынул из кармана свернутую бумагу и кинул ее на стол.

— Зачем кидать... можно подать, я думаю,— обиженно сказал Гаврилов.

Черкес не обратил внимания на это замечание. Он держался чутко, настороже. Острый взгляд его опять быстро обежал всех находившихся в комнате, и вдруг я почувствовал его на себе. Глаза наши встретились. Он рассмотрел мое лицо, мое платье, мой чемодан, стоявший у дивана, опять взглянул на солдат и составил свое заключение; потом он быстро придвинул стул и сел недалеко от меня, полуобернувшись ко мне спиной, лицом к остальным.

Гаврилов раскрыл книгу, но, видимо, не торопился записывать подорожную. Он опрокидывался на спинку стула, то и дело заглядывая из-за своей перегородки в станционную комнату. Порой он делал Пушных какие-то знаки, от которых на жирном лице грузного унтер-офицера проступали явственные признаки изумления. Черкес холодно смотрел на эти маневры и играл рукояткой кинжала.

Между тем сконфуженность Чепурникова прошла, и юркий унтер-офицер, видимо, подыскивал план. Он сел на край стула, опершись об угол стола, в позе, обли-

чавшей готовность воспользоваться благоприятною минутой. Но черкес сидел против него на расстоянии комнаты, зоркий, чуткий и напряженный. Тогда Чепурников посмотрел на меня умоляющим взглядом. Я понял: если б я быстро вскочил, то, пожалуй, мог бы схватить черкеса сзади. Во всяком случае, я мог бы всяким своим движением произвести опасную для осажденного диверсию, которою Чепурников не преминул бы воспользоваться.

Чтобы выяснить свою роль, я слегка шевельнулся. Черкес вздрогнул, взглянул на меня через плечо, и его внимание, видимо, раздвоилось между мной и Чепурниковым. Но я заложил руки за голову, приняв позу наблюдателя. Чепурников с очевидною горестью убедился, что я бесповоротно занял нейтральное положение.

Черкес поправился на стуле и спросил насмешливо, обращаясь прямо к Чепурникову:

— Далече едешь?

— До Якутска. А вы?

— Мы не далече.

— А откуда, дозвольте, к примеру, узнать?

— Мы? Из Олекмы.

— Та-ак. А как там насчет, например, пути. По Лене на санях ездиют ли?

— А как же... Очень ездиют. Мы и сам до Качуг в своем возке ехал. Мы думал — всюду санной дорога. А здесь нет санной дорога. Знал бы, не ехал бы. Плохо. А ты слушай, друг! — обратился он к писарю.— Ты пиши резво. Лошади готовы, у тебэ не готово...

— Ох-хо-хо-о! — потянулся Чепурников с какою-то неестественною беспечностью.— Пойти и нам собираться. Ну-ко, Пушных, пойдем-ко-те, что я вам скажу.

Пушных посмотрел на товарища с удивлением. Очевидно, его еще не посвятили в дело. Чепурников двинулся было к дверям, но черкес, вдруг выпрямившись, точно стальная пружина, слегка отодвинул его локтем, и от этого движения юркая небольшая фигурка унтер-офицера очутилась в углу у перегородки, а черкес стал рядом. Все это было сделано так легко и незаметно, что когда он сказал Чепурникову: «Погоди, друг, вместе ходим», то эта фраза казалась действительно дружеским приглашением. Глаза Чепурникова забегали по всей фигуре черкеса, однако он остался у перегородки.

— Давай! — сказал черкес писарю, протягивая руку за подорожной.

— Не записано еще.

— Давай, говорю! После кончаешь!

Он быстро взял со стола бумагу. Я невольно залюбовался им: его лицо было теперь повелительно и строго, а движения напоминали красивые и грозные повадки тигра. Теперь все здесь уже понимали друг друга, за исключением, конечно, одного Пушных. Черкес был в комнате один, и в случае свалки против него были бы трое: грузный унтер-офицер, без сомнения, принял бы немедленно участие в битве. Успех легко мог склониться на сторону нападающих, но первый шаг был самый страшный...

— Теперь хочешь, так ходим вместе,— сказал черкес Чепурникову.— Погоди! Хочешь у меня возок покупать — покупай.

Чепурников быстро согласился, видимо обрадованный новою проволочкою.

— Где он у тебя?

— В Качуге, записку тебэ даю. Знакомому человек...

— Дорого продаешь?

— Тридцать рубля. Кожаный верх. Пятьдесят стоит. Бери!

Торгуясь, черкес кидал жадные взгляды на чайник. Он ехал без остановок и здесь, быть может, рассчитывал отдохнуть и напиться чаю. С последними словами он быстро подошел к столу, налил стакан из остывшего чайника и, повернувшись спиной ко мне и Пушных, жадно выпил холодный чай одним глотком, не спуская глаз с жандарма. Глаза Чепурникова сверкали, лицо было красно и потно. Он готов был кинуться на черкеса, но упустил удобное мгновение. Когда он рванулся к столу, черкес уже стоял в небрежной позе, с рукой у пояса.

— Давай, что ли, записку,— сказал Чепурников глухо, чтобы чем-нибудь объяснить свое порывистое движение.

Черкес вынул записную книжечку, набросал в ней несколько слов и вырвал листок: все это он сделал одною рукой, стоя у стола и не теряя из виду покупателя. Его брови были сдвинуты, сухое лицо побледнело. Видно было, что напряжение этих минут не проходит ему даром. Чепурников был взволнован еще сильнее.

— Бери! — кинул черкес записку.— Деньги отдашь в Качуге.

— Хорошо.

— Идем вместе!

Они вышли рядом, плечо к плечу. Черкес шел легко, как кошка, слегка приподымаясь на носках, стройный, гибкий и напряженный. Чепурников рядом с ним казался маленьким и неуклюжим, но во всей фигуре унтер-офицера виднелись упрямство и злая решимость.

Гаврилов, с расширенными зрачками и почти задыхающийся, кинулся к Пушных и начал его тормошить.

— Что ж вы сидите? Эх вы! А еще унтер-офицер. Ступайте живее!

Пушных поднялся и покорно, вяло пошел из комнаты.

Я тоже накинул пальто, надел валенки и выбежал на крыльцо.

Метель стихла, но снег шел густо, и тройка лошадей у крыльца виднелась точно сквозь сетку. Ямщик только что взобрался на козлы. В открытой перекладной сидела какая-то темная фигура. Еще две фигуры подошли к повозке.

— Ну, прощай, друг. Езжай сам здоров! — сказал черкес, и в голосе таежного коршуна послышалась насмешка.

— Прощай,— глухо отвечал Чепурников.

Я видел, как они подали друг другу руки.

— Прощай, но... прощай! — повторил черкес, и при вторичном прощании в голосе пробилось уже беспокойство: унтер-офицер не выпускал его руки из своей.

— Играешь, что ли?.. Смотри, не надо! — резко проронил черкес, и затем несколько сухих звуков на непонятном языке полетели в повозку.

В глубине крытого возка послышалось движение.

— Иг-раю,— еще глуше и с усилием ответил Чепурников, точно у него сдавило горло.— Давай, послушай... поборемся... кто сильнее? право, ей-богу...

Я понимал настроение Чепурникова. Он не решался кинуться один на опасного противника, но и не в силах был глядеть равнодушно, как он сядет и уедет, увозя с собой все только что расцветшие надежды...

Началась возня... несколько коротких секунд... Чепурников упал на землю, а черкес вскочил в повозку.

— Пшо-о-ол! — крикнул он дико и пронзительно. Испуганные лошади взяли с места, телега загрохотала по колеям и исчезла в снежном сумраке; только несколь-

ко раз еще донеслись до нас из темноты взвизгивания черкеса: пшо-о-ол, пшо-о-ол!.. Казалось, это были крики возбужденного, опьяневшего человека.

Мы кинулись к Чепурникову.

— Что с вами? — спросил я у него.

— Ничего, ничего... Ка-ак он меня толкнул, дьявол,— сказал он, подымаясь,— и понять не могу!.. Ну и вы все... Не могли его сзади тогда... Эх!

Он говорил трудно, точно что-то сдавливало его горло.

Из ямщицкой выбегали ямщики, которых позвал Гаврилов, но было уже поздно: удаляющийся звон колокольчика слышался как-то тупо, приглушаемый густо падавшим снегом, только дикие взвизгивания черкеса прорезали еще несколько раз ночной воздух, точно резкие крики ночной птицы.

Эти звуки, полные дикого возбуждения, надолго остались у меня в памяти, и впоследствии не раз, когда я с стесненным сердцем смотрел на угрюмые приленские виды, на этот горизонт, охваченный горами, по крутым склонам которых теснятся леса, торчат скалы и туманы выползают из ущелий,— мне всегда казалось, что этот дикий крик хищника носится в воздухе над печальною и мрачною страной.

— Фью-ю-ю! — свистнул Гаврилов и махнул рукой.— Теперь катит-заливается — до Иркутского никто уж не остановит. А там...

— Да хоть и остановил бы, нам какой барыш!..

— Нет, не остановят. Никто и не знает. Кончен бал! Эх, господа, служба-а! — прибавил он с глубокой укоризной, и его черные глаза долго не могли оторваться от снежной мглы, в которой вместе со звуками колокольчика утопали недавние его мечты о женитьбе и о спокойной жизни.

V

Повозка, проданная нам черкесом, несколько утешила Чепурникова. Это был превосходный возок, крытый кожей, просторный и даже со стеклянными дверцами... Черкес, продав его за тридцать рублей, заплатил нам дорогую цену за один стакан холодного чаю.

На следующую же ночь, выехав из Качуга, мы могли улечься довольно удобно втроем, а так как по Лене действительно установилась уже санная дорога, то мы не

тряслись по ухабам и не особенно страдали от беспечного эгоизма Пушных.

Для одного Чепурникова возок имел особого рода неудобство. Он слишком растравлял его воспоминание о неудаче и не позволял ему думать ни о чем другом.

Следующею же ночью я крепко заснул под скрип полозьев, как вдруг меня разбудила странная возня. С трудом высвободившись из-под барахтавшихся в возке моих провожатых и прижавшись в угол, я зажег спичку. Чепурников пыхтел и отчаянно тормошил Пушных, который, по обыкновению, только мычал, не давая себе отчета в том, что с ним происходит.

— Что вы делаете, Чепурников,— окликнул я, хватая унтер-офицера за руку. Но он уже очнулся.

— С нами крестная сила!..— сказал он, крестясь и с изумлением взглядывая на товарища.

Спичка погасла. Чепурников сел на свое место.

— Фу ты, наваждение! — сказал он сконфуженно.

— Ты это... как могешь драться, а? — спросил Пушных несколько гнусавым и обиженным голосом.

— А, ну вас! Все этот черкес — даже во сне снится, проклятый...

Но, помолчав с минуту, Чепурников вдруг прибавил со злостью:

— А вы думаете, я вам из экономии-то дам сколько-нибудь? Ничего не дам, вот! Будь у меня настоящий товарищ, мы бы теперь оба людьми стали.

Утром, уже подъезжая к станции, я проснулся опять. Чепурников не спал и глядел в окно возка, которое он опустил до половины. Увидев, что я открыл глаза, он сказал, по-видимому выражая вслух продолжение своих мыслей:

— Нет! Невозможно было. Это надо жизни своей решиться... Бог с ним и с капиталом... Подошел я тогда к повозке, а там у него баба сидит на рундучке. Поверите, и у той револьверы да кинжалы, вся, как пушка, иззаряжена... Глядит оттуда, точно сова... Ну и народец!..

Я выглянул наружу. Снег продолжал валить хлопьями, в воздухе белело. За горами занималась уже, вероятно, заря, но сюда, в глубокую теснину, свет чуть-чуть преломился, и темнота становилась молочной. Возок покачивался, ныряя в этом снежном море, и трудно было бы представить себе, что мы действительно подвигаемся вперед, если бы сквозь мглу не проступали

призрачные вершины высокого берегового хребта, тихо уплывавшего назад и развертывавшего перед глазами все новые и новые очертания...

А снег все валил, покрывая землю, и на сердце все больше налегала тоска. Ряды невеселых мыслей развертывались в воображении, как ряды этих сумрачных сопок...

1888

ДВЕ КАРТИНЫ

Размышления литератора

I

Иродов придел Иерусалимского храма спускается уступами широкой лестницы. Косой луч солнца падает слева, играя густым желтоватым светом на порфировых колоннах, на каменной стене, на темной зелени кипарисов. Свет лег на массивные камни с той ясной и тяжеловатой мягкостью, которая свойственна спадающему, но все еще томительному зною или неустановившемуся жаркому дню, а густые тени залегли глубокими пятнами, в которых ютится прохлада. Между колоннами, на лестнице виднеются фигуры. Какого-то старца раввина с почетом провожает другой. Нищие в равнодушных позах уселись на уступах. Спокойствие только что отошедшей молитвы чувствуется на широкой площадке придела.

Тихим миром отмечена и левая половина переднего плана картины. В затененном пространстве уселись вокруг Христа задумчивые, спокойные люди; это ученики его и слушатели, которые с душевным удовлетворением ловят слова учителя. О чем говорил он в этот тихий час? Небо синеет, лиловые тени от величавых кипарисов легли на высокие стены, и кажется невольно, что речи Христа, спокойные, величавые и ясные, как эта природа, подымают души слушателей на высоту примиряющей мысли, дают величавые схемы, разрешают житейские противоречия.

С первого взгляда на картину вы как будто не замечаете ее главной фигуры — другие (о которых дальше) выступают с большею резкостью. Но это только кажется.

В сущности, даже рассматривая прежде другие фигуры, вы уже испытываете какое-то неопределенное беспокойство: что это за человек сидит на камне, освещенный солнцем? Неужели это... Христос?

Да, это он, убеждаетесь вы с чувством, похожим на разочарование. Этот человек — именно *человек* — сильный, мускулистый, с крепким загаром странствующего восточного проповедника... Ничего тонкого, полувоздушного, неземного, никакого сияния и как бы полета, которое мы привыкли соединять с представлением об этом образе. И невольно в первые мгновения острое ощущение недовольства всплывает среди остальных впечатлений.

Но, в сущности, это только неожиданное ощущение внезапного противоречия с крепко установившимися преданиями. Чем больше вы вглядываетесь в эту замечательную фигуру, с ее физической крепостью, вместо аскетической полувоздушности, с ее небрежно упавшей на колено рукой, со всей этой незамечаемой им самим усталостью утружденного, но сильного человека, и главное — с этим замечательным выражением лица,— тем больше первоначальное чувство заменяется удивлением, уважением, любовью.

Да, именно любовью. Мы способны любить больше то, что нам больше понятно и доступно. Все эти образы с сиянием и воздушной прозрачностью слишком отвлечены и схематичны для того, чтобы заставить биться наше сердце, состоящее из тела и кипящее кровью. Они скорее говорят о *долге* любви, чем возбуждают живую любовь. Здесь же высокий образ является в настоящей плоти; эта высота пробивается наружу из-за настоящей телесной оболочки, и мы ее понимаем, и навстречу ей пробивается из нашей груди сочувственный отзыв.

В этом образе я вижу замечательный успех художественного реализма и думаю, что религиозное чувство тоже не может быть оскорблено подобным приемом. Христа не признало большинство, его распяли. Но если бы он являлся в толпе постоянно окруженный сиянием, постоянно так не похожий на человека, то кто же мог бы его не признать? Да, среди людей это был человек, и в нем светился только внутренний свет, видимый чистому, искавшему истины взгляду.

Однако художнику легко впасть в другую крайность — крайность реакции против традиционных изображений... Христос был странствующий проповед-

ник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и пил. Художник и изобразил нам человека с чрезвычайной правдивостью. Это реально. Но не надо забывать, что реализм есть лишь выработанное нашим временем *условие* художественности, а не сама художественность. Поэтому, если бы (допустим) художнику удалось какими бы то ни было средствами воссоздать с фотографической точностью каждую черту этой фигуры и он дал бы нам Христа обыкновенным человеком в момент обеда, сна или незначительного разговора,— это было бы хотя и реально, но грубо и не художественно. Тут *условие* превратилось бы в *цель,* это был бы уже не художественный реализм, под которым нужно разуметь «художественное обобщение в реальных условиях»,— но одни реальные условия, без всякого художественного обобщения, натурализм приниженный и плоский, довлеющий себе и собою довольный...

В человеке, как Христос, в котором миллионы признали бога,— существенно не то, что и он пил и ел, как другие. Художник обязан выбрать такой момент из его жизни, где самая характерная черта его личности сияла бы сквозь реальную оболочку (потому что ведь и она тоже — реальный факт). Его распяли и глумились над ним, как над человеком. Но он зажег в сердцах людей, бедняков и богачей, начальников и рыбаков тот священный огонь, который был в нем самом. Тот не художник, кто не покажет нам этого огня в Христе-человеке.

Поленов художник. Вглядитесь в лицо Христа на его картине, и оно надолго останется в вашей памяти. Однако, чтобы уяснить себе выражение этого лица, мы должны обратиться к другой половине картины.

В мирную возвышенную беседу в затененном углу врывается шумная, пестрая, дикая и страстная «улица». Толпа влечет на суд к Иисусу молодую блудницу. Она бедно одета, молода, красива и испуганна. В ужасе она упирается, не зная, что ждет ее со стороны человека, к которому ее толкают. Страсть толпы, ворвавшейся из-за угла с воплями и шумом,— это старая страсть, развившаяся и крепко пустившая корни на почве старого закона. Моисей сказал, что блудницу надо побить камнями. На этом воспитались поколения и воспитываются новые. Между фактом преступления и формулой закона никогда не становилась критика. Поэтому слепая и не-

умолимая вражда вспыхивает со всей силой непосредственности, и даже в руки детей она вложила камни, а в глаза огоньки зверства. Но почему же ее ведут именно к Иисусу, и если ее ведут к нему на суд, то зачем это зверство, уже заранее осудившее молодую грешницу? На этот вопрос отвечают нам выступившие вперед к Иисусу две фигуры.

Это два старые раввина. Один (седой) весь охвачен жаром фанатизма, другой (рыжий) смотрит на Христа с холодным ехидством. Оба они знают, что в Иерусалиме есть новый учитель, колеблющий основы старого закона, признанный уже многими и провозглашающий учение милосердия. Так пусть же скажет он со своим новым словом, как применить его к этому случаю, относительно которого постановление Моисея непререкаемо: «В законѣ нам повелі Моисей таковыя каменіем побити: ты же что глаголеши? Сіе же реша, искушающе его, да быша имѣли что глаголати нань» (Иоанна, гл. VIII, 5).

В исступленной фигуре седого раввина, несмотря на всю ее суровость, много искренности и одушевления. Учение, осуждавшее целые народы на поголовное истребление и считавшее милосердие в таких случаях преступлением против бога, должно было выработать такие суровые натуры. Но есть в этой фигуре что-то, вызывающее если не сочувствие, то некоторое оправдание и, пожалуй, уважение. Савл тоже гнал Христа и, быть может, испытывал при этом то же, что испытывает седой раввин. Новое учение встает против его веры, стремится пошатнуть ее, и он с яростью кидает к ногам Христа выхваченный из жизни факт: «Возьми его, примерь на нем твое учение и скажи, богохулец, что наш Моисей не прав». Он верит, и потому каждый удар Христа, нанесенный его вере, отзывается болью в его сердце, и эта боль говорит ему, вопреки его воле и сознанию,— о силе нового учения. Быть может, даже в его душе слышится уже отголосок призыва: «Почто мя гониши?» — и этот смутный призыв пока только раздувает пламя его любви к старому и гнева против нового.

Не таков его рыжий товарищ. Несколько вытянув шею, он смотрит на Христа прищуренными, холодными глазами. Это полный контраст с искренним воодушевлением первого. Это, вероятно, саддукей. Ему нет дела до Моисеева закона, до той искры истины, которую приютил в своем сердце седой фанатик. Все это одни глупости. «Было семь братьев, все умерли поочередно, и к

каждому переходила, по закону Моисея, оставшаяся в живых жена старшего брата. Кому же достанется она на том свете? Какой кавардак подымут на небе эти братья? Не ясно ли, что им лучше совсем не подыматься из могил и что в законе старика Моисея напрасно было бы разыскивать здравого смысла». Истинно одно: существует храм, существует все еще сильная машина обрядового культа, от которой кормятся умные люди. Машина эта позаржавела, скрипит — это правда. Но она достаточно сильна еще, чтобы искрошить всякого вредного человека, который, гоняясь за утопиями, подымается против факта во имя истины. Истина для этого человека не существует, и потому сознание силы нового проповедника ему недоступно. Он, быть может, тоже провидит будущее, как и его собрат. Но они смотрят не одинаковыми глазами: в то время как в сердце старого фанатика встает смутное предчувствие торжества новой идеи и он дрожит и пламенеет от гнева — саддукей видит распятого и опозоренного человека и потому только смеется. «Сіе же рѣша, да быша имѣли что глаголати нань». Этот смертный грех шпионского искушения не ради истины, а для преследования за нее, всецело принадлежит рыжему, потому что он совершает его с холодной злобой и с холодным расчетом.

Теперь — налицо уже все элементы картины. Соберем их в одно целое, и тогда значение центральной фигуры Христа выступит с полной ясностью.

Левая сторона — новый мир, правая — старый. В этот уголок, где только что звучали слова новой истины, старый мир врывается с частным фактом. Факт этот весь состоит из спутанной смеси греха, страдания, злобного гнева, исступления. Это одно из бесчисленного множества житейских противоречий, вдвигавшихся без сомнения в ум и совесть тогдашнего человека мучительным вопросом. В толпе царит старая страсть, взращенная старым законом, но уже то, что толпа несет эту страсть ко Иисусу, многознаменательно и характерно. «Указания Моисея ясны, что скажешь ты? Зачем ты тревожишь нашу совесть, зачем не даешь нашим страстям изливаться установленным, хотя, быть может, и бесчеловечным порядком?»

На левой стороне нет уже и признака этой страсти. Она вся вытравлена в сердцах тех, кто слышал великие слова любви. Однако даже тогда, когда общие положения нового учения усвоены,— нужен еще долгий опыт

мысли и чувства, чтобы каждый раз безошибочно прикинуть частный факт к началам общей правды. Поэтому на левой стороне господствующее настроение — вдумчивое ожидание. Ученики раньше Христа увидели эту толпу, ворвавшуюся из-за угла, их взгляды устремлены на грешницу: «Несчастная... закон Моисея ясен... но что скажет Христос?»

Блудницу еще не довели до того места, где ее нужно поставить перед Христом; в толпе продолжается движение, мальчишки не остановились еще на бегу; покой и движение фигур на ступенях и площадке храма еще не успели измениться от прибытия этой толпы. Таким образом, ясно, что мы имеем дело с первыми мгновениями известного евангельского эпизода. На лице Христа еще не исчез отпечаток общей, отвлеченной, возвышенной формулы, залегающей во всех его чертах. Он еще не вполне спустился с высоты, еще не отдал себе полного отчета во всех подробностях предстоящего частного факта человеческого гнева и страдания; но этот факт уже зовет его к себе, требуя разрешения. В этом весь психологический драматизм фигуры Христа-человека, который подымает его над толпой и неизгладимо запечатлевает в памяти зрителя... Старый мир беснуется, враждует и страдает. Новый — обращается к Христу с встревоженным упованием. А он, еще не зная подробностей, уже переносит свой мечтательный взгляд от неба на грешную землю, которая зовет его воплями злобы и боли. И взгляд Христа исполнен уверенности; это — точка, вокруг которой должен повернуться умственный и душевный хаос старого мира. Чего хотят от него эти беснующиеся люди?.. Он едва расслышал вопрос, едва охватил первым взглядом пеструю толпу — и уже в душе его подымается милосердие к грешнице, и он знает, что *его истина* тотчас же даст логическое выражение его чувству, что луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства. Между общей формулой и частным фактом не может быть противоречий, и потому он обращается к этому факту, чтобы навеки приобщить его к целому своего учения... И уже готовы слова, которые будут говорить векам:

— Кто из вас без греха — пусть бросит первый камень...

II

Если вы уже раз побывали на выставке и знаете о картине Сурикова, то, вероятно, и вас она позовет к себе непосредственно от картины Поленова.

Так было со мной, и, как я наблюдал, то же случилось со многими другими. Эти две картины связаны некоторым силлогизмом. Обе они очень велики и по размерам, и по сюжету, но манеры художников совершенно различны. При переходе от Поленова к Сурикову зритель испытывает ощущение эстетического контраста. Хочется найти причину этого контраста в том, что кто-нибудь из двух взял фальшивый аккорд. «Которая картина нравится больше?» Кажется, что обе вместе нравиться не могут. «Помилуйте, что это такое? Лиловые тени, смягченный свет, эффекты. Вот где реальная действительность — в суровой кисти Сурикова!» — «Ну нет. Что такое Суриков? Серое небо, бедные краски, бедный рисунок, отсутствие гармонии. Поленов — это гармония». Признаюсь, только после некоторого усилия первой минуты, только после того, как меня охватило вполне впечатление сюжета, я понял, что манеры художников соответствуют их темам и не подлежат сравнению.

Серое небо, маленькие домики деревянной Москвы XVII века, бедный и сурово выписанный пейзаж.

С переднего плана две борозды пролегли в рыхлом глубоком снегу. Полозья розвальных саней проложили эти следы; розвальни наклонились на ухабе и ползут дальше. Плохая кляча равнодушно тянет их, а плохой лядащий мужичонко с худым золотушного типа лицом погоняет ее, замахиваясь вожжами, и смеется. На розвальнях, за спиной мужика, лицом к зрителям сидит боярыня Морозова, закованная в цепи. Московская толпа стоит на улице, теснится, напирает; другая, богато одетая боярыня идет рядом с санями и плачет. Лядащему мужичонку есть отчего смеяться; никогда еще не было ему такого почета: в его поганых санишках сидит именитая боярыня, и царские алебардщики расталкивают перед ним толпу, расчищая для боярыни дорогу... в застенок.

Фигура боярыни служит центром картины. Темная, суровая — она вся горит внутренним огнем, но это огонь, который только сжигает, а не светит. Изможденное, когда-то красивое лицо, впалые глаза, полуоткрытый кри-

ком рот, и во всех чертах — сильно отмеченное ударом суровой кисти, несложное выражение фанатизма. Мрачная, ужасающая уверенность возникает в душе при взгляде на эту фигуру. Да, она не сдастся, не уступит, и жестокое дело совершится до конца. Она готова на лютую смерть. Она подняла руку, отягченную цепями, и показывает толпе, за что она умирает, за что зовет умирать других. Это — двуперстное сложение.

Могучая фигура строптивой боярыни в одно и то же время приковывает внимание и возбуждает смутную тревогу.

Она так бесстрашно идет на муку и этим будит невольное сочувствие. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что он считает истиной. Такие примеры пробуждают веру в человеческую природу, подымают душу. В этом невольном сочувствии первая основа душевного настроения зрителя. Но это смутное чувство стремится тотчас же к своему логическому завершению в сознании. «За что умирает эта боярыня, к чему она призывает?» Перед ней, несомненно, маячит какой-то свет. Так где же он, и свет ли это, или только блудящий огонь над трясиной? Боярыня подымает два перста — символ своей идеи...

И только... какая убогая, бедная мысль для такого подвига. И чувство зрителя не находит логического завершения. Господствующее ощущение — разлад, дисгармония...

Тот же мотив заметен в изображенной на картине московской толпе. Художник проявил в изображении этой толпы замечательную силу: кажется, будто вихрь пробежал по ней; ни одно лицо не осталось не измененным, соответственно с основным мотивом. Вот мальчишка бежит за санями и дует на озябшие пальцы. Его лица не видно, но легко представить его выражение: он не знает, отчего ему больно — оттого ли, что пальцы озябли, или жаль эту суровую женщину. Вон юноша с широко открытыми, испуганными глазами. Молодые женщины, боярыни, посадские девушки, черничка... На этих мягких женских и детских лицах всего сильнее отразился основной душевный мотив. В них боярыня сильнее всего колыхнула острое сожаление к страданию и испуг молодой жизни перед мрачным подвигом смерти.

Но это только общий мотив, заложенный в каждое сердце и шевельнувшийся стихийно, как колышется стоячий пруд от упавшего камня. Только мысль закреп-

ляет душевное движение, делает его способным к развитию и творческой работе. Поэтому, когда толпа разойдется по домам, эти молодые женщины и девушки будут временами вспоминать в своих светелках о женщине, которую провезли на дыбу. Глаза их опять потемнеют и расширятся от испуга, сердце забьется тревогой и сожалением, а в душе станет смутный вопрос без ясного ответа. И только.

Мотива, выраженного у Поленова седым раввином, вовсе нет на картине Сурикова. Зато другой раввин — присутствует. Он тоже, как и у Поленова, смеется (только юмористично и весело), и у него тоже нет одного зуба, отчего улыбка оттеняется особенным образом. Это смех торжествующего саддукейства: противница закована и предана позору... Он смеется. При неопределенности настроения толпы, его смех отражается на нескольких лицах из близко стоящих. Они, может быть, плакали бы, если бы кто-нибудь рядом не смеялся, а плакал. Это только круги на поверхности стоячей воды...

Есть и более определенное отношение: юродивый, сидящий на снегу с полуобнаженным телом, с босыми ногами и в веригах, да еще нищенка — напутствуют боярыню на подвиг, подымая руки с двуперстным сложением. Их сочувствие явно, определенно и сильно, и это сочувствие — к смерти. Это те, что еще и в наше время поют:

Несть спасенья в мире, несть,
Лесть одна в нем правит, лесть,
Смерть одна спасти нас может, смерть!

И они, еще «не удостоившиеся», еще живущие, казнят в себе жизнь, как врага, казнят ее веригами, холодом и голодом. Какой-то странник, с котомкой и посохом, смотрит вослед боярыне задумчивым и немного мечтательным взглядом. Он уйдет из Москвы в архангельские скиты, на Иргиз, на Дон и всюду разнесет весть о том, что господь сподобил его видеть смертный подвиг святой боярыни. И слова его загорятся в сердцах, и от них, как от углей великого костра, запылают, быть может, в мрачных лесных трущобах срубы фанатиков-самосожигателей.

И небо висит серое, грустное над мрачной картиной, где только трепетный луч скользит, теряется и пропадает в сумерках.

III

Для каждого положения есть своя идеальная, так сказать, обстановка, в которой оно выступает всего полнее и выпуклее. Конечно, если бы, например, романист вздумал оттенять каждый раз гнев своего героя небесными громами и молниями, то этот прием показался бы нам очень наивным, потому что вероятность таких совпадений имеет свои границы. Тем не менее нельзя не признать факта, что человеческое настроение ищет отражения, своего рода резонатора в природе.

Народный певец взял первые аккорды, и его воображение уже наполнено смутными образами: он слышит и шелест степной травы, и шум леса, и гул моря, и гром, и шепот зеленого явора, у которого вода подмыла корень... И тотчас же из этого бесформенного хаоса выделится основной мотив, который наиболее соответствует его теме... «Боян же, братие, аще кому хотяще песнь творити, растекашеться мыслью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облакы...»

Основной психологический мотив обеих разбираемых нами картин глубоко различен... Тоны их соответствуют основному мотиву. Содержание одной — ясная, полная, замечательно уравновешенная, стало быть, гармоническая идея. Старый мир, мятется, волнуется, страдает; в новом говорит чувство милосердия, которое ждет выражения. В Христе слиты в одно целое и чувство, и мысль, содержание и форма. Присутствие этого всеразрешающего момента кладет свой отпечаток, проникает в душу занятого им художника. Вот откуда этот спокойный свет, эти стройные колонны, эти освещенные камни храма, густо выступающая на свету зелень кипарисов и глубокие определенные тени. От всего пейзажа веет тем возвышающим и успокаивающим впечатлением, которое соответствует сюжету. Да, жизнь, где светит уже эта определенная и гармоническая идея,— возвышенна и хороша. Пусть тень старой вражды врывается еще в душу с этой пестрой толпой, она только подчеркивает значение сознательной мысли Иисуса. Христос принес меч, которым старый мир рассечен на две части. И картина тоже разделена на две части: любовь на одной стороне, вражда на другой. Определенное настроение водило кистью художника: оттого он и выбрал момент, когда свет ложится широко и ярко,

тени густеют. Это момент ясного разделения света и теней, заблуждения и истины, злобы и любви...

Содержание другой картины — диссонанс, противоречие между возвышенным могучим порывом чувства и мелкой, ничтожной и темной идеей. Поэтому встревоженное воображение художника ищет выражения в диссонансах. В то время, как на работе Поленова сказывается вдумчивая уравновешенность, допускающая спокойное сосредоточенное искание гармонии и изящества,— кисть второго сурова, беспокойна и неизящна. Суд обоих художников — во внутреннем соответствии формы и содержания; поэтому я и не думаю сравнивать их талантов. Но в этих двух картинах одна эпоха как бы зовет на суд другую. Почему выражение одной — гармония, почему выражение другой — диссонанс?

Бывают в жизни человечества светлые периоды, когда творческая мысль созревает до своей полноты, покрывает все имеющиеся налицо противоречия. Один из таких периодов изображен на картине Поленова. Теперь в моде нападать на науку, на знание. Мы изверились в силу логической мысли и склонны искать спасения в чувстве, освобожденном от этой обузы. «Апостолы были простые рыбаки, а не ученые». Но мы забываем, что Христос был для своего времени замечательным ученым, что он еще в детстве поражал глубоким проникновением в «учение»... Прочитайте талмуд (начало которого относится почти ко времени Христа), вдумайтесь в его грубые и полные суеверий формы мысли, подумайте также, что талмуд все-таки произведение лучших умов,— и вы поймете, сколько нужно было критической силы, чтобы из-под шлака застывшей веры извлечь новое учение... Всему, что выдвинула тогдашняя критическая мысль, всем наличным противоречиям Христос нашел примирение... Он пережил свой период анализа, то есть критики, то есть разрушающей мысли, прежде чем перейти к созиданию. И все его учение — примирение для целых веков мучительных противоречий. Ощущение этого великого предчувствия гармонии водило кистью Поленова... «На земли мир, в человѣцѣх благоволеніе». Потому что жить в такое время прекрасно и умирать тоже прекрасно...

А картина Сурикова — идейные сумерки, сырой ненастный день, тяжелое небо, сплюснутые купола церквей, безлистые ветви тощих деревьев. Художник прав, задергивая этим флером свое смятенное настроение, но

если когда-нибудь все наличные противоречия и тоска найдут исход, если опять «в человѣцѣх благоволеніе» осенит наш мир,— тогда искусство приблизится к эстетической гармонии, оставаясь в то же время правдивым. Тогда люди посмотрят на картины, вроде этой, и скажут: как это сильно, но... как грустно и некрасиво!.. И это действительно некрасиво, но виноват тут не художник. Он показал нам нашу действительность. Можно ли сказать, что мы уже вышли из этого мрака? Не испытываем ли мы всей этой тоски и разлада, не ищет ли современный человек веры, которая бы возвратила нам спокойствие и осияла для нас внешний мир внутренней гармонией понимания? Веры, которая бы осуществляла любовь и не противоречила истине, знанию?

Перед нами обе картины. Пусть одна говорит нам, что наши ожидания не напрасны, что в жизни человечества уже светила заря полным светом. Но пусть она научит нас также, что главный смысл этой гармонии — в мире между чувством и мыслью, которой так полно проникнут образ поленовского Христа. Выдвинуть целиком все противоречия и найти разрешение — вот путь к целостности существования. Пока, сдавленное в глубине ума, останется хотя одно крупное противоречие, не разрешенное, не примиренное ясной обобщающей мыслью... до тех пор — вот она, яркая, грустная картина дисгармонии и разлада, сумерки чувства и сумерки мысли...

1887

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание сочинений В. Г. Короленко в 5-ти томах представляет читателю основные стороны его творчества. В собрание сочинений включены повести и рассказы, воспоминания о писателях и критические статьи, публицистические работы и исторические очерки, книга автобиографической прозы «История моего современника», написанные в период с 1879 по 1921 гг. Ряд произведений в советское время включается в собрание сочинений впервые: рассказ «Эпизоды из жизни „искателя“», часть публицистических статей — «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др.

Тексты располагаются по жанрово-хронологическому принципу. В 9-томном Полном собрании сочинений Короленко (Пг., 1914), подготовленном самим писателем, принцип размещения материала по томам необычен. Его сформулировал Короленко в письме 1913 г.: «Я разбиваю весь материал на сибирские рассказы, на рассказы из юго-западного края, чисто русские, аллегорические и заграничные» (см.: Динерштейн Е. А. «Фабрикант» читателей А. Ф. Маркс. М., 1986. С. 227). Против этого принципа резко возражал К. И. Чуковский: «Ради бога, не распределяйте материал географически... Разве Вы этнограф, Вы — лирик, не описатель, а писатель; нужно, чтобы в каждом томе было лирическое единство, единство тона и «настроения», а не случайное единство той или иной местности» (см. там же, с. 228).

Короленко все-таки остался верен географическому принципу, хотя полностью выдержать его ему не удалось. Кроме того, в каждый том Короленко включал публицистические статьи, бытовые и исторические очерки, воспоминания о писателях, критические статьи и рецензии. Он объяснял это так: «Я желал не создавать неверного представления, будто я сначала писал одну беллетристику, а потом одну публицистику. Моя работа сразу же пошла двумя путями» (см. там же, с. 227).

После смерти Короленко его дочь, Софья Владимировна, предпринимает попытку издать полное собрание сочинений Короленко более чем в 50-ти томах. Была проделана огромная работа, выпущено 18 томов, но на этом издание прекратилось, так как издательство требовало изъятий дневников и публицистики Короленко после 1917 г.

В 1953—1956 гг. для Государственного издательства художественной литературы С. В. Короленко подготовила собрание сочинений в 10-ти томах, которое стало основой для трех других собраний (1953, 1960, 1971 гг., изданных «Библиотекой „Огонька“»). Гораздо более последовательно, чем сам Короленко, она выдерживала географический принцип распределения материала, однако полностью сохранить его удалось только в первом томе.

При подготовке текстов настоящего издания учтен опыт 10-томного собрания сочинений (М., 1953—1956). Тексты сверены с рукописями и прижизненными изданиями, в них внесены соответствующие уточнения и изменения.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Короленко в восп.— В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.

Полн. посм. собр.— Короленко В. Г. Полное посмертное собрание сочинений. Гос. изд-во Украины, 1923—1925.

ПСС (1914) — Короленко В. Г. Полное собрание сочинений: В 9 т. Пг., 1914.

Собр. соч.— Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1953—1956.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ «ИСКАТЕЛЯ»

Впервые: Слово. 1879. № 7. Подп.: В. К-енко. В дальнейшем не включался автором ни в одно из своих изданий. Вошел только в ПСС (1914) с некоторыми сокращениями и стилистической правкой. Воспоминания о первой публикации рассказа см.: История моего современника. Кн. 2. Ч. 4. Гл. 18; статья «Николай Константинович Михайловский». В письме к матери и сестре 1879 г. В. Г. Короленко, полемизируя со ставшим ему известным из письма брата отрицательным отзывом В. П. Буренина, так характеризовал свое произведение: «...если бы Юлиан, вместо того чтобы спрашивать, хочу ли я, чтобы он прислал отдельный оттиск моей статьи, выслал бы его прямо, то теперь я уже имел бы его и не приходилось бы недоумевать, откуда Буренин выдернул такие выражения, каких у меня вовсе не было. Якуб превращен в лакея, являются какие-то «стихотворения, *смягченные* (?!) цифрами» и т. д., которых совершенно нет в моей статье. Интересно бы знать и другие отзывы, если они есть, хотя, правду сказать, меня интересуют в них не столько отзывы о самой статье, сколько та сторона, которая так безобразно развернулась в рецензии Буренина. Неужели и другие разразятся тем же. Характерно! На это, пожалуй, и стоит ответить, даже нельзя бы не ответить, если найдется для этого ответа приют в какой-нибудь редакции. Вероятно, попробую с будущей почтой. Что касается собственно до статьи, то я сам очень не высокого об ней мнения; меня не очень удивляют преувеличенные отзывы редакции (если их еще и Юлиан не преувеличил); я никогда не считал

редакцию «Слова» особенно компетентными критиками, и ее похвалы не перевесят, конечно, других отзывов (не Буренинских, понятно). Даже то обстоятельство, что гг. Буренины разнюхали в ней нечто, приводящее их в исступление, не поднимет ее в моих глазах. Вообще, Машинка, ты напрасно считаешь это «началом моей литературной карьеры». Не говорю, конечно, что ничего не напишу более. Но «карьеры» тут делать, без сомнения, и не попробую» (Собр. соч. Т. 10. С. 22) [1].

С. 25. *...мою статью о Н. К. Михайловском.*— Имеется в виду ст. «Николай Константинович Михайловский» в ПСС (1914).

«Средь мира дольного...» — Цит. из гл. «Пир на весь мир» поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». В момент выхода рассказа эти стихи еще не были опубликованы. См.: Сухих И. Н. Заметки о Некрасове // Рус. лит. 1978. № 1. С. 284.

С. 73. *...санитарный поезд...*— Действие рассказа относится ко времени русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

С. 77. *«...мучные черви...»* — О кличке «мучные черви», возможно, заимствованной из романа Н. С. Лескова «Некуда» и адресованной девушкам, стремившимся получить высшее специальное образование, см.: Бялый Г. А. В. Г. Короленко. Л., 1983. С. 19—20.

ЧУДНА́Я

Очерк из 80-х годов

Впервые: Прогресс. 1892. 19 февр.— 18 марта. (Нью-Йорк). В России вследствие цензурного запрещения был опубликован: Рус. богатство. 1905. № 9. Под загл.: Командировка.

Позднее Короленко вернулся к первоначальному заглавию рассказа. Был написан в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме и передан на волю через жену Н. Ф. Анненского, содержавшегося в одной камере с Короленко. О том, как создавалось это произведение, см.: Швецов С. П. В. Г. Короленко в Вышнем Волочке // Короленко в восп. С. 45—46. Рассказ в рукописи был прочитан Г. И. Успенским, высоко его оценившим. Этот отзыв стал известен Короленко, и в письме от 16 сент. 1888 г. он благодарил за него и так писал об истории его создания: «Когда-то, еще в Якутской области, я тоже, еще не зная Вас лично,— получил от Вас (хотя и не непосредственно) несколько слов, которые меня очень ободрили. Это был Ваш отзыв о моем рассказе «Чудная», который как-то попал Вам в руки. Я тогда как раз решил, что из моих попыток ничего не выйдет, и хотя писал по временам, повинуясь внутреннему побуждению, но сам не придавал своей работе значения и смотрел на нее как на дилетантские шалости. В это время, через третьи руки, мне пишут, чтоб Глеб Иванович Успенский читал где-то в кружке мою «Чудную» и просит передать автору, чтобы он продолжал. Я по нескольку раз снимал с полки в своей юрте это письмо и перечитывал эти строки, и мое воображение оживлялось» (с. 95—96).

С. 81. *Сдаточный* — сданный в рекруты.

---

[1] Далее при цитировании писем Короленко ссылки на данный источник даются только с указанием страницы.

ЯШКА

Впервые: Слово. 1880. Кн. 2. Под загл.: Временные обитатели подследственного отделения. В последующих изданиях назывался просто «В подследственном отделении» (см., напр.: Короленко В. Г. Очерки и рассказы. М., 1886. Кн. 1). В незначительно сокращенном и исправленном виде под заглавием «Яшка» Короленко помещает рассказ впервые в ПСС (1914). Рассказ написан осенью 1880 г. В нем отразились впечатления Короленко от своего пребывания в тобольской тюрьме (1880, авг.). О том, как создавалось это произведение, Короленко писал в «Истории моего современника» (т. 4, ч. 1).

С. 96. *«Жестокие, сударь, нравы...»* — слова Кулигина из драмы А. Н. Островского «Гроза» (д. 1, явл. 3).

С. 98. *Кеньги* (обл.) — зимняя обувь из меха или войлока.

С. 103. *Кержаки* — уральские старообрядцы, жившие на реке Керженец.

С. 115. *Ярушник* — пирог или хлебец из овсяной или ячневой муки.

УБИВЕЦ

Впервые: Сев. вестник. 1885. № 1. Под загл.: Очерки сибирского туриста (Убивец). В ПСС (1914) рассказ озаглавлен просто «Убивец». Написан в якутской ссылке, однако рукопись была утеряна в редакции «Рус. мысли» и восстановлена писателем по черновику уже после возвращения из ссылки.

С. 129. *Плашкот* (плашкоут) — беспалубное несамоходное судно для перевозки грузов.

С. 130. *Жиган* — плут, мошенник, вор.

С. 131. *Молоканы* — русская религиозная секта, возникшая во второй половине XVIII в. из духоборства. Название секты отражает ее учение, отрицающее установленные церковные посты и позволяющее круглый год употреблять молоко и другую скоромную пищу.

С. 135. *Кошовка* (обл.) — широкие и глубокие сани.

С. 139. *...Шпанкой на арестантском жаргоне...* — В рукописи рассказа Короленко пишет о происхождении слова «шпанка»: «Быть может, фантастические, разнохарактерные и чрезвычайно причудливые лохмотья, в какие здесь рядилась эта серая масса за неимением достаточной казенной одежды,— подали повод к ироническому сопоставлению с «гишпанцем», являющимся в представлении русского человека образцом изысканно-причудливой костюмировки» (см.: Короленко В. Г. Сибирские очерки и рассказы. М., 1946. Ч. 1. С. 324). Это рассуждение Короленко подтверждается и «Этимологическим словарем русского языка» М. Фасмера.

С. 155. *Лекок* — сыщик, герой «уголовного» романа французского писателя Эмиля Габорно (1835—1873) «Г-н Лекок».

С. 159. *«...так уж самим богом установлено...»* — неточно переданные слова городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (д. 1).

С. 165. *Сотский* — после 1861 г. низший выборный (от ста дворов) полицейский чин на селе.

С. 167. *Морок* (обл.) — туман, марево, мгла.

СОН МАКАРА

Святочный рассказ

Впервые: Рус. мысль. 1885. № 3. Рассказ написан в 1883 г. во время пребывания Короленко в ссылке в якутской слободе Амга. Об истории создания рассказа и его прототипах Короленко писал в «Истории моего современника» (кн. 4, ч. 1, гл. 9—10, 31). Частично рукописные варианты рассказа опубликованы в кн.: Короленко В. Г. Сибирские очерки и рассказы. М., 1946. Ч. 1. С. 480—488.

С. 179. *Алас* (обл.) — поляна в лесу.

С. 187. *Косач* (обл.) — глухарь.

С. 188. *Руга* — плата церковному причту (в основном продуктами), собираемая иногда прихожанами.

С. 202. *Крин сельный* (старослав.) — полевая лилия, символ чистоты и духовности.

В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Из детских воспоминаний моего приятеля

Впервые: Рус. мысль. 1885. № 10. Над рассказом Короленко работал в якутской ссылке (1881—1884 гг.). Вновь к работе над рассказом автор вернулся в 1885 г., в Петербурге, в доме предварительного заключения. В автобиографии он писал, что в рассказе «многие черты взяты с натуры, и, между прочим, самое место действия списано совершенно точно с города (г. Ровно.— *Б. А., Н. Д.*), где мне пришлось оканчивать курс» (Короленко В. Г. Письма 1888—1921 гг. Пб., 1922. С. 340).

В 1886 г. в февральском номере детского журнала «Родник» был опубликован сокращенный вариант повести под названием «Дети подземелья» и в этом виде она многократно переиздавалась. По этому поводу Короленко писал в 1916 г.: «„В дурном обществе“, например, так и идет в десятках тысяч экземпляров дешевых изданий в сокращенном и обкромсанном виде. А я совершенно не понимаю, почему юношество должно сначала знакомиться с писателем в этом обкромсанном виде, а уже потом получать его в полном» (с. 539).

С. 204. *Гешефт* (нем.) — выгодная сделка.

С. 206. *Гайдук* — выездной лакей.

Шталмейстер (нем.) — начальник конюшен.

С. 207. *...униатская часовня...*— Униаты — последователи Брестской унии 1596 г. о соединении греческой и католической церквей под главенством папы римского. Униатство с XVI в. широко распространилось на территории современной Западной Украины.

Кунтуш — верхняя польская и украинская одежда, вроде кафтана, с широкими откидными рукавами.

С. 208. *Официалист* — мелкий чиновник.

Чамарка — верхняя одежда, вроде кафтана или казакина.

С. 211. *Фактор* (уст.) — посредник, комиссионер.

С. 212. *Элоквенция* (лат.) — красноречие.

С. 213. *Бутарь* (обл.) — будочник.

С. 219. *Кармелюк* (Кармалюк) Устим Якимович (1787—1835) — легендарный разбойник, бывший крепостной. В украинском народе о нем сложено много песен и преданий, в которых Кармелюк выступает как защитник бедных и народный мститель.

С. 221. *Закрута* — пук стеблей стоящего на корню хлеба, закрученный узлом. По народным поверьям, закруты — дело рук нечистой силы, сорвавшего их ждет беда.

С. 223. *Лото́ки* — лопасти мельничного колеса.

С. 235. *Каплица* — католическая часовня.

СОКОЛИНЕЦ

Из рассказов о бродягах

Впервые: Сев. вестник. 1885. № 4. Под загл.: Рассказы о бродягах. Рассказ первый: Соколинец (Из очерков сибирского туриста). Первые наброски к рассказу были сделаны во время якутской ссылки, где автор встретил поселенца, бежавшего с Сахалина, и записал с его слов историю, которая и легла в основу рассказа.

С. 274. *Шпанка.*— См. примеч. к с. 139 наст. тома.

С. 278. *Гольцы* (обл.) — безлесные горные вершины в Сибири.

С. 279. *Гиляки* (уст.) — нивхи, жившие в северной части Сахалина и низовьях Амура.

С. 290. *Гольды* (уст.) — нанайцы, тунгусо-маньчжурская народность, жившая в бассейнах рек Уссури и Амура.

ФЕДОР БЕСПРИЮТНЫЙ

Из рассказов о бродягах

Впервые: Крас. архив. 1927. Т. 4. В 1886 г. Короленко отдал этот рассказ в журн. «Сев. вестник», но цензура его не пропустила, а рукопись не была возвращена автору. Короленко заново написал рассказ, дав ему новое заглавие «По пути», и опубликовал его в «Сев. вестнике» (1888. № 2) со значительными цензурными искажениями. Об этом он писал А. П. Чехову 4 февр. 1888 г. (с. 83—84). Рассказ еще раз был переработан при подготовке ПСС (1914), и текст его, сохранив основную фабулу, очень сильно отличается от первоначальной редакции.

С. 318. *Льюис Джордж Генри* (1817—1878) — английский писатель, ученый, философ. Основной его труд «Вопросы о жизни и духе»

(рус. перевод — 1876 г.) развивает особенно популярную в России 1860—1870 гг. позитивную философию О. Конта.

С. 319. *Молоканы* — см. примеч. к с. 131 наст. тома.

Штундисты — название религиозного течения, возникшего в Юго-Западной России во второй половине XIX в. Название идет от немецкого Stunde (час) — время, отводившееся колонистам Юго-Запада для религиозных занятий. Штундисты отвергали внешнюю сторону религии — обрядность, таинства.

СКАЗАНИЕ О ФЛОРЕ, АГРИППЕ И МЕНАХЕМЕ, СЫНЕ ИЕГУДЫ

Впервые: Сев. вестник. 1886. № 10. Писатель А. И. Эртель увидел в этом рассказе проповедь того, что цель оправдывает средства. Возражая против такого прочтения рассказа, Короленко писал Эртелю 11 февр. 1890 г.: «Нет, я никогда не возводил в правило «цель оправдывает средства». Вы признаете, что бывают ситуации, оправдывающие средства, к которым прибегают по необходимости так же, как иная ложь бывает гораздо лучше иной правды (чтобы не ходить далеко — укажу на такой случай, когда человек направляет убийц по ложному следу). Из этого, конечно, не следует, чтобы можно было ложь возводить в правило. Но в том-то и дело, что, совершенно отвергая очень многие средства борьбы (клевету даже на врага и т. п.), я не признаю силу чем-то дурным самое по себе. Она — нейтральна и даже скорее хороша, чем дурна 〈...〉 Я не могу считать насильником человека, который один защищает слабого и измученного раба против десяти работорговцев. Нет, каждый поворот его шпаги, каждый его удар для меня — благо. Он проливает кровь? Так что же? Ведь после этого и ланцет хирурга можно назвать орудием зла...» (С. 143—144).

С. 349. *...ликторские пучки, окружавшие консулов.*— В Римской республике ликторы составляли почетную охрану высших сановников. Они шли впереди и расчищали путь, держа в руках пучки прутьев и секиру.

С. 351. *...Албин, правитель... алчный и жестокий...*— Здесь автор неточно передает фрагмент труда древнееврейского историка Иосифа Флавия «О войне Иудейской» (СПб., 1818. С. 223), послужившего Короленко основным источником в его работе над рассказом.

Праздник опресноков — пасха у евреев.

С. 352. *Талант* — самая крупная в древности весовая денежная единица, равная по ценности приблизительно двадцати шести килограммам серебра.

С. 354. *Фарисеи* — наиболее авторитетная в Древней Иудее религиозная секта, ставившая своей главной задачей сохранить иудаизм в его чистоте и неприкосновенности. Фарисеи считались точнейшими толкователями Моисеева закона, поэтому богослужения в храмах совершались по их указаниям. В жизни их отличали строгая нравственность, благочестие, отрицание сословных различий в человеческих отношениях.

Ессеи — религиозная секта, выросшая на почве иудаизма, но впитавшая в себя элементы других учений, в частности, пифагорейское представление о бессмертии души. Ессеи вели аскетический образ жизни, презирали богатство, жили замкнутыми общинами, в которые постороннему было трудно проникнуть.

Саддукеи — аристократическая секта, образовавшаяся из священнического сословия. В их учении усматривают влияние эллинизма. Саддукеи владели большими богатствами и нередко пользовались поддержкой единодержавной власти. У широких масс не имели большого авторитета.

С. 357. *Везефа* — гора, по которой проходила часть городской стены Иерусалима с Дамасскими воротами.

С. 360. *Идумеи* — население древней страны Едом к югу от Палестины.

«ЛЕС ШУМИТ»

Полесская легенда

Впервые: Рус. мысль. 1886. № 1. В письме от 23 янв. 1886 г. к брату Юлиану Короленко отмечал: «Рассказ этот написан совсем-таки по заказу: объявления о нем в газетах появились, когда он еще не был кончен, и мне пришлось порядочно-таки испортить себе крови срочной работой. Если рецензенты его «распушат», то это будет иметь основание,— это, собственно, художественная безделка» (Полн. посм. собр. Т. 50. С. 119).

С. 375. *Канчук* (обл.) — казачья плеть, нагайка.

С. 378. *Рушни́ца* (ручница) — старинное ручное огнестрельное ору́жие с фитильным замком.

С. 381. *Летка* (обл.) — ружейная картечь.

ПРОХОР И СТУДЕНТЫ

Повесть из студенческой жизни 70-х годов

Впервые: Рус. мысль. 1887. № 1, 2. Замысел рассказа «Прошка» возник у Короленко еще в 1880 г., тогда же были написаны отдельные его фрагменты. Продолжил работу над этим произведением Короленко в 1886 г. В. А. Гольцев при публикации его в журн. «Рус. мысль» назвал «Прохора и студентов» повестью. Короленко согласился с этим жанровым определением. Окончание повести так и не было написано. 15 сент. 1887 г. Короленко писал В. А. Гольцеву: «Относительно «Прохора», к сожалению, непременно придется пока объявить, что откладывается без обозначения срока. Без этого я решительно не могу за него как следует приняться 〈...〉 Когда же он будет совсем готов — мы сообща рассудим, что именно можно выкинуть и как изменить. На все это нужно время и время, а начать печатать вновь, потом вновь перерывать и, быть может, не дать конца за нецензурностью — это ведь уж совсем из рук вон» (Полн. посм. собр. Т. 50. С. 188—189).

На вопрос Гольцева, готовившего лекцию о Короленко, каким должно было быть продолжение повести, Короленко отвечал ему 11 марта 1894 г.: «Дальнейшее течение повести «Прохор и студенты» должно было представить два смежные типа тогдашнего студенчества: «старый» — представителей широкой натуры, вольного размаха, разгула с оттенком «нигилизма» и «писаревского» реализма и нарождавшееся в молодежи стремление к общественным идеалам в форме народничества. Прохор попадает случайно в среду студентов и испытывает на себе влияние этой среды, которая, в свою очередь, видит в нем «сына народа» и в этом качестве возлагает на него какие-то наивные и неясные ожидания. Прохор исправляется, перестает жульничать, нанимается на работу в академии, усердно чистит дорожки в парке и на Выселках, в промежутках выучивается читать. Все это обращает на себя внимание его собственной среды. В первых главах я изобразил уже ту, чисто русскую терпимость, с которой Выселки относились к подвигам Прошки на перекрестке. Но та же среда не может простить ему его нового «поведения», которое кажется ей, выражаясь по-нашему,— „тенденциозным“» (там же, с. 213—214).

В 1914 г., готовя Полное собрание сочинений, Короленко несколько переработал повесть, сократив одни главы и расширив другие, снабдив новым подзаголовком «Повесть из студенческой жизни 70-х годов».

В повести отразились впечатления Короленко от пребывания в Петровской сельскохозяйственной академии. О творческой истории повести см.: Бялый Г. А. В. Г. Короленко. Л., 1983. С. 81—88.

С. 395. *Мыслете* — четырнадцатая буква славянского алфавита. Ходить мыслете — выписывать ногами зигзаги в форме этой буквы.

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

Этюд

Впервые: Рус. ведомости. 1886. 2 февр.— 13 апр.; Рус. мысль. 1886. № 7. Отд. изд.: Короленко В. Г. Слепой музыкант. СПб., 1887. Повесть многократно переиздавалась. Наиболее значительные изменения были внесены в 6-е изд. (СПб., 1898 г.).

Короленко не был удовлетворен первой газетной редакцией повести, о чем писал 25 апр. 1886 г. В. А. Гольцеву: «Я хорошо понимаю, что «Музыкант» несколько скомкан в конце, но вести рассказ так же детально, как в начале,— у меня совсем не было охоты. Такая чисто психологическая работа как-то совсем не в моем вкусе, и потому, наметив вначале основной процесс во всех подробностях и, как кажется, мотивировав его достаточно,— я развязал его несколькими ударами. Добавить несколько штрихов; как Вы пишете, и можно и должно: я так и сделаю, но, в сущности, для того, чтобы работа была вполне и во всей, так сказать, строгости художественных требований — соразмерна в частях, тут бы нужно, не ограничиваясь несколькими штрихами, развить ее детальнее.

Кстати, буду Вам очень благодарен, если Вы сообщите мне свое

мнение и мнение вообще сведущей публики о заключающейся в главе «Интуиция» психологической развязке инстинктивных стремлений слепого к свету. Конечно, возможность такой развязки есть лишь гипотеза; но мне лично кажется, что художник в подобных гипотезах может чувствовать себя свободнее ученого» (с. 57).

Еще до окончания первой публикации повести Короленко так пояснял в письме Г. А. Мачтету в апреле 1886 г. замысел своего произведения: «...я думаю, что хотя рассказ и далек от тенденций минуты (значение которой, особенно для нас, маленьких писателей, не рассчитывающих на память потомства,— я вполне признаю),— но все же в нем я хотел дать не простой перезвон красивой стилистики, а «психологический этюд», то есть я хотел дать ряд художественных образов, связанных общей идеей; в такой работе художественно-творческий процесс тесно связывается и идет параллельно с аналитической мыслью, работающею по строгим приемам научного анализа, только, конечно, художник значительно свободнее в гипотезах. Таким образом, на мой взгляд, такая работа может иметь значение даже просто популяризации научного метода, она иллюстрирует этот метод, заинтересовывает к нему публику, приучает и дисциплинирует мысль в ее попытках объяснить те или другие явления, а это и в интересах нашей «спиритической минуты» далеко не бесполезно. Наконец, я жду конца рассказа (он отослан в редакцию уже давно, еще до получения Вашего письма, и таким образом теперь я уже не виновен в задержках) и постараюсь хорошенько обдумать и взвесить значение всего рассказа. Мне кажется также, что он должен заключать и общую гуманную идею» (с. 59).

Готовя отдельное издание «Слепого музыканта», Короленко так писал о своей работе над повестью В. А. Гольцеву 9 ноября 1887 г.: «Иногда какая-нибудь одна глава может в моих глазах уронить весь рассказ, и я тогда не могу спокойно подойти к столу, в котором этот рассказ лежит. Вот почему я не хочу издавать второй книги — мне кажется, что некоторые главы «Слепого музыканта» ее совсем испортят. Пусть уж этот увечный ковыляет себе в свет один. В нем есть главы, которые я писал как следует и которые мне тогда очень нравились и теперь, взятые отдельно, тоже нравятся; поэтому я соглашаюсь его издать; но, право, прочитав Ваше сообщение, что «Музыкант» будет издан,— я почувствовал какое-то разочарование» (с. 74).

Радикально переработав в 1898 г. «Слепого музыканта» и откликаясь на статью о нем критика и историка литературы Ф. Д. Батюшкова, Короленко так писал об истории создания повести и о характере вносимых в новую редакцию изменений: «Теперь о другой операции — над моим «Слепым музыкантом». Если вообще в таких случаях уместна благодарность со стороны писателя критику — то, конечно, ничего, кроме благодарности, Ваша заметка вызвать не может своей оценкой моего труда. Признаюсь Вам, я долго не решался на переделку, но, с другой стороны, совесть всегда мучила меня при всяком новом издании. Дело в том, что «Слепой музыкант» первоначально писался в фельетонах «Русских ведомостей». Я совсем не могу так работать, и на второй части повести, по моему мнению, это отразилось особенно сильно. Многое, что нужно было сказать образами,— было

сказано формулами. Художественная совесть терзала меня за это очень сильно, и первоначально я долго не решался приступить к отдельному изданию. Легкая переделка, произведенная над первоначальной редакцией,— меня не удовлетворяла, а затем прибавился эпизод на колокольне. Теперь ⟨...⟩ когда пришлось приступить к шестому изданию, я стал особенно чуток к этим упрекам совести и потому, читая сам корректуру и дойдя до второй половины,— я просто приостановил печатание, к которому типография приступила еще в ноябре (а вышла книга 28 марта). Уже то, что я сам читал с некоторым интересом первую половину (я ее давно не читал) и прямо запнулся на второй, показало мне, что тут есть что-то неладное. И я поэтому взялся за перо. Вы видите, что я *должен* был это сделать,— ну, а как вышло — дело другое. Мне нужно было оформить, дать образ тому внутреннему давлению, которое у звонаря сказывается непосредственно — раздражительностью и злобой и которому мой Петр придает сознательность анализа. Непосредственная боль выливается у него в форму протеста против своей судьбы. Я такой, потому что и этот звонарь такой, потому, что мы *все должны быть* такие. Вы, кажется, напрасно не хотите признать естественным — сходство Петра со звонарем. Мне тогда же бросилось это сходство моего звонаря с одним слепым, которого я имел случай наблюдать ранее. Это не сходство черт, а сходство выражений, какое можно подметить часто даже и у горбунов» (с. 276—277).

В 1916 г. слепой приват-доцент Московского университета А. М. Щербина выпустил брошюру «„Слепой музыкант“ Короленко как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых (в свете моих собственных наблюдений)». Прочитав брошюру и познакомившись с ее автором, Короленко писал критику А. Г. Горнфельду, опубликовавшему в этом же году статью «„Слепой музыкант“ и слепой критик» (Рус. ведомости. 1916. 14 февр.): «Я Вам писал письмо, в коем ни словом не упомянул о Вашей статье в защиту моего бедняги «Слепого музыканта» против слепого критика. Дело в том, что по разным причинам, объяснять которые не стану,— я прочел Вашу статью ⟨...⟩ только вчера, и она меня глубоко тронула. И не тем, что это защита (во многом, хотя и не в главном, Щербина прав), а тем, что тут так хорошо сказано то главное, в чем Щербина не прав и что составляет сущность произведения. Я собирался, да и теперь еще собираюсь сказать несколько слов по этому поводу, но едва ли сумею сказать так хорошо. Да, конечно, моя главная художественная задача была не специально психология слепого, а психология общечеловеческой тоски по недостижимому и тоски по полноте существования» (К о р о л е н к о В. Г. Избр. письма: В 3 т. М., 1936. Т. 3. С. 257).

С. 432. *...сильно осердился на австрийцев... примкнул к ... Гарибальди, который ... в грош не ставит самого папу.*— Крупный деятель итальянского национально-освободительного движения Д. Гарибальди (1807—1882) в 1848 г. во главе добровольцев, в числе которых было много иностранцев, самоотверженно сражался в Ломбардии против австрийских войск, в результате чего в 1849 г. была свергнута власть папы и провозглашена Римская республика.

С. 446. *Стреха* (укр.) — крыша из тростника или соломы.

С. 461, 483. ...*«Ой, там на горі, тай женці жнуть...», «В полі могыла з вітром говорила...».*— Полный текст этих песен и комментарии к ним см.: Максимович М. Украинские народные песни. М., 1934. С. 105—106, 168.

С. 461. *Чайка* — боевая парусно-весельная лодка, вмещавшая 50—60 человек. Походы казаков на чайках (например, в Синоп в 1614 г.) изображены в народных думах и песнях.

С. 487. *Хождение в народ паничей... было тогда сильно распространено в Юго-Западном крае.*— Одним из идеологов этого движения, которое не следует смешивать с «хождением в народ» русской интеллигенции в 70-х гг. XIX века, был украинский историк, политический деятель, публицист и фольклорист М. П. Драгоманов (1841—1895), стремившийся «обратить молодежь к демосу», используя для этого русскую и украинскую литературу и фольклор.

С. 509. *Жолнер* — наемный польский ратник.

Левада — участок земли близ дома или селения с сенокосным лугом, огородом и садом.

С. 511. ...*ватажко Игнат Карый...*— Имеет ли Короленко в виду реальную историческую личность или это вымышленный персонаж, установить не удалось.

...*около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча.*— «Местность между Колодной и Смоленском замечательна по целому ряду полуразвалившихся старинных окопов и редутов и по связанным с ними историческим воспоминаниям» (Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1905. Т. 9. С. 363).

С. 512. ...*отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками.*— «Гайдамаками сначала называли себя запорожцы. Это слово значит — бродяга. Впоследствии имя гайдамак на Украине усвоилось только тем ватагам запорожцев, какие не составляли войска Запорожского, охотились разбоем. Всех же запорожцев гайдамаками называли только поляки в бранном смысле, подобно тому, как слово «казак» было бранное, особенно у турок» (Максимович М. Украинские народные песни. М., 1934. С. 66).

С. 513. *Рушница* (укр.).— См. примеч. к с. 378.

М. С. Чайковский (1808—1886) — польский писатель и эмигрант, родился на Украине. Участвовал в польском восстании в 1831 г. После падения Варшавы эмигрировал в Париж. В 1851 г. поступил на турецкую службу, принял ислам и под именем Мохаммеда Садыка участвовал в войне против России (1853—1856).

С. 517. *Столбовка* — купюра достоинством в 25 рублей.

С. 518. *«Помни смертный час...».*— Эту сентенцию Короленко прочел на стене колокольни Саровского монастыря. См.: Короленко В. Г. Записные книжки. М., 1935. С. 169.

С. 536. *Каплица* — см. примеч. к с. 235 наст. тома.

С. 537. *Фактор* — см. примеч. к с. 211 наст. тома.

Чумак — занимающийся чумачеством, то есть торгово-перевозным промыслом. Возникло во второй половине XIV в. в Придне-

провье как торговый промысел солью. Из-за угрозы нападения крымских татар до конца XVIII в. чумаки ездили вооруженными обозами во главе с выборным атаманом.

НОЧЬЮ

Очерк

Впервые: Сев. вестник. 1888. № 12.

Рассказ написан в 1888 г., в нем явственны автобиографические элементы. Некоторые черты характера главного героя свойственны были Короленко в детстве, Мордик напоминает его младшего брата Иллариона, дядя Короленко по матери Генрих Скуревич стал в рассказе прототипом дяди Генриха.

ЧЕРКЕС

Очерк

Впервые: Сиб. газ. 1988. 25 февр.

Эпизоду, описанному в рассказе, соответствует запись в дневнике Короленко 1884 г. (см.: Полн. посм. собр. Т. 1. С. 42—44).

ДВЕ КАРТИНЫ

Размышления литератора

Впервые: Рус. ведомости. 1887. № 102.

В. Д. Поленов считал, что Короленко глубоко понял замысел его картины и в благодарность прислал писателю гравюру с нее (Собр. соч. Т. 8. С. 493).

С. 601. *Саддукеи* — см. примеч. к с. 354 наст. тома.

Б. Аверин, Н. Дождикова

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1879—1888

Короленко В.
К 68 Собрание сочинений: В 5 т./Редколл. Г. Бялый, Г. Иванов, В. Туниманов. Т. 1: Повести и рассказы, 1879—1888/Сост., подгот. текста, примеч. Б. Аверина и Н. Дождиковой; Вступ. ст. Б. Аверина.— Л.: Худож. лит., 1989.— 624 с., 1 л. портр., ил.
ISBN 5-280-00851-6 (Т. 1)
ISBN 5-280-00850-8

В том включены повести и рассказы 1879—1888 гг. «Эпизоды из жизни „искателя“», «Чудная», «Яшка», «Сон Макара», «В дурном обществе», «Прохор и студенты», «Слепой музыкант» и др.

К $\frac{4702010101\text{-}069}{028(01)\text{-}89}$ подписное **ББК 84.Р1**

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах

Том первый

Составители
Борис Валентинович Аверин
Надежда Александровна Дождикова

Редакторы
Т. Мельникова, Т. Степашова
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректоры *А. Борисенкова, Г. Щеголева*

ИБ № 5600

Сдано в набор 04.10.88. Подписано в печать 01.06.89. Формат 84×108[1]/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76+вкл. 0,05=32,81. Усл. кр.-отт. 33,28. Уч.-изд. л. 34,73+1 вкл.=34,77. Тираж 200 000 экз. Изд. № ЛII-223.
Заказ 1780. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомиздате СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



